НЁМАН

4/2012
АПРЕЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 10.04.2012 г. Формат 70 ×108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19.15. Тираж 3309. Заказ 1052.
Цена номера в розницу 13 600 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь; общественное объединение «Союз писателей Беларуси»; редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



СЕРГЕЙ ТРАХИМЕНОК

Феномен Бубна

Киноповесть

1

Брест самый теплый город Беларуси. Так, во всяком случае, говорят синоптики. И в летние месяцы жители его, дабы не страдать от жары, одеваются очень легко, почти как на юге. Ночью в Бресте становится чуть прохладней. И поэтому многие окна больших и маленьких квартир летом всегда распахнуты настежь.

В одну из таких июльских ночей жители микрорайона Восток вдруг услышали автоматные очереди.

Говорят, что Брест западный город. Впрочем, это легко проверить. Что делает житель, к примеру, Италии, когда слышит автоматную очередь? Правильно, бежит от этого места подальше, вспоминая мафию и мафиози недобрым словом. Жители Бреста поступили иначе. Все, кто сидели у телевизоров или компьютеров, а то и просто не спали, приникли к окнам или выбежали на балконы и лоджии.

А внизу разворачивалось действие, которое сложно назвать рядовым. Из двух джипов велся автоматный огонь по бегущему человеку. Причем стреляли, словно специально, трассерами. И каждый свидетель этого действа мог видеть, что пули ложатся рядом с этим человеком, но он каким-то чудом остается неуязвим.

— Ну конечно, это съемки кино, разве реально такое может быть в Бресте, городе хотя и пограничном, но не фронтовом, — подумали большинство любопытствующих и вернулись к прежним занятиям. Ну, разве что проворчав что-то вроде:

— Козлы, нашли время, когда кино снимать.

— А когда его еще снимать? Днем здесь народу не протолкнуться, — произнесли другие.

Раздалось еще несколько очередей. Но на них уже никто не реагировал, как не реагируют люди на шелест шин автомобилей, проезжающих по улице, на которой находится их дом. Хотя многие из любопытствующих почти автоматом назвали неуязвимого человека героем, правда, героем фильма, то есть с маленькой буквы.

А в это время убегающий человек завернул за угол дома, прижался спиной к его стене и начал лихорадочно набирать номер мобильного телефона.

Несколько пуль свистнуло рядом, одна попала в кирпичную стену дома, обдав мужчину мелкой пылью, другая срикошетила от чугунного люка и на мелкие куски разнесла мобильный телефон в его руках.

Мужчина затравленно оглянулся и увидел телефонную будку. Искра надежды затеплилась в его душе, что мгновенно отразилось на лице. Оно

приобрело выражение решимости, и мужчина, перебежав открытое пространство, влетел в телефонную будку, закрыл дверь и сел на пол, в надежде, что преследователи его не заметят.

Где-то завыла сирена милицейской машины, послышались новые выстрелы.

Герой дотянулся до диска телефона-автомата и начал набирать номер.

В это время рядом с телефонной будкой появился узбек в полосатом халате. Он удивленно посмотрел на героя и покачал головой, как делает аксакал при виде юного единоверца, поступающего вне некоего канона поведения настоящего мужчины.

Рядом с будкой взорвалась граната. Герой ударился головой о противоположную стенку будки. Действительность в его мозгу начала искажаться, как в кривом зеркале. Но потом все стало на свои места.

В будку опять заглянул узбек, но… о ужас, вместо головы у него был арбуз.

Вновь прозвучала автоматная очередь, арбуз разлетелся вдребезги. А в трубке раздался щелчок и ленивый голос произнес:

— Але.

— Твою мать, — кричит герой, — что происходит?

— Ты меня спрашиваешь? — ответил голос, искаженный мембраной.

— Тебя, твою мать…

— Чего ты ругаешься, послушай лучше музычку…

Автоматная очередь прервала разговор. Осколки стекла брызнули герою на голову. Одна из пуль перебила шнур. Но герой сгоряча не заметил этого и продолжал кричать в трубку. И что удивительно, голос ему отвечал:

— Слушаю вас.

— Давай вертолет в район Востока, мне самому не выбраться.

— Заполняю заявку на вертолет, вам на какое число и на сколько мест?

— Ты что, офигел? — орал герой.

— Оплата наличными или…

Двери будки распахнулись, и пара огромных рук выдернула героя наружу. Затем эти же руки припечатали его к углу будки и взяли за горло.

От удара головой о металлический уголок у героя поплыли круги перед глазами.

2

В тот момент, когда герой стукнулся головой о ребро телефонной будки, в одной из квартир Бреста, но в другом микрорайоне, настенные часы пробили три часа ночи.

Женщина, спавшая в постели, открыла глаза, встала с кровати и подошла к окну.

Место, где ставил машину ее муж, было свободным.

Она взяла в руки мобильный телефон и стала набирать номер.

— Абонент недоступен, — ответил ей женский голос.

— Недоступен, недоступен, — повторила женщина, прошла в ванную комнату, привела себя в порядок, надела халат, а потом вернулась в спальню и щелкнула выключателем.

Электрическое освещение мгновенно обрисовало интерьер комнаты, в которой был обычный набор мебели: стенка, телевизор на тумбочке, угловой диванчик, двуспальная кровать, часы, а на противоположной стене большая фотография.

На ней были запечатлены сама хозяйка квартиры и человек, который именно в это время пытался убежать от своих преследователей в микрорайоне Восток.

— Ах, Алина, ах, малина, — произнесла она, видимо, передразнивая кого-то.

А потом погасила свет, улеглась на кровать поверх одеяла, с твердым намерением дождаться мужа и уж если не устроить ему головомойку, то укоризненно посмотреть в глаза, а потом перевести эти глаза на циферблат настенных часов.

3

Огромная ладонь гориллообразного мужика продолжала сжимать горло героя, и он уже начал терять сознание, как из-за угла дома выехал джип, резко затормозил и, проюзив с метр, сбил того, кто держал героя за глотку.

Освободившись, герой сделал гигантский скачок через машину и скрылся в переулке. Преследователь вскочил на ноги, обложил водителя машины нецензурной бранью, открыл дверцу джипа, влез в него и заорал:

— Гони!

Джип резко тронулся с места и также скрылся в переулке, правда, водитель, видимо, чувствуя вину за то, что чуть не сбил своего подельника, потерял ориентировку и свернул не вправо, а влево. Однако он быстро нашелся и уже через полминуты, сделав почти полицейский разворот, помчался обратно.

За это время оба успокоились, и тот, который был за рулем, сказал:

— Извини, Гарян, я тебя невзначай задел.

— Еще бы взначай, — ответил тот, которого назвали Гаряном, — я бы тебя…

За это время герой успел выбежать на проспект и увидеть медленно двигающийся ремонтный троллейбус. Мало что соображая, скорее от отчаяния, чем размышляя, как ему лучше поступить, герой ухватился за металлические прутья сзади троллейбуса и поехал навстречу джипу. Это его и спасло. Джип пронесся мимо троллейбуса, и преследователи даже не заметили героя.

Еще не веря тому, что спасся, герой потянул за веревки и отсоединил штангу от контактной сети. Троллейбус замедлил ход. Герой спрыгнул на асфальт и едва не попал под машину, которая следовала за троллейбусом. Потом он боковыми улицами перебрался в лесопосадки, расположенные вдоль шоссе, которое вело в Минск, и двинулся в сторону от города, не обращая внимания на хлеставшие по лицу ветки.

Прошел час, другой, уже рассвело, а он все шел по лесопосадкам, опасаясь выходить на шоссе, пока не набрел на заправочную станцию.

Огромный международный автобус с номером 45-76 остановился возле указателя «WC». Веселые пассажиры высыпали на площадку из трех дверей сразу. Они только что прошли пограничный и таможенный досмотры на границе и радовались возвращению на родину. Аналитический ум героя подсчитал количество пассажиров. Их было не более трех десятков. Значит, остальные или спят на своих местах, или их нет в автобусе. Они вышли еще в Бресте.

— Стоит рискнуть, — сказал он себе.

Покачиваясь, чтобы при неудаче объявить себя человеком нетрезвым, который ошибся автобусом, герой направился к последней двери. Там он прошел в хвост автобуса, уселся на угловое место и притворился спящим.

Но долго притворяться ему не пришлось, он попросту потерял сознание.

Через четверть часа автобус тронулся с места и до самого Минска уже не останавливался. Пассажиры кемарили на своих местах и не обращали внимания на героя, полагая, что это водитель взял кого-то из «голосующих», желая немного подзаработать.

4

Еще не рассвело, когда Алина проснулась во второй раз. Но не бой часов был тому причиной. Она явственно слышала, как кто-то открывал дверь. Точнее, скрежетал железкой в замочной скважине.

Алина попыталась вскочить с кровати, но было поздно. Три темные мужские фигуры, от которых исходил запах отнюдь не parfum de toilette, окружили кровать. Щелкнул выключатель.

Алина, онемев от ужаса, смотрела на пришедших. Особенно ее пугал огромный гориллоподобный мужик, который стоял ближе всех и не без мужского интереса рассматривал ее тело.

В это время в комнату вошел еще один мужчина. Его лицо показалось Алине знакомым, она однажды видела его с мужем. Это вывело ее из оцепенения.

— Как вы вошли? — спросила она.

— Через дверь, — ответил тот, что вошел последним, — меня зовут Петруха. Где он? — и Петруха ткнул пальцем в фотографию на стене.

— Он ушел вечером.

— Куда?

— Он никогда мне об этом не говорит.

— Не говорил, — поправил ее Петруха, — не говорил и, наверное, никогда больше не скажет.

Он подошел к фотографии, снял ее с гвоздя и с размаху ударил о стену.

— Гарян, — сказал он, заметив похотливый взгляд гориллообразного, — пойдешь со мной. А вы двое останетесь здесь до утра.

— Я их боюсь, — сказала Алина.

— Правильно боишься, — ответил Петруха, — но если будешь делать то, что я скажу, останешься жива. — Он немного подумал, еще раз посмотрел на Алину и добавил: — И даже цела.

5

В Минске автобус с номером 45-76 остановился возле зеленого домика Первого съезда РСДРП. Именно отсюда он стартовал в Европу семь дней назад. А поскольку пассажиры его и одновременно туристы за это время сдружились, то прощались они долго, к неудовольствию двух водителей, которым не терпелось поскорее отогнать машину в парк, а самим отправиться на отдых.

И тем не менее, в толпе туристов как всегда нашелся бдительный пенсионер, который сказал водителям:

— Там мужик странный какой-то, посмотрите, чтобы чего-нибудь не спер.

Один из водителей направился в хвост салона и стал трясти за плечо героя. Когда тот открыл глаза, спросил:

— Э, мужик, ты как тут оказался?

Герой, мгновенно оценив обстановку, вывернул оба кармана, давая возможность всем увидеть, что он ничего лишнего и не своего не взял.

Это в определенной мере успокоило водителя. Но он на всякий случай спросил у выходящих пассажиров.

— Ни у кого ничего не пропало?

Затем, брезгливо взяв героя за плечо, стал выталкивать его из салона, приговаривая:

— Давай, давай, мужик, нам надо в парк.

Так они добрались до выхода, и у водителя хватило ума не вытолкнуть героя из автобуса, а помочь спуститься по ступенькам.

Это было совсем не лишним, потому что силы снова покинули героя. Он качнулся, попытался удержаться за автобусную дверь, но та закрылась, автобус тронулся и уехал. А герой, потеряв сознание, упал на асфальт.

— Что там? — спросил водитель, который вел автобус, у своего напарника.

— Да наркот какой-то сел к нам в автобус, а мы и не заметили. Страшный такой, все лицо исцарапано…

6

Директор частного телеканала под названием «Факел» имел имя, отчество и фамилию, но любил, чтобы все, включая его близких, обращались к нему «господин директор». Исключением из этого правила были его тринадцатилетний сын и жена. Хотя, честно говоря, в последнее время у директора в штате появился еще один человек, для которого он был готов сделать исключение из общего правила.

Директор сидел в своем кабинете и просматривал запись одной из передач канала, которая, по его мнению, должна быть первой в рейтинге. Закончив просмотр, он позвонил секретарше.

— Зиночка, — сказал он и сделал паузу.

— Да, господин директор, — ответила Зиночка.

— Пригласите мне Бульбовича, да… и пусть захватит диск со своей последней программой.

Борис Бульбович, автор и ведущий программы, о которой шла речь, шел к директору.

Впрочем, шел — это громко сказано. Весь штат канала занимал пять комнат. В двух были кабинет директора и приемная. А в остальных располагались технические службы и редакторы. И все это на площади размером с волейбольную площадку. Так что понятие «шел к директору по звонку секретарши» было явным преувеличением для обозначения сего действия.

Время, которое истекло от звонка секретарши до момента, когда Бульбович открыл дверь кабинета и спросил: «Вызывали, господин директор?» — измерялось секундами. И в этом не было ничего удивительного. Так или приблизительно так являлись перед директором все вызванные к нему сотрудники.

Разница была в том, что фразу «вызывали, господин директор?» Бульбович произнес с некоторой долей иронии, которая не ускользнула от начальника. Но директор сделал вид, что не уловил данного оттенка речи подчиненного, а придал своему лицу радушное выражение и произнес:

— Боря, без фамильярностей, пожалуйста, садись, хочу обсудить с тобой одну тему. Кстати, ты диск с последней передачей принес?

— Да.

— Хорошо, а то я как-то не удосужился ее посмотреть. Включай.

Бульбович вставил диск в паз компьютера. Монитор ожил, показывая самого Бульбовича, который начал говорить о причудах человеческой памяти.

Директор добавил звук.

— Мы обычно представляем нашу память как кладовку, — слышался голос Бульбовича, — где по различным полкам разложена информация, которую мы когда-то сами туда заложили. Но возможно, в этой кладовке имеется информация опыта предыдущих поколений, которую закладывали не мы, и мы не можем извлекать ее сознательно. Но при определенных условиях, чаще всего возникающих при экстремальных обстоятельствах, эта информация может быть нам доступной…

На экране появляется рекламная заставка.

— Слушай, — сказал директор, — при всем твоем нежелании вернуться в прошлое ты подсознательно туда пытаешься вернуться.

— Почему ты так решил?

— Это доказывает передача, которую ты создал.

— Нет, проблемы или причуды памяти интересуют зрителя, вот я и взялся за них.

— Пусть будет так, — сказал директор, — знаешь, какой сегодня день?

— Суббота, — ответил Бульбович.

— Сегодня ровно три года, как мы с тобой познакомились. Это дело надо отметить.

— Ты сказал, — ответил герой, — идем в кабак?

— В кабак мы не пойдем, — произнес директор и поморщился, — меня моя за позавчерашний визит туда еще пилить не закончила.

— А на работе нельзя… директива.

— Совершенно верно, — ответил директор, как будто кто-то его слышал и контролировал.

— Что тогда?

— Давай ко мне. Заодно я себе прощение вымолю.

— Давай, — согласился Бульбович, — заодно мне не надо будет ужин готовить.

— Звоню жене, — сказал директор, — пусть накрывает на стол. А как Валерка рад будет.

7

Пока директор и Бульбович ехали на машине, жена директора заказала в кафе «Любава» холодные закуски, заливное и принялась готовить салат-оливье. Именно с ним в семье директора, во всяком случае, у его старших членов, было связано ощущение праздника еще с советских времен.

Когда директор открыл дверь квартиры своим ключом, раздался радостный крик его сына Валерки:

— Ур-ра, дядя Боря пришел, сейчас кроссворды разгадывать будем!

— А у самого тяма нет? — спросил отец.

— Я тебе что, — ответил сын, — компьютер, что ли?

— А дядя Боря компьютер?

— Дядя Боря лучше компьютера. Его загружать не надо, и скорость во много раз больше.

— Все как три года назад, — произнес директор.

Тут в прихожую всунулась голова жены директора.

— Через пять минут все за столом, — сказала она.

— Мы как раз закончим, — произнес сын, — размахивая газетой с кроссвордом.

— Пять минут дается тебе, чтобы помыть руки, — сказала мать, а не разгадывать кроссворды.

— Мы успеем, — подмигнул Валерке Борис.

— Конечно, успеете, — влез в разговор директор, — мама всегда торопится. Говорит, что обед будет готов через пять минут, а подает через двадцать.

— В ресторане тебе быстрее подавали? — съехидничала жена.

Так с шутками и прибаутками через десять минут все уселись за столом. Жена положила салат в тарелку сыну, налила рюмку водки гостю.

— А мне? — обиженно произнес хозяин.

— А ты позавчера свой лимит выпил, — заявила жена.

— Где?

— Тебе лучше знать, я за тобой не слежу.

— А ты следи, чтобы потом на меня напраслину не возводить, — сказал муж, сопя нарочито обиженно.

— Лена, — сказал Борис, — может, амнистируем его?

— Амнистируем, амнистируем! — закричал сын.

— А ты не вмешивайся в разговоры старших, — сказала мать, это во-первых, а во-вторых, не кричи за столом.

— Ладно, не буду, — надулся сын.

— Вот видишь, Леночка, — сказал директор, — даже сын говорит: ладно.

— А ты сыном не прикрывайся. Хорошо, только в честь нашего гостя.

Она налила рюмку мужу и произнесла:

— Ну, за встречу.

Взрослые выпили, а Валерка принялся за салат.

— Слушай, — сказал Борис, — ты говорил, что сегодня третья годовщина, как мы с тобой познакомились. И как это было?

— А я знаю, я знаю, — закричал Валерка, — папа в травме лежал, а тебя туда привезли, а мы с мамой вас навещали. Мы с тобой кроссворды в палате разгадывали…

Когда на часах было десять, родители вспомнили, что сына нужно укладывать спать. Но тот заупрямился, сказал, что должен проводить дядю Борю. Тогда и дядя Боря засобирался домой. Все семейство вышло в коридор, и начался ритуал прощания.

— Жениться тебе надо, Борис, — сказала Елена.

— А может, я уже женат, — шутливо отозвался Борис.

— Штампа в паспорте нет, значит, не женат, — безапелляционно заявил директор. Он под шумок прощания задержался возле стола и махнул пару рюмок сверх дозволенного.

— Дядя Боря, а когда мы будем разгадывать кроссворды?

— Наверное, уже в следующий раз.

Борис вышел на лестничную площадку, где его догнал директор.

— У меня идея, — сказал он, — когда тебя доставили в реанимацию, у тебя было кольцо на правой руке.

— А где оно сейчас?

— Наверное, у санитаров.

— Ну, пусть себе носят на здоровье.

— Да я о другом. Нужно провести эксперимент. Я уже продумал как.

— Не нужно.
— Почему?
— Не знаю.
— Тебе не интересно знать, кто ты?
— Не интересно.

8

Бульбович поймал такси и без приключений приехал на квартиру, которую снимал.

Квартира была однокомнатной, в прихожей возле вешалки было большое зеркало.

Он взглянул на себя в зеркало и вдруг понял, что не настроен рассматривать свое изображение. Тогда он зашел в ванную, поплескал в лицо водой, смывая впечатления сегодняшнего вечера, снова вышел в прихожую и подошел к зеркалу.

Но словно кто-то блокировал его попытки исследовать себя. В голову лезла всякая чепуха. Он вспомнил анекдот о мужике, который с похмелья разглядывает себя в зеркале. И так повернется, и так, лоб наморщит, улыбнется, нахмурится. «Федя, — раздается голос жены из кухни, — иди чай пить». — «Твою мать, Федя», — вспоминает свое имя мужик и идет на кухню.

Но вот, наконец, ему удается сосредоточиться, и он долго всматривается в свое отражение. Затем достает из кармана паспорт и сравнивает фотографию с изображением.

— Бульбович, — произнес он с шутовскими интонациями, — вы кто?

Сосед за стеной включил радио на полную громкость, и до него явственно стали доноситься слова рекламы, среди которых с каким-то пиететом или акцентом вдруг было произнесено слово «шоп-тур».

Диктор еще не закончил говорить, а у Бориса начала кружиться голова, пол в прихожей вдруг подпрыгнул и ударил его в грудь. Причем сделал это так сильно, что Бульбович потерял сознание.

9

Очнулся он утром. Поднялся с пола и посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него смотрел незнакомый мужик с резкими чертами лица и взглядом убийцы. Но на лице не было повреждений от падения, только сильно болела левая рука, на запястье которой был большой шрам. Он мог дать голову на отсечение, что шрам выглядел как старый. Но болел так, будто порезался он только сейчас.

Борис глянул на часы. Пора было ехать на работу. Он разделся, прошел в ванную, принял душ, побрился. Снова оделся и опять посмотрел в зеркало. Тот мужик, который полчаса назад удивил его, куда-то исчез. Из зеркала на него смотрел Борис Бульбович, автор и ведущий программы частного канала. Черты его лица разгладились, резкость их исчезла, пропал взгляд убийцы. Но самое удивительное, что исчез шрам на запястье левой руки.

Борис приехал на работу с опозданием. Проходя мимо приемной, он столкнулся с человеком, который выходил оттуда. Лицо этого человека показалось ему знакомым. Да и человек этот, увидев Бориса, изменился в лице, но тут же отвел глаза и прошел мимо.

Борис заглянул в приемную и спросил у секретарши:

— Кто это был?

Та пожала плечами.

— Мужик какой-то из провинции. Целый час у босса сидел.

— Странно, — сказал Борис, — такое ощущение, что я его где-то видел.

— Может, и видел.

— Да и он на меня как-то странно отреагировал.

— Ну, здесь все понятно, это обычная реакция человека на медийное лицо. Ты же у нас звезда.

— Ты хочешь сказать, что он видел меня по телевизору?

— Ну да, а потом, увидев в коридоре, немного опешил, однако затем вспомнил и пошел дальше.

Разговор их прервал голос шефа по громкой связи.

— Зиночка, — произнес он, — найдите мне, пожалуйста, Бульбовича.

— Слушаюсь, господин директор, — ответила Верочка.

И взглядом показала Бульбовичу на дверь кабинета босса. Бульбович в ответ показал ей пальцами, что оставит у себя в кабинете портфель и вернется.

Зиночка кивнула в знак согласия.

10

— Входи, Боря, — произнес директор, когда Бульбович открыл дверь его кабинета, — у тебя почему такой взъерошенный вид? Есть проблемы?

— Уже нет.

— Хорошо. Ты помнишь, о чем мы вчера говорили?

— Нет.

— А говорили мы про эксперимент.

— Какой эксперимент?

— Эксперимент для восстановления твоей памяти и прошлого.

— А мне это надо? Может, не стоит будить лихо, пока тихо?

— Боря, я думаю, что тебе это надо. Впрочем, мы вчера все решили, ты чего не помнишь, пьян, что ли, был?

— Да вроде нет.

— Ну и прекрасно. Ты согласен на эксперимент?

— Да.

Директор позвонил секретарше.

— Зиночка, — сказал он, — я работаю с Борисом Степановичем над идеей новой передачи. Освобожусь к обеду, не раньше. Меня ни с кем не соединять.

— Итак, Борис Степанович, эксперимент, — произнес директор, почему-то потирая руки.

— Может, не надо никакого эксперимента? — сказал Борис. — Давай поступим иначе, ты будешь рассказывать, как познакомился со мной, возможно, я за что-нибудь зацеплюсь. И эксперимент не понадобится.

— Нет, нет, — произнес директор, — чтобы все это достигло цели, нужно эту цель сформулировать.

— Сформулируй сначала, что такое цель вообще.

— Цель — это тот результат, к которому ты стремишься.

— Но я ни к чему не стремлюсь, и это мне нравится.

— Не может этого быть, ты все время пытаешься понять, кто ты и кем был в прошлом.

— Ты так полагаешь?

— Да.

— Хорошо, пусть так, теперь детальней: как мы с тобой познакомились?

— Годится, — ответил директор. — Я лежал в травме, меня какой-то идиот подрезал на «Хонде» и скрылся. Я уже ходил на костылях, когда привезли тебя.

— Кто меня привез?

— «Скорая».

— Как меня оформили или представили?

— Никак, сестра как-то сказала, что сегодня к нам из реанимации Бульбовича переведут и что ты головой трахнулся и немного не в себе.

— А сестра откуда знала, что я Бульбович?

— У тебя в кармане были документы.

— То есть паспорт?

— Ну да.

— Но в паспорте должна быть прописка.

— Да, по паспорту ты прописан в какой-то деревне под Минском, но деревни этой нет. Ее снесли под коттеджи.

— А как мы познакомились лично с тобой?

— Элементарно. Ко мне приходили жена и Валерка. Валерка в то время увлекался кроссвордами и приставал ко мне с вопросами. Так вот он спрашивает: «Стихотворный размер — семь букв, первая «а»?» А ты: «Анапест».

— А я откуда это знал?

— Мы думали, ты филолог, а потом он спрашивает: «Деталь от часов на букву «а»?» И ты говоришь: «Анкер».

— А я откуда это знал?

— Валерка перебрался к тебе на койку, и вы за пятнадцать минут кроссворд разгадали.

— Да?

— Мужики в палате прямо обалдели и стали тебя испытывать. А ты на любой вопрос, как ЭВМ, мог ответить.

— Да я и сейчас могу ответить на любой вопрос.

— А мог ты это сделать раньше?

— Когда раньше или раньше чего?

— Раньше того, как попал в травму.

— Не знаю.

— А хочешь узнать? — уже издевательским тоном спросил директор.

— Нет, — ответил Бульбович.

— Ну вот, опять ты за свое. С тобой происходят странные вещи, а ты не хочешь понять, почему они происходят?

В это время открылась дверь и Зиночка показала рукой на трубку.

— Зина, — сказал директор, — я же просил.

— Это он, — произнесла Зина.

Директор изменился в лице.

— Понял, понял, — ответил он Зиночке, а потом обратился к Бульбовичу: — Боря, на пару минут оставь меня, а потом сразу же продолжим. Заказчики… понимаешь.

11

Бульбович вышел из кабинета босса, вернулся к себе, перебросился несколькими словами с сотрудниками. Но большего сделать не успел: появилась Зиночка и повела бровью в сторону кабинета директора.

Жест этот был понятен всем. Бульбович встал и поплелся к боссу.

— Ну, — сказал босс, — когда Бульбович уселся за приставной столик, — продолжим. И как это у тебя получается?

— Что получается?

— Угадывание всего?

— Не знаю, но когда я слышу фразу, которая сформулирована в форме вопроса, у меня автоматом идет ответ. Кроме того, я могу в уме проводить операции с семизначными цифрами.

— Да, — задумчиво произносит директор, — все это ты действительно можешь, но абсолютно не помнишь своего прошлого. И даже сомневаешься, твоя ли фамилия Бульбович. Кстати, почему ты сомневаешься в этом?

— Мне интуитивно кажется, что такой фамилии на свете не существует.

— Как не существует? Не только фамилия есть, но и ее носитель. Он сидит передо мной.

— Нет, ты не понял, я чувствую во всем этом некую искусственность и надуманность. Словно кто-то придумал мне эту фамилию. Причем тот, кто придумал, был не из Белоруссии. Ты знаешь, что знаменитый актер Смоктуновский имел прадеда белоруса по фамилии Смоктунович.

— А при чем здесь Смоктуновский?

— Да при том, что сосланный в Сибирь за браконьерство в Беловежской пуще его прадед получил в России фамилию Смоктуновский, а мне кто-то придумал фамилию Бульбович.

— Не лишено логики. Но кто мог придумать тебе фамилию?

— Не знаю.

— А ты подумай, что это за волшебник, который придумывает людям фамилии?

— Не знаю.

— Что ты зарядил, не знаю, не знаю, а хочешь узнать?

— Нет.

— А почему?

— Я боюсь.

— Чего боишься?

— Не знаю.

— Если ты боишься, то должен знать причины своего страха. Ты должен бояться чего-то. Так?

— Наверное, так.

— Ладно, давай начнем от печки. Ты помнишь что-либо из своего детства?

— Знаешь, у меня было хорошее детство, я вдруг вспомнил, что рос в большой усадьбе и у меня был учителем немец.

— Ну-ну, — произнес директор, полагая, что услышал зацепку, которая поможет ему ответить на главный вопрос.

— А потом вдруг понял, что читал об этом у Льва Толстого.

— Тьфу, — сказал директор. — Давай зайдем с другого конца. Ты поступил с травмами, которые, скорее всего, могли быть результатам покушения на твою жизнь.

— Не может быть.

— Почему не может быть?

— Потому что я спокойный человек и не мог получить такие травмы. Для того, чтобы такие травмы иметь, нужен соответствующий характер. Помнишь, у нас лежал мужик, который врезался на мотоцикле в бетонную стену. А ведь он врезался в нее специально, поспорил с друзьями, что ничего ему не будет. У него было семь переломов и сотрясение мозга.

— Боря, я помню этого мужика. У него было действительно семь переломов, а вот сотрясения мозга не было, да и не могло быть.

— Почему?

— Потому что у него не было мозга, а значит, и сотрясаться было нечему. Но отчасти я с тобой согласен. Ты сам не смог создать условий для причинения тебе таких травм. Но, может, кто-то покушался на твою жизнь? Подумай, кто мог покушаться на твою жизнь? И что могло быть причиной этого покушения?

— Не знаю.

— А ты и не должен знать, отпусти вожжи сознания, как ты сам говоришь зрителям, может, интуиция тебе что-нибудь подскажет. Может, ты девицу у кого-нибудь увел?

— Ты считаешь, что я могу это сделать?

— А почему бы нет, ты же мужик.

— И за это могут убить?

— Убить могут за все, и даже ни за что, — безапелляционно произнес директор, — вдруг с ней были драгоценности или она была для кого-то источником существования? Рыночные отношения, знаете ли.

— Нет, девицы не помню, но мне все время снится один сон, где я от кого-то убегаю.

— Давай детали этого сна.

— Знаешь с деталями тяжело, когда я его вижу, там все реально, а когда просыпаюсь, все исчезает, как туман под лучами солнца.

— Ладно, смотрю я на тебя, ты действительно напрягаешься, когда мы к этой теме подходим. Давай прервемся, я тут пока бумаги подпишу, а ты зайди минут через тридцать.

12

Бульбович вышел в приемную, где к боссу собралась приличная очередь, представители которой с любопытством посматривали на него. Господин директор никогда не уделял беседам с сотрудниками столько времени. Он «знал все» и вызывал сотрудников только для того, чтобы объявить им свое решение. И уж никак не посоветоваться или обсудить что-либо.

Борису вдруг захотелось похулиганить:

— Вопросы экономии и бережливости, — сказал ожидающим, — самые главные теперь.

Бульбович рассчитывал, что у него есть полчаса, но директор вызвал его уже через десять минут.

— Ты мне даже покурить не дал, — сказал на это Борис.

— Курить — себе вредить, — ответил директор. — Я вот подписываю бумаги, а наш разговор из головы не выходит. Вот ты про сон сказал, а это уже кое-что. Вспомни детали.

— Да я уже говорил, что деталей масса, но как проснешься, они куда-то исчезают.

— Ну, хотя бы несколько.

Борис наморщил лоб, минуту помолчал, а потом произнес:

— Нет, не получается. Хотя… Мне, кажется, что тот узбек, который заглядывал в телефонную будку, оказался там неспроста. Мне кажется, что это дядя Матура.

— Чей дядя?

— Матура.

— А кто такой…

— Стоп, не произноси это слово в именительном падеже.

— Почему именно в именительном нельзя?

— Не знаю. Вчера я грохнулся в обморок, когда услышал слово… Впрочем, не буду его произносить, вдруг обморок повторится. Лучше просто говори «некто М».

— Да я готов говорить «некто Ю», лишь бы помочь тебе. Вспоминай дальше.

— Мне кажется, что этот старый узбек действительно был дядей М, а с М была классная девица, из тех, у кого ноги от ушей растут. Что-то вроде твоей Зиночки.

— Не моей, не моей, — открестился директор. — А ты можешь их опознать?

— Если увижу, то смогу.

— Так я тебе помогу. Пока ты решал, согласиться на эксперимент или нет, я провел свое расследование и выяснил, что подобрала тебя «скорая» не как обычно на Центральном автовокзале, а возле домика РСДРП. И у меня появилось предположение, что ты приехал в Минск на брестском автобусе. Точнее, не брестском, а на том, что пришел с туристами из-за границы, но шел через Брест. Я поехал в автопарк и поговорил с водителями этого автобуса. Они сказали, что нашли тебя спящим в салоне, разбудили, и ты покинул автобус. Я даже номер автобуса записал: 45-76.

— И что это нам дает?

— Значит, ты сел в него либо в Бресте, либо на остановках по трассе Брест—Минск. Ты был когда-нибудь в Бресте?

— Не знаю.

— Тогда о сути моего эксперимента. Мы берем с тобой творческий отпуск и едем в Брест. Там гуляем по городу, пока ты не увидишь что-либо знакомое.

— Если не увижу?

— Тогда едем по трассе и останавливаемся на всех стоянках междугородного автобуса «Брест—Минск».

— А работа?

— Какая, к черту, работа.

— Чего-то на тебя это не похоже.

— Должен же и я когда-нибудь ради друга семьи с ума сойти. Итак, завтра в шесть едем в Брест.

— К чему такая спешка?

— К тому, чтобы ты не сбежал или не отказался от эксперимента.

— Да я не об этом. Я думаю, почему так рано?

— Раньше встанешь, раньше…

— Сядешь.

— Раньше уедешь.

13

Конечно, уехать в шесть не получилось. Директор вспомнил, что ему надо дать допуказания Зиночке, которая на момент его отсутствия должна была обеспечить его замену и служить промежуточным звеном связи между директором и коллективом. Потом он вообще отбежал в сторону и стал звонить непонятно кому. Одной рукой он держал телефон возле уха, а другой показывал Борису некие женские формы, убеждая того, что звонит своей подружке.

В общем, выехали в десять.

— Не переживай, — сказал директор Борису, — пять часов, и мы в Бресте, подумаешь, триста шестьдесят километров.

Он сидел за рулем, а Борис с ним рядом на переднем сиденье.

Утро было прохладное. Директор приоткрыл окно со своей стороны, и ветерок шевелил прически находящихся в салоне.

Когда они проехали половину пути, директор спросил:

— Ты чего такой кислый? Тебя волнует встреча с городом, который может пролить нам свет на твое прошлое?

— Нет, меня волнует что-то другое.

— Что?

— Чувство опасности.

— Для нас?

— Пока непонятно. Сбавь скорость.

— Ты чего, мы же идем в ритме с другими машинами.

Мимо них на огромной скорости проезжает джип.

— Ага, — произносит Борис, — джип, и в нем мертвый водитель. Давай догоним его и предупредим, чтобы он не рисковал.

— Но с нашим движком его не догнать.

— Там должен быть пункт оплаты движения на дороге. Там мы его и догоним.

Джип они догнали на границе Минской и Брестской областей. Он стоял перед шлагбаумом. Соседняя ячейка была пуста, и директор поставил машину в нее.

— Скажи ему, что он опасно ездит, — произнес Борис, — и у меня нехорошее предчувствие.

— Сам и скажи, — ответил директор. — Он же с твоей стороны.

Борис высунулся в окно и сказал водителю джипа:

— Ты опасно ездишь…

Но тот нажал на газ и показал Борису фигу.

— Ну что? — съязвил директор. — Предупредил об опасности?

— Да, — ответил Борис.

— Как видишь, человечество и его отдельные представители не любят, когда кто-то вмешивается в их дела.

— Он не ведает, что творит, — сказал Борис.

— Да ты прям пророк, — ответил директор и тоже тронулся с места, поскольку шлагбаум перед машиной стал приподниматься.

Они молча проехали еще с полчаса, когда директор вдруг спросил:

— Ты чего это в благодетели полез?

— Я увидел этот джип вверх колесами, — ответил Борис.

Директор засмеялся.

— Слушай, я тебе анекдот расскажу. Выпрыгивают десантники с борта большого транспортника. И чтобы большого разброса не было, их прапорщик в шею толкает. И тут последний отказывается прыгать: «Не буду, — говорит, — мне сегодня бабушка приснилась, она меня в гробу видела, у меня парашют не раскроется». — «Эх ты, а еще комсомолец, — говорит прапорщик, — приметам веришь. Давай парашютами меняться и прыгай».

Поменялись они парашютами. Прапорщик дал пинка десантнику. Тот вылетел из самолета, парашют раскрывается, он летит, блаженствует. Как вдруг мимо него со свистом пронеслось тело прапорщика, которое кричало: «В гробу я видел твою ба-бушку… Твою мать…» — заканчивает ругательством анекдот директор, потому что рядом на обочине лежит перевернутый джип, а возле него стоит милицейская машина.

— Ну вот, — произнес Борис, — я же говорил, что видел там мертвого водителя.

— Да, — сказал директор, — и как ты с таким предчувствием и такими способностями не можешь вспомнить свое прошлое?

— Как видишь, мои способности направлены в будущее, — ответил Борис.

— А у меня хорошее предчувствие, — сказал директор, — мы, наконец, установим твое прошлое и начнем новую жизнь.

— Если это тебе так надо, — равнодушно произнес Борис.

— Это надо тебе.

— Не думаю, — ответил Борис, — не думаю…

14

В Бресте они устроились в гостинице, и директор сразу потащил Бориса гулять по городу. У входа в некое заведение с вывеской «Казино» Борис остановился.

— Оно тебе чем-то знакомо? — спросил директор и даже забежал вперед, чтобы рассмотреть реакцию Бориса на вывеску.

— Кажется, да, но у всех этих зданий одинаковая конфигурация, а уж вывеска, как у салуна на Диком Западе.

— А что подсказывает тебе твоя зверская интуиция?

— Моя интуиция направлена в будущее.

Они пошли дальше, прошли участок аллеи, на которой уборщик сметал листья.

— Слушай, — засмеялся директор, — а ты можешь сказать, сколько листьев справа от аллеи, а сколько слева?

— Нет, — ответил Борис совершенно серьезно, — дело в том, что я не вижу многих листьев. Но если бы они лежали не кучей, я бы сказал, что справа на тридцать семь листов больше, чем слева.

— Ни хрена способности, — заметил на это уборщик.

— Ладно, — сказал директор, — что-то ноги у меня гудят, пойдем, поваляемся в гостинице, а заодно и обдумаем наши планы.

15

В гостинице директор растянулся на кровати и предложил сделать то же самое Борису, но тот отказался. Он начал расхаживать по номеру, время от времени подходя к окну, словно пытаясь увидеть там нечто знакомое.

— Да не мечись ты, — сказал директор. — Или опять предчувствуешь, что-то экстраординарное?

— Как ни удивительно, да, — ответил Борис.

— И все же мне кажется, что с джипом у тебя вышло случайно.

— Почему ты так решил?

— Знаешь, — сказал директор, — ты как-то странно приходишь к своим выводам. Хочешь еще один анекдот? Это почти про тебя. Уволили с флота дальномерщика. Он приехал в колхоз наниматься счетоводом. Председатель решил его проверить. Вывез в поле, показал отару и спросил: «Сколько там овец?» Дальномерщик посмотрел и сказал: «Триста пятьдесят две». — «Неправильно, — говорит председатель, — должно быть триста пятьдесят три». — «Сейчас проверим, — говорит дальномерщик, считает еще раз и говорит: — Нет, все правильно триста пятьдесят две».

И тут к ним пастух бежит и говорит, что волк только что унес одну овцу.

«Беру тебя счетоводом, — говорит председатель, — но скажи мне, как ты смог их посчитать?» — «Все просто, я сначала посчитал ноги, их было тысяча двести восемь. А потом разделил эту сумму на четыре».

— А при чем тут я? — удивился Борис.

— Ты так же считал листья.

— Нет, я их вообще не считал. Просто у меня в мозгу, после того как я определился, что считать, а что не считать, — возникли две цифры, одна из них была на тридцать семь больше другой.

— Ну не может такого быть, — сказал директор.

— Может, касатик, может, — ответил Борис и пошел в ванную комнату. Как только дверь за ним закрылась, директор вскочил с кровати и пошел вслед за ним.

Постояв немного у дверей ванной комнаты, директор спросил:

— Надеюсь, ты не собираешься покончить с собой. От нахлынувших чувств?

— Да нет у меня никаких чувств, только предчувствия нехорошие, зря я с тобой связался, давай поедем назад, тебе руководить надо, а мне готовить новую передачу.

— Ну, вот тебе на, мы приехали сюда за триста шестьдесят верст, чтобы сразу уехать. Давай поужинаем и пошляемся по ночному городу. Идет?

— Идет.

16

Поужинав в ресторане, они вышли на проспект, некоторое время бесцельно гуляли, рассматривая, насколько позволяло освещение, лица прохожих, а потом директор сказал:

— Сделаем так. Ты что-нибудь про идиомоторику слышал?

— Нет.

— А-а… значит. Ты не на все вопросы можешь ответить?

— Я же тебе сказал, что отвечаю только на лаконичный вопрос.

— Ладно, не кипятись. Идиомоторика основана на улавливании мышечных сокращений человека. Некто Мессинг хорошо пользовался ее приемами, а всем говорил, что умеет читать мысли другого человека.

Он просил кого-нибудь в зале спрятать маленькую вещь, а сам уходил из зала. А потом брал медиума из числа зрителей за руку и находил эту вещь.

— И кто же будет медиумом?

— Ты. Сейчас я возьму тебя под руку, ты закроешь глаза и поведешь меня туда, куда твое подсознание хочет тебя повести. Идет?

— Идет, только не держи меня под руку нежно, а то люди поймут нас неправильно.

Директор взял Бориса под руку, и они медленно пошли по тротуару.

— Наверное, мы представляем комичное зрелище, — сказал Борис через какое-то время.

— Ты ноги выше подымай, — ответил ему директор, — так ты за слепого сойдешь, и все будет прекрасно.

— Есть, начальник, — ответил Борис.

Так за ничего не значащими разговорами они свернули на какую-то улицу и остановились.

— Ну, — спросил директор, — что ты чувствуешь?

— Да ничего, — ответил Борис.

— Хорошо, — сказал директор, — пойдем дальше.

Они прошли еще немного.

— А теперь? — спросил директор

— Мне кажется, что я тут был, — сказал Борис, — меня это место словно притягивает.

— Ну, тогда открывай глаза, — произнес директор.

Борис открыл глаза и увидел перед собой казино, к которому они подходили днем.

— Ты мне скажи, ты был здесь днем или раньше? — спросил директор.

— Не знаю, — ответил Борис.

— Ладно, делать нечего. Придется войти, — сказал директор.

— Это же казино, — сказал Борис, — здесь надо играть.

— Все расходы за мой счет, — ответил директор, — ты недаром привел меня сюда два раза в один день.

— Я привел?

— Ну не я же, — ответил директор и взялся за ручку двери казино.

17

Казино, куда они попали, представляло собой небольшой зал, в котором было несколько карточных столов с непременным зеленым сукном, одна большая рулетка и несколько рулеток компьютерных.

Справа и слева от входа в зал были барные стойки, за которыми возвышались одинаковые, словно близнецы, бармены. Они были худые и длинные, чем-то похожие на известного в шестидесятые украинского актера Тимошенко, больше известного под сценическим псевдонимом Тарапунька.

— Ты поброди здесь один, — сказал директор, — а я за тобой понаблюдаю.

Он пошел к правой барной стойке, сел на высокий стул и заказал себе кофе и рюмку ликера.

Борис какое-то время ходил по залу, а потом присел на стул рядом с игральным столом, за которым долговязая девица и худой блондин в черном костюме с бабочкой раздавали карты. По другую сторону стола игроки вступали в игру.

Девица наблюдала за тем, как блондин элегантно выбрасывал игрокам карты, а потом подняла глаза и встретилась взглядом с Борисом.

Борис приветливо улыбнулся и кивнул ей головой. Девица вздрогнула, но в следующую секунду отвела глаза и вступила в игру.

Посидев некоторое время возле карточного стола, Борис поднялся со стула и направился к барной стойке слева.

— Мерло, пожалуйста, — сказал он бармену.

Тот кивнул ему, не торопясь налил в бокал вино и поставил бокал на стойку.

— Простите, вы, может быть, помните меня?

Бармен бесстрастно посмотрел в его лицо.

— Так вы меня помните?

Бармен бросил на Бориса еще один ничего не выражающий взгляд, а потом произнес:

— Не могли бы вы встать на секундочку?

— Пожалуйста, — ответил Борис, он искренне поверил, что все это надо бармену, чтобы лучше вспомнить клиента.

Бармен приподнялся на цыпочки над стойкой и оглядел фигуру Бориса с ног до головы. Затем отрицательно покачал головой.

— Посмотри еще раз, — сказал Борис.

Бармен опять приподнялся на цыпочки, чтобы оглядеть фигуру Бориса. А тот сполз со стула на пол и по-зековски стал хлопать себя ладошками по груди, одновременно отбивая камерную чечетку, чем весьма смутил бармена. Однако бармен был тертым калачом. Он тут же подавил смущение и сказал:

— Возможно, вас знает мой брат, — и кивнул Борису на противоположную стойку.

— Пойду к брату, — сказал Борис и направился к противоположной стойке держа перед собой бокал с мерло.

Во время перехода он чуть было не столкнулся с девицей-крупье, которая стремительно двигалась от карточного стола к служебному входу.

— Простите, — сказал ей Борис, — а я вам никого не напоминаю?

Но девица не ответила, видимо, она была занята какими-то своими мыслями.

18

Пока Борис перемещался к другому бармену, пока устраивался на высоком стуле рядом со стойкой и пытался завязать беседу, девица вошла через служебный вход в коридор и постучалась в дверь директора казино.

Кабинет, в который она вошла после приглашения, выглядел странно. С одной стороны это был обычный кабинет хозяина фирмы средней руки, в котором были стол, несколько высоких стульев, картины по стенам. Но шесть телевизоров, свисающих на железных штангах с потолка, на которых можно было видеть все уголки помещений казино, придавали кабинету вид телестудии. И уж совсем не вписывался в интерьер студии-кабинета огромный аквариум, который был наполовину встроен в одну из стен.

Именно возле него стоял хозяин кабинета и казино. Он бросал сухой корм рыбкам, время от времени постукивая костяшками пальцев по стеклу, как бы приглашая рыбок к трапезе.

— Что, Ольга, — спросил он у девицы, — небо упало на землю?

— Хуже, Петр Петрович, — ответила девица, — в зале Бубен.

— Что, — переспросил хозяин, — какой бубен?

— Бубен, весь такой благообразный, интеллигентный, в галстуке. Он еще мне кивнул, а я чуть со страха не умерла.

— Бубен убит, — произнес хозяин, — у меня его кепка с дыркой от пули в сейфе хранится.

— Да Бубен это, такое сходство только у близнецов может быть. Наши Тарапуньки друг на друга не так похожи, как этот мужик с Бубном.

— А может, это и есть близнец?

— Может, конечно, но у Бубна не было брата.

— А вдруг был, вы не знали? Ну очень похож. Вы не хотели бы на него взглянуть.

— Взглянуть очень бы хотел, — сказал директор. — Он один?

— Он с напарником, но тот, по-моему, не при деле.

Директор нажал кнопку переговорного устройства на столе и произнес:

— Начальника службы безопасности ко мне.

19

— Вы очень похожи на вашего коллегу, который стоит за противоположной стойкой, — сказал Борис.

— Мне об этом все говорят, — ответил бармен, так что вы не оригинальны. Я и он — бренд нашего заведения. Многие приходят сюда не только играть, но и посмотреть на нас.

— А я ни на кого не похож? — спрашивает Борис.

— Вы похожи на себя, и в этом нет никакого сомнения.

— Логично, — засмеялся Борис, — и все же многие говорят, что я похож на одного актера.

— Врут, — безапелляционно сказал бармен.

— А вы все-таки приглядитесь, я даже встать могу .

— Встаньте, — произносит бармен.

Борис спускается вниз с высокого стула.

— Нет, — говорит бармен, — я вас не помню, и вы ни на кого, кроме себя, не похожи.

— И я никогда не был у вас в казино?

— Не знаю, — ответил бармен, как бы оправдываясь, — но я открою вам секрет: я не смотрю на лица и поэтому не запоминаю их.

— А куда же вы смотрите?

— На руки.

— А почему?

— Дорожу своей работой.

В это время за спиной Бориса возникает девица-крупье по имени Ольга. Она подмигнула бармену. Бармен повернулся к Борису спиной, поколдовал над емкостями, а затем протянул клиенту рюмку ликера.

— За счет заведения, — произнес он, — и не обижайтесь на меня, я очень хотел бы вам помочь, но не знаю чем.

Борис, обескураженный провалом опыта со своим опознанием, махом выпил рюмку, поднялся со стула и пошел вдоль игорного стола.

Девица-крупье в это время перекрыла видимость директору. Сделала она это весьма ловко, а после направилась в сторону директора и спросила:

— Вы не созрели для партии в покер?

Директор растерялся, что-то пролепетал в ответ, а девица, извинившись, ушла к столу. Когда директор пришел в себя, то в зале не увидел Бориса.

— По-моему вашему другу плохо. Он в туалете, — сказал проходивший мимо охранник.

Директор отправился в туалетную комнату, но там никого не нашел. Он вернулся в зал и сказал охраннику:

— Там его нет.

— Ушел, он ушел, — ответил охранник.

Директор вышел на крыльцо казино, огляделся, но никого не увидел. Тогда он начал набирать номер Бориса по мобильному телефону. Но телефон Бориса молчал.

Директор некоторое время потоптался на крыльце, а потом поплелся в гостиницу, надеясь, что Борис ушел именно туда.

20

Прождав Бориса всю ночь, директор на следующее утро двинулся в милицию.

— Добрый день, — сказал он дежурному, — я хотел бы сделать заявление.

— О чем? — спросил его дежурный.

— О пропаже человека.

— Как давно он пропал?

— Вчера вечером.

— Мы такие заявления не принимаем, нужно, чтобы он отсутствовал не менее трех дней.

Директор покинул отделение, походил возле его дверей, а потом набрал номер мобильного телефона.

— Послушайте, — сказал он, — у меня пропал друг, а в отделении милиции не принимают заявление.

— Зайди туда еще раз, минут через десять, — ответил ему голос по телефону.

Директор честно выждал пятнадцать минут и только тогда направился к дежурному.

— Что же вы сразу не сказали, — произнес дежурный, — что ваш друг не просто пропал, а пропал в злачном заведении. Все это меняет дело.

— Так вы примете у меня заявление?

— Нет, — сказал дежурный, — нужно все проверить, а потом уже писать заявление. Ждите здесь.

Директор присел на лавку возле дежурки. Но долго ждать не пришлось. Тут же появились два милиционера, они кивком пригласили его следовать за ними. Все сели в автомобиль и поехали в казино.

По дороге директор рассказал милиционерам обо всем, что произошло в казино.

— Странно, — сказал один из них, — Петруха в последние годы ведет себя ниже травы, и тут похищение.

В казино было тихо, и только две уборщицы мыли пол в зале. Милиционеры хорошо знали дорогу в кабинет хозяина казино. Они, не плутая, прошли из зала в коридор и вошли в кабинет хозяина. Тот стоял возле аквариума и кормил рыбок.

— Добрый день, Петр Петрович, — сказал тот милиционер, который только что по дороге в казино назвал его хозяина Петрухой. — Не ждали нас?

— Не ждал, — ответил хозяин, — но знал, что вы идете ко мне.

— Каким образом? — спросил второй милиционер.

— Тривиально, — ответил хозяин, — у меня все на мониторах. Я, знаете, стреляный воробей, все фиксирую, что вокруг меня происходит, жизнь этому научила. С чем пожаловали?

— Поступило заявление, — сказал первый милиционер, — о пропаже во вверенном вам заведении гражданина Бульбовича.

— Не знаю такого, — ответил хозяин, — но сейчас все проясним.

Он нажал кнопку и произнес:

— Начальника службы безопасности ко мне.

— Он в вашей приемной, — ответил голос диспетчера.

— Пусть войдет.

В кабинет вошел начальник службы безопасности. В руках у него был компьютерный диск.

— Я в курсе проблемы, — произнес он.

— Откуда? — полюбопытствовал первый милиционер.

— Этот господин, — сказал начальник службы безопасности, кивнув на директора, — вчера искал у нас своего подвыпившего друга. Но тот покинул помещение.

— Но он не мог покинуть его без меня, — сказал директор.

— В котором часу вы начали его искать? — спросил начальник службы безопасности.

Директор посмотрел на часы.

— Около часа ночи, — произнес он.

Начальник службы безопасности подошел к компьютеру, вставил в паз диск, и присутствующие увидели, как на экране монитора с четким хронометражем фиксируется все, что происходило вчера в казино. В двенадцать часов десять минут двери казино открылись, из них, пошатываясь, вышел Борис.

— Господа, — произнес начальник службы безопасности, — обратите внимание, на хронометре двенадцать часов десять минут.

— Таким образом, — подвел некий итог хозяин казино, — все стало на свои места. Наша охрана обеспечивает безопасность клиентов только в заведении. За все остальное мы ответственности не несем.

— Но он не мог уйти без меня, — растерянно произнес директор.

Хозяин заведения на это ничего не ответил. Он отошел к аквариуму и стал кормить рыбок.

— Господа, — произнес начальник службы безопасности, обращаясь к милиционерам и директору, — позвольте, я провожу вас.

23

Как только гости вышли из кабинета, хозяин перестал кормить рыбок и прильнул к экрану одного из телевизоров. Он внимательно смотрел, как милиционеры и директор идут по коридору, как прощаются с друг другом на улице. От его внимания не ускользнуло, что директор не поехал с милиционерами на машине, а пошел пешком, бросив перед этим какой-то затравленный взгляд на заведение, где у него похитили друга.

Минут через пять вернулся начальник службы безопасности. Он почтительно остановился возле дверей. Хозяин молча разглядывал его, словно хотел сказать ему, что он вел себя по отношению к гостям не так, как было условлено. Но сказал другое:

— Давай еще раз.

Начальник снова включил компьютер. Пошел повтор записи. На ней Борис, пошатываясь, выходил из казино и направлялся вправо. Видно, что он едва держался на ногах. Качнувшись несколько раз, он начал падать на асфальт, но возникшие откуда-то две фигуры подхватили его под руки и увели из кадра.

Просмотрев запись, хозяин сказал начальнику службы безопасности:

— Идем.

Они вышли из кабинета и спустились в подвал. Помещение его было заставлено старой мебелью. Хозяин потянул за какую-то скобу, и огромный деревянный шкаф легко отодвинулся от стены, обнажая дверь в боковой коридор.

Хозяин приложил к гнезду металлическую таблетку, дверь отворилась, и они оказались в коридоре, где на лавке кемарил один из охранников в милицейской форме.

При виде босса и хозяина он вскочил, но босс взмахом руки остановил возможный доклад, а хозяин кивнул головой в сторону одной из дверей.

Охранник отодвинул засов и открыл то, что в дверях тюремных камер называется кормушкой.

Хозяин посмотрел внутрь. Там в помещении, похожем на тюремную камеру, находится Борис. Он спал после дозы снотворного.

— Что делать с ним, Петр Петрович? — спросил охранник у хозяина. — В Мухавец?

— А если это не Бубен? — сказал начальник службы безопасности.

— Если это не Бубен, — ответил Петр Петрович, — то его нужно отпустить. Мы бизнесмены, а не беспредельщики.

— А если Бубен?

— Тогда тем более.

Охранник непонимающе посмотрел на Петра Петровича

— Так какие будут указания? — спросил начальник службы безопасности.

— Поиграйте в театр, — ответил хозяин казино, — но так, чтобы лишних людей среди «артистов» не было.

— Хорошо, Петр Петрович, — ответил начальник службы безопасности.

Когда хозяин ушел, охранник по-свойски сказал своему боссу:

— Петруха совсем плохой стал, раньше он людей Матура до третьего колена вырезал бы, а теперь «мы — не беспредельщики».

— Ты много не звезди, — произнес начальник службы безопасности. — Это он сейчас такой мягкий и пушистый. А если ему на хвост наступить, он не только былое вспомнит, но еще из будущего прихватит.

— И чем ему этот Матур плешь проел?

— Они оба собирали страховой фонд на черный день, в виде камешков обработанных.

— Общак на случай мирового финансового кризиса?

— Ты еще раз про общак ляпни, тебе Петруха язык точно отбоярит. Короче, кинул его Матур.

— И Петруха ему отомстил?

— Да, но фонд так и не нашел.

— Теперь все его благородство понятно.

— Ну, раз тебе все понятно, выполняем указание хозяина.

— А где будем брать реквизит?

— А фули его брать? Он уже на тебе…

22

Борис проснулся в незнакомом помещении. Болела голова, и в теле была необычная вялость.

— А-а, проснулся, — произнес милиционер, стоявший в двери этого помещения. — Ну, ты попал.

— Куда попал? — спросил Борис.

— Сказал бы я тебе, куда ты попал, да следак на подходе, он тебе все сам объяснит.

— А что случилось? — спросил Борис.

— Не могу сказать больше, чем знаю, — ответил милиционер, — но ты, по-моему, по пьяни грохнул кого-то…

— Я…

— Головка… от телефонной трубки.

— При чем тут трубка?

— При том, что тебе труба.

— Почему труба?

— Потому что ты в трубе, а в трубе ты, потому что ты трубка.

— Какая трубка?

— Клистирная, — заржал милиционер.

— Так что все-таки произошло? — спросил Борис.

— Сейчас тебе следователь все объяснит, — произнес липовый милиционер и ушел.

Борис встал, осмотрелся в камере, попробовал на прочность решетку. Однако дальнейшие его действия были прерваны появившимся «следователем», в котором легко можно было узнать начальника службы безопасности. В руках его был дипломат.

— Следователь Иконников, — представился он, открыл дипломат, достал оттуда бланк протокола допроса. — Ваша фамилия, имя, отчество?

— Бульбович Борис Степанович, — ответил Борис, внимательно посмотрел на следователя и не обратил внимания, как в углу помещения, в котором он находился, под самым потолком шевельнулся глазок телекамеры.

— Где живете?

— В Минске.

— Как оказались в Бресте?

— Приехал отдохнуть с другом.

— Понятно, оттянуться приехали с другом, мало нам своих дебоширов, так еще и минчанами приходится заниматься.

— Да я вроде не дебошир.

— Это тебе так кажется.

— Почему вы так решили?

— Потому что вчера ты чуть не грохнул хорошего мужика. Ты хоть помнишь, за что ты к нему прицепился?

— Я прицепился?

— Я, я головка от…

— От чего головка?

— Не прикидывайся дураком. Не знаешь, от чего головка?

— Не знаю.

— Ты в армии служил?

— Не знаю.

— Как это, не знаю?

— Ну, не помню.

— А, не помнишь, так запомни: кто в армии служил, тот в цирке не смеется.

— А почему не смеется?

— Потому, что армия — это тот же цирк, клоун на клоуне.

— Не согласен, в армии есть вполне приличные люди.

— Слушай, ты на самом деле дурак или прикидываешься, уводишь меня в сторону от основной темы. Ты сразу скажи, ты мужика замочить хотел или у тебя это случайно получилось?

— Не знаю, точнее, не помню.

— Разговор в таком духе продолжался более часа, потом «следователь» сказал:

— Все, делаем перерыв, иначе у меня тоже поедет крыша.

И он вышел из камеры. Борису было слышно, что следователь что-то сказал милиционеру, затем послышались шаги и все стихло.

Но тут же заскрежетал ключ в замке, откинулась кормушка, и милиционер произнес:

— Ну че, убийца, думай…

— О чем? — спросил Борис.

— О том, как жить дальше, — ответил мнимый милиционер и снова заржал.

23

Петр Петрович просматривал запись «допроса» Бориса. На экране телевизора «следователь» задавал вопросы Борису. Рядом с телевизором сидел мнимый следователь.

— Вы были знакомы с потерпевшим?

— Каким потерпевшим? — переспрашивает удивленно Борис.

— С тем, кому вы причинили телесные повреждения средней тяжести.

— Я не помню, чтобы я кому-нибудь что-либо причинил.

— И часто у вас такие провалы в памяти?

— Про провалы в памяти нужно спрашивать не меня, а окружение, — говорит Борис.

— Стоп, — произносит Петр Петрович, — вернемся еще раз к этой фразе.

Начальник службы безопасности отматывает пленку на кассете обратно.

На экране Борис снова произносит фразу:

«Я не помню, чтобы я кому-нибудь что-либо причинил».

«И часто у вас такие провалы в памяти?»

«Про провалы в памяти нужно спрашивать не меня, а окружение…»

Петр Петрович сделал отмашку начальнику службы безопасности, чтобы тот остановил запись.

— Судя по его поведению, это действительно не Бубен. Однако нужно на сто процентов быть в этом уверенным.

— Что сделать еще? — спросил начальник службы безопасности.

— Воспользуйся его сомнением о провалах в памяти и устрой ему встречу с психиатром. Но перед этим проверь его на детекторе лжи.

— Уже проверил, — сказал начальник службы безопасности.

— И что сказал оператор? Он притворяется дурачком?

— Это невозможно. Он совершенно искренен.

— Ты так считаешь?

— Так считает оператор детектора лжи.

— И где ты его откопал?

— У глухонемых[1].

— Не лучший вариант.

— Но специалист он классный.

— Специалист-то он, может быть, и классный, но работает у глухонемых.

— Понял, босс, больше не повторится.

24

Немного успокоившись после визита «следователя», Борис постучал в дверь камеры.

— Чего надо? — отозвался «милиционер».

— Пить хочу.

— Вода в кране.

— А кормить меня будут?

— Не положено, — заржал мнимый милиционер, явно наслаждаясь своей ролью садиста.

Борис отошел от двери, сел на нары.

[1] Глухонемые (*сленг*) — сотрудники спецслужб.

— Эй, убивец, — закричал «милиционер», — к тебе гости, сейчас в психушку поедешь!

— Почему в психушку? — спросил Борис.

— Потому, что ты псих, и тебе там самое место.

Дверь камеры отворилась, и в нее вошли «следователь» и психиатр в белом халате.

— Вот, — сказал психиатру «следователь», — подозреваемый абсолютно не помнит, как подрался в казино.

— Дверь закрывать? — спросил охранник.

— Не буду мешать, — сказал «следователь» и вышел. Дверь за ним захлопнулась, но ключ в замке не повернулся.

«Следователь», громко топая, прошел мимо охранника. А затем пошел нормальным шагом, поднялся на первый этаж и вошел в кабинет хозяина казино. Тот смотрел на экран телевизора. «Следователь» молча уселся рядом и так же, как босс, стал следить за действиями психиатра.

— Вы не могли бы встать, — сказал психиатр Борису, — закрыть глаза и коснуться указательным пальцем кончика вашего носа?

Борис поднялся с нар и проделал все, о чем просил врач.

— Скажите, — произнес врач, — а ранее у вас не случалось провалов в памяти?

— Если провалы в памяти были у меня, то я их не помню, — ответил Борис.

— Логично, логично, — произнес врач.

— А травм головы не случалось?

— Случалось, года три назад.

— Я так и думал, у вас в глазах ощущение этой травмы.

— Неужели это можно узнать по глазам?

— Представьте себе, можно. Навязчивых мыслей не бывает?

— Бывают. Например, мне сейчас хочется снять с вас халат и пиджак и убедиться в наличии у вас на левом предплечии родимого пятна.

— Мы с вами когда-то встречались? — спросил врач.

— Нет, доктор.

— Тогда откуда вы знаете о родимом пятне?

— Не знаю, не знаю. Просто мне кажется, что оно у вас там есть.

— Откуда вы знаете, что оно там есть? Вам об этом сообщают некие голоса?

— Нет.

— И все же мне интересен способ, с помощью которого вы получаете информацию.

— Не могу сказать, я просто вижу его.

— У вас галлюцинации?

— Нет, я вижу все это не глазами.

— Оно там действительно есть. Но как вы об этом узнали?

— Я увидел в ваших глазах некое смущение от наличия этого пятна. Точнее, даже не от наличия, а от его формы.

— И на что оно похоже?

— На эрегированный фаллос.

Врач поднялся со своего табурета и сказал охраннику:

— Мы закончили.

Охранник открыл дверь, и доктор удалился.

— Эй, убивец, — сказал охранник, когда шаги доктора по коридору стихли, — а ты не такой дурак, как кажешься.

25

— Что сказал врач? — спросил начальника службы безопасности Петр Петрович.

— Врач сказал, что он психически здоров, — ответил тот. — Но он же констатировал у задержанного черепно-мозговую травму и выдвинул гипотезу, что у того может быть частичное поражение головного мозга.

— А что это он про родимое пятно говорил?

— Да фигню какую-то. Впрочем, он так и перед барменом выеживался. Вас это удивляет?

— Да, именно в этом есть некие элементы куража, который был свойствен Бубну. Но это не он. Хотя и похож. Идем. Проверим его еще раз.

Они вышли из кабинета, спустились в подвал, где охранник подобострастно вскочил при их появлении. Зашли в камеру. Петр Петрович похозяйски уселся на табурет напротив Бориса.

— Ты не узнаешь меня? — спрашивает он.

— Нет, — ответил Борис.

— Ведь мы ранее встречались?

— Не помню, — ответил Борис. — Кто вы?

— Я хозяин казино, где вы устроили драку, и я не заинтересован в придании вашему делу огласки.

— Это может нанести ущерб престижу вашего заведения?

— В определенном смысле, да.

— И что вы хотите этим сказать?

— Я уже составил беседу с потерпевшим, он отчасти признал свою вину за то, что спровоцировал вас на драку… Кстати, вы помните, как у вас все произошло?

— Нет.

— Ну да бог с этим, все это уже не так важно. В ваше положение вошел и следователь. Он полностью согласен с тем, что ваше дело не имеет судебной перспективы, а следовательно, нет смысла его продолжать. Вы даете мне слово, что никогда не приблизитесь к моему заведению, и мы покидаем это благословенное учреждение. Вы согласны?

— Да.

Петр Петрович поднялся с табурета, демонстративно протянул конверт следователю. Тот подобострастно принял его. Охранник отпер дверь. Петр Петрович пропустил Бориса вперед. Они вышли на крыльцо черного хода.

— Странное какое-то отделение милиции, — заметил Борис.

— Это черный ход, — нашелся Петр Петрович. — Садитесь в мою машину, я отвезу вас к гостинице.

Машина, в которую сели Петр Петрович и Борис, рванулась с места и спустя пятнадцать минут была у вестибюля гостиницы «Интурист».

Сидящий на первом сиденье Петр Петрович сказал Борису, не оборачиваясь:

— Как я понимаю, на крыльце стоит ваш друг и начальник. Идите к нему.

— Откуда вы знаете? — спросил Борис.

— Я многое знаю, — ответил Петр Петрович, — и если бы у тебя на запястье левой руки был шрам, я твоему возможному актерству не поверил бы.

Борис вышел из машины, которая тут же отъехала.

— Боря! — услышал он голос директора. — Ты нашелся. А мне позвонил кто-то и сказал: встречайте своего загулявшего друга. Пойдем, примешь душ, пообедаем и домой. Хватит с нас приключений.

— С тобой что-то приключилось?

— Да, разумеется, — съехидничал директор, — я всю ночь не спал, ждал тебя. Давай в душ и на обед.

— Где будем обедать? — спросил Борис.

— Да здесь, в ресторанчике, чего далеко ходить.

— Логично, — ответил Борис.

26

В номере Борис долго плескался в душе.

— Ты чего там застрял? — спросил директор.

— Не могу избавиться от запаха тюрьмы.

— Это иллюзия, — сказал директор, — ты давно от него избавился, хочешь, я тебе парфюм свой дам?

— Хочу, но после того, как окончательно вытравлю из себя этот запах, — ответил Борис.

Когда Борис вышел из душа, директор кивнул ему на диван, на котором лежали только что купленная рубашка и галстук.

— Твой размерчик, — произнес директор.

— Ты что, знал, что я попаду в камеру?

— Господь с тобой, Боря, откуда я мог это знать. Но то, что ты вернешься целым и невредимым, я предполагал. Брест не Чикаго, где можно пропасть без вести.

— Да, — ответил Борис. — Брест действительно не Чикаго, а что-то вроде Голливуда.

— Дался вам всем этот Голливуд, — сказал директор, — нашли тоже идеал творческой студии.

Но Борис не ввязался в полемику. Он надел рубашку, повязал новый галстук и посмотрелся в зеркало.

— Красаве́ц, — произнес он с ударением на последнем слоге.

— Красавец, — поправил его директор.

— Классику знать надо, — отрезал Борис.

— Какую, что-то я не припомню…

— Ну не голливудскую, конечно. А советскую. В семидесятых годах прошлого века вышел фильм «Калина красная». Впоследствии его растащили на цитаты. Одну из них ты только что слышал.

— Но ты тогда был еще совсем юным.

— Мне кажется, что я тогда уже был совсем зрелым.

— Да, — сказал на это директор, — плохо, что у человека нет колец, как у деревьев, можно было бы сразу узнать его возраст.

— Ты забываешь, что возраст дерева можно узнать только спилив его, — сказал Борис. — А как с человеком?

— Ну, с человеком проще, сейчас существуют томографы, которые могут сделать это, не разрезая или не распиливая его.

Так, болтая ни о чем, гости Бреста вышли на крыльцо гостиницы и направились к входу в ресторан.

Они прошли стеклянные двери и в вестибюле столкнулись с мужчиной, который, увидев Бориса, сказал:

— Привет, Колян.

— Вы его знаете? — спросил директор.

— Да кто его не знает… — ответил мужчина.

— А ты его знаешь? — спросил директор Бориса.

— Впервые вижу, — ответил тот.

Мужчина, услышав ответ Бориса, изменился в лице и почти испуганно произнес:

— Извините, я, видимо, ошибся.

Он ускорил шаг, обогнал Бориса и вышел на крыльцо ресторана. Директор догнал его.

— С кем ты его спутал? — спросил он.

— Уже ни с кем, ни с кем, — испуганно произнес мужик, — извините, парни, извините.

Директор вернулся в вестибюль.

— Ты чего за ним погнался? — спросил Борис.

— Хотел узнать, с кем он тебя спутал.

— И что это тебе дало бы?

— Я бы узнал, кем ты был три года назад.

— Слушай, достал ты. Почему я не хочу этого, а ты, хозяин казино, следователь хотят это узнать?

— Ты меня об этом спрашиваешь?

— Ну да, а кого я еще буду об этом спрашивать?

— Да, действительно, кого ты можешь об этом еще спросить, кроме меня, — сказал директор.

27

Они вошли в зал ресторана. К ним тут же подлетел метрдотель.

— Мы хотели бы пообедать, — сказал директор.

— А вы смотрели на время? — ответил метрдотель директору. — Время ланча прошло, у нас вечернее меню. Все столики заказаны.

— Пойдем в другое место, — сказал Борис, обратив на себя внимание метрдотеля.

— Секундочку, секундочку, — сказал метрдотель, — у нас есть резервный столик, в углу зала. Если вы не передумали уходить, то он за вами.

Директор и Борис уселись за столик, на который указал им метрдотель, не обратив внимания на то, что тот сразу же стал звонить кому-то по телефону, а к столу мгновенно подлетел официант и принес два меню в кожаных переплетах.

— Ты нам принеси по рюмке водки, — сказал официанту директор, — а мы потом будем меню рассматривать.

— Вообще-то, у нас это не принято, но для вас… — ответил официант и исчез, стремительно преодолев расстояние между столиком и входом в подсобку.

— Вот это сервис, — заметил директор.

Они открыли папки, в которые были вложены меню, но тут появился официант с двумя рюмками водки на подносе.

— Анисовая, — сказал он, — такая, какую вы любите.

— Что ты сказал? — спросил директор.

Но официант только обворожительно улыбнулся: мол, мы все понимаем, и снова исчез.

Директор взял в руки свою рюмку и кивком призвал Бориса сделать то же самое.

— Ты же за рулем, — сказал Борис, — как мы поедем?

— А, — произнес директор, — сегодня гуляем, отмечаем твое спасение, а завтра едем.

— Спасение от чего? — с удивлением произнес Борис,

— А хрен его знает, — ответил директор, — если ты сам о себе ничего не знаешь, то что могу знать я?

— И то верно, — ответил Борис, — гуляем.

28

В Бресте наступил вечер, и ночная прохлада опустилась на город. Впрочем, опустилась ли? Может, она, наоборот, поднялась, поскольку днем, придавленная солнцем, пряталась в тени деревьев и зданий, по подвалам жилых домов и официальных учреждений.

Официанты открыли окна, и прохлада пришла в ресторан, где директор и Борис, разгоряченные выпитым, продолжали вести ничего не значащие разговоры. Правда, директор при этом время от времени посматривал на часы, проявляя некое беспокойство. Но Борис не замечал этого. Не заметил он и того, как за соседним столиком появились два прилично одетых парня с короткими прическами. Опытный взгляд сразу выделил бы их из числа посетителей ресторана, потому что держались они уверенно и даже по-хозяйски, пили мало, вели беседу неспешно и не смотрели прямо на директора и Бориса. Так делают сотрудники службы наружного наблюдения на улицах, чтобы объект не почувствовал постороннего контроля.

Не обратил Борис внимания и на то, что метрдотель попросил пересесть в противоположный конец зала одну пожилую пару, а за освободившийся двухместный столик церемонно посадил женщину, назвав ее Алиной.

— Ну, за твое благополучное возвращение, — в очередной раз сказал директор.

— Годится, — ответил Борис, — тебя как заклинило на этом возвращении.

— Да так и есть. Я, знаешь, как испугался, когда вернулся в гостиницу, а тебя там нет. Думал, ты опять пропал.

— Так… почему опять?

— Потому что ты появился в Минске три года назад, а значит, где-то ты пропал.

— Логично, — ответил Борис и уставился на Алину.

— Не смотри так внимательно, — сказал директор, — это неприлично.

— Хорошо, не буду, — ответил Борис и опять посмотрел на Алину.

— Ты ее знаешь, — с какой-то тайной надеждой спросил директор, — или видел где-нибудь?

— Нет, — ответил Борис.

— А, так она тебе просто понравилась.

— Может быть.

— Ты не увиливай, понравилась? Или ты ее все же где-то видел?

— Скорее понравилась, — ответил Борис.

— Тогда пригласи ее на танец…

— Хорошо, — ответил Борис, — а ты что будешь делать, допивать водку в одиночестве?

— Ну что ты. Я приглашу вон ту блондинку польских кровей, что сидит от нас через столик.

Борис поднялся и пошел приглашать на танец Алину, а директор направился к блондинке.

Алина, танцуя с Борисом, услышала щелчок невидимого фотоаппарата.

— Нас кто-то снимает, — сказала она.

— Наверное, для «Плейбоя», — ответил Борис, — а возможно, хотят шантажировать. Вы замужем?

— Была, — ответила Алина.

— Да, — произнес Борис, — если женщину спросить: не замужем ли она? — она может ответить: дважды.

29

Следующий день в городе Бресте был ничем не примечателен.

В девять утра проснулся в номере гостиницы директор и долго и непонимающе смотрел на пустую кровать Бориса, точно пытаясь понять, не приснилось ли ему возвращение своего подчиненного, а также вчерашняя пьянка в ресторане гостиницы.

Примерно в это же время хозяин казино по имени Петр и по кличке Петруха внимательно рассматривал фотографии Алины и Бориса. Он то приближал их к своим глазам, то отдалял, словно пытаясь проникнуть сквозь внешнюю оболочку танцевавших вчера в ресторане Алины и Бориса в их внутренний мир, а лучше всего в их мысли и оценки происходящего.

Затем он набрал номер мобильного телефона, но передумал и не стал звонить, какое-то время походил по кабинету, посмотрел на аквариум и снова взял в руки одну из фотографий.

Борис и Алина смотрели друг на друга. Но как по-разному они смотрели. Ее взгляд говорил, прямо кричал: узнай меня, ну…

Взгляд Бориса был похож на взгляды сотен мужчин, пригласивших на танец женщину, которая дольше других смотрела на него в этот вечер.

Но самое удивительное было то, что точно такие же фотографии лежали на другом столе, в кабинете здания по улице Коммунистической, хозяином которого был человек с погонами генерал-майора.

Человек этот только что вызвал двух своих подчиненных, и если бы в кабинете присутствовал Борис, он мог бы обратить внимание на то, что эти двое сидели за столиком рядом с ним. Но Бориса не было в кабинете генерала. Как раз в это время он досматривал в постели Алины, наверное, десятый сон, в котором он убегал от преследователей и никак не мог убежать, но и преследователи в последний момент почему-то не могли его догнать.

Генерал, еще раз взглянув на снимки, сказал:

— Какие мнения по этому поводу?

Генерал не знал, что оба опера, перед тем как идти к нему, уже имели по этому поводу беседу.

— Что будем докладывать шефу? — спросил тот, который был чуть постарше.

— Что в поле зрения правоохранительных структур появился человек, отдаленно напоминающий Бубна, — ответил тот, что был помоложе.

Он был ниже первого, коренаст, по-видимому, крепок и имел более нагловатую, чем у его коллеги, физиономию, и звали его Валентином.

— Ничего себе отдаленно, да он как две капли воды похож на Бубна. Это Бубен.

— Похож, — ответил второй опер.

— Да он это. И дело не в схожести лиц, у него походка и движения тела те же. Сымитировать можно все, но память тела не поддается корректировке.

— Может быть, может быть, — повторил второй, — но ты пойми, Миша, все это нужно тщательно проверять.

— Что-то ты, брат, осторожен стал не в меру, — сказал опер по имени Михаил, а про себя подумал, что его напарник почему-то не заинтересован в том, чтобы Борис оказался Бубном.

— Это не он, — сказал Валентин.

— Да он это, — закипятился Михаил, — ты что, не узнаешь его, он же тебя в группу брал.

— Тот был крутой, а этот… будто вареный.

— Все… укатали сивку крутые… — произнес Михаил. — За ним столько операций, сколько на войне не у каждого бывает…

— Так, я хочу знать ваше мнение, — повторил генерал, — а то витаете где-то в облаках.

30

«Нужно перебежать на ту сторону улицы, а там будет возможность скрыться в парке», — подумал Борис, но автоматная очередь остановила его.

Странной была эта очередь, она была похожа на телефонный звонок, очень, очень знакомый телефонный звонок.

Борис проснулся и, не открывая глаз, стал шарить рукой по тумбочке, но тумбочки не было, и его рука провалилась в пустоту.

Пришлось открыть глаза и удивиться. Он лежал в постели в незнакомой квартире с незнакомой женщиной, и единственным звеном, связывающим его со знакомым прошлым, мог быть звонок мобильного телефона.

Телефон был под подушкой. Борис включил его и услышал голос директора:

— Ты не забыл, что мы сегодня возвращаемся в Минск? — спросил директор.

— Не забыл.

В это время проснулась и Алина, она приподнялась на локте и вопросительно посмотрела на Бориса.

— Тогда я тебя жду.

Алина отрицательно покачала головой.

— Езжай без меня, — сказал Борис.

— Ты серьезно?

— Более чем. У меня еще неделя отпуска, что мне делать в Минске?

— Ну мы же вчера договаривались и даже отходной банкет устроили.

— Ну а сегодня ситуация изменилась, — сказал Борис и посмотрел на Алину, — впрочем, она изменилась еще вчера.

— Как знаешь, — ответил директор.

Он подождал, пока Борис отключится, и набрал чей-то номер.

— Але, — сказал он, — это я… он не хочет возвращаться…

— Значит оставайся и ты, — ответил голос, искаженный мембраной.

— А зачем?

— Будешь за ним присматривать.

— Понял, — ответил директор.

Он поднялся с кровати и стал одеваться.

30

— Доброе утро, — произнес Борис, отключив мобильный телефон после разговора с директором.

— Ты остаешься? — вместо ответа произнесла Алина.

— Да, — сказал он, — и чем мы займемся?

— Ты никогда не был в Бресте? — спросила она.

— Наверное, не был, — ответил Борис.

— Что значит наверное?

— То и значит, что я не знаю, был я здесь или не был.

— Ну, тогда тебе нужно показать центр города и крепость.

— Крепость, пожалуй, — сказал Борис, — а в центр города я не пойду, там у вас казино на каждом шагу.

— Ничего подобного, — ответила Алина, — в Бресте всего четыре казино. И не все они находятся в центре.

— Ладно, — сказал Борис, — едем в крепость, а потом где-нибудь позавтракаем или лучше пообедаем.

До крепости они доехали на маршрутке.

Постояли немного у главных ворот. Дождались записи диктора с информацией о начале войны и вошли в крепость. Возле композиции «Жажда» Алина на правах коренной брестчанки стала рассказывать Борису о защитниках крепости, потом они прошли к Вечному огню, побродили по выставке военной техники и через Холмские ворота вышли к Мухавцу.

— Ты не хотел бы посмотреть на дома поселения надбужских славян? — спросила Алина.

— Если ты полагаешь, что это интересно, давай посмотрим, — ответил Борис.

Они вошли в здание музея, постояли на галерее, рассматривая маленькие избы времен начала текущего тысячелетия.

— Какие они низкие, — сказал Борис.

— Вот так же ты сказал о них, когда увидел их впервые три с половиной года назад, — заметила Алина.

— Я сказал? — удивился Борис.

Алина взяла его под руку и увела из музея.

— Мне хочется показать тебе еще одно интересное место, — произнесла она, подводя его к мосту через Мухавец.

— Эти ворота называются Холмскими. Тебе ничего не напоминают эти ворота? — спросила она.

— Нет, — ответил Борис, — но в отличие от изб в музее, я видел их…

— Где?

— На фотографиях.

— Только на фотографиях?

— Да.

— А мне это место дорого, я здесь любила гулять с мужем, который погиб три года назад, — сказала Алина и посмотрела в глаза Борису.

— Сочувствую, — произнес он. — Выходит я, напоминаю тебе твоего бывшего мужа?

— Да.

— И поэтому ты обратила на меня внимание.

— А тебя это оскорбляет?

— Нет, женщины сложные существа, и мерить их мужскими стандартами нельзя.

— А ты почему выбрал меня из всех женщин в ресторане? Я тебе никого не напоминаю? — спросила Алина с некоей надеждой услышать нужный ей ответ.

— Я выбрал тебя, потому что ты мне нравилась больше, чем все остальные женщины в ресторане.

— И только?
— А разве тебе этого мало?
— Мало.
— Действительно женщины непонятные для мужчин существа.

31

Генерал позвонил дежурному по управлению и вторично вызвал к себе Михаила и Валентина.

Ожидая приглашенных, он подошел к окну кабинета и стал смотреть на красночерепичную крышу музея спасенных ценностей. Генерал не был местным. В Брест его занесла служба.

Раздался стук в дверь.

— Войдите, — сказал он, еще раз взглянув на крышу музея и подумав, что в Бресте он уже почти год, но до сих пор не удосужился посетить означенный музей.

Впрочем, он не только его не удосужился посетить. Что поделать — служба.

Появившиеся опера стояли у дверей и в соответствии со служебным этикетом ждали приглашения.

Генерал кивнул им на приставной столик. Подчиненные уселись за него, и этикет на том закончился, потому что генерал начал допрашивать их так, как будто именно они были источником всех его бед и неприятностей.

— Скажите мне, — тут он немного помедлил, — почему я о появлении ожидаемого человека узнал не от вас, а из других источников?

— У нас были сомнения… — начал Валентин.

— В чем?

— В том, что это искомый нами человек.

— Пусть так, — сказал генерал, — но о том, что в городе появился человек, похожий на объект розыска, вы мне могли доложить?

— Да, тащ генерал, — ответил Михаил, — мы хотели сделать это после окончательной проверки.

— Какой проверки?

— Предварительной.

— Вам бы не в опера, а в дипломаты идти, — сказал генерал, — и все же, что мы можем констатировать на сегодняшний день?

— То, что появился человек, весьма похожий на Бубна, — сказал Валентин.

— Установочные данные проверили?

— Да, — сказал Михаил. — Борис Бульбович, работает ведущим одного из частных телеканалов Минска, там и живет.

— Подробнее про Бубна, — сказал генерал. — Почему вдруг такой ажиотаж он вызвал у криминала в Бресте?

— Может, это сделает Валентин, — сказал Михаил, — он был у него в группе.

— Нет, — ответил Валентин, — я в его группе состоял только один день. Вряд ли я что-то могу сказать о нем.

— А что это была за группа?

— Вас тогда еще не было, — сказал опер по имени Михаил, — и у нас были проблемы с каналами контрабанды.

— А сейчас у нас их нет?

— Есть, но не в тех масштабах. Брест традиционно лет двести служит основным каналом контрабанды между Европой и Азией. И не столь важно,

чья власть на этой территории. Так вот, несколько лет назад мы вместе с россиянами в рамках борьбы с преступностью в Союзном государстве стали разрабатывать наиболее крупных игроков на этом поле. И нам сразу дали по рукам. Тогда мы попросили россиян помочь, и они прислали нам в группу Бубна. Этот опер участвовал во многих рискованных операциях девяностых годов.

— Говорили, что он входил в «Белую стрелу», — вставил свои пять копеек Валентин.

— Что это за «стрела»?

— В девяностые в России было много заказных убийств. Причем некоторые совершались настолько профессионально, что криминал решил, будто это бывшие менты объединились в некую организацию, которая называлась «Белая стрела» и расправлялась с лидерами преступных группировок.

— Понятно, а у нас-то этот Бубен чем занимался?

— Изнутри воротил этого бизнеса было не взять, и Бубен стал играть роль человека, который приехал издалека и хотел бы осесть здесь навсегда. Парень он был не промах и через какое-то время создал свою группировку. Но поступил хитро, конкурировать с аборигенами не стал, а влил ее в группировку Матура. Был такой авторитет, узбек по национальности. Так вот Бубен стал у Матура вторым лицом и хранителем…

— Общака, — вставил очередные пять копеек опер Валентин.

— Нет, не общака, общак — это примитивно. Некоего фонда, который создали Петруха и Матур на случай…

— Мирового финансового кризиса… — снова влез молодой.

— В общем, на случай многих экстремальных обстоятельств. Ведь если бы они не удержали канал, им бы пришлось расплачиваться своими головами, а так только камешками.

— Они собирали фонд… — сказал генерал.

— Да, они собирали его, но не в валюте, а в самом емком и надежном материале, — обработанных алмазах.

— И каков размер этого фонда?

— Его должно было хватить, чтобы восстановить канал контрабанды, если его прикроют правоохранительные структуры.

— И что было дальше? — спросил генерал.

— Мы начали операцию, но произошла утечка информации. Кто-то умело стравил Матура и Петруху, и те мгновенно начали войну. Ситуация вышла из-под контроля. В перестрелках, взрывах и пожарах погиб Бубен и два его сотрудника. Погибли Матур и его дядя, а их узбекские подельники скрылись. Хозяева канала не доверяли больше Петрухе, и он отошел от дел, сел в свое казино, и более добропорядочного гражданина города Бреста сейчас не найти.

— Все понятно, — констатировал генерал, — так это Бубен или не Бубен?

— Этот человек похож на Бубна, — сказал опер Валентин, — но несмотря на сходство, качествами Бубна он не обладает, тем более что у Бубна был шрам на левой кисти, а у этого его нет.

— Шрам можно вытравить, — сказал опер Михаил.

— Но след останется, — съязвил молодой.

— Хватит собачиться, — произнес генерал, — хватит ходить вокруг да около, хватит осторожных предположений. Вы можете мне ответить точно: кто этот человек?

Оба опера пожали плечами.

— Тогда я вам посоветую проверить время, когда этот Борис появился в Минске.

Опера растерянно посмотрели друг на друга.

— Если все случилось три года назад, то очень может быть, что это Бубен, — произнес генерал. — О чем это говорит?

— О вашей прозорливости, — польстил Валентин.

— Да, не учли такой простой вещи, — ответил Михаил.

— А знаете, почему не учли? — назидательно произнес генерал, — потому что вы майоры, а я генерал… майор.

32

— Где будем обедать, — спросил Борис, — здесь или поедем в город?

— Поедем в город, — сказал Алина.

Они вышли из крепости и сели в маршрутку. Перед посадкой обостренный слух Алины опять услышал щелчок фотоаппарата.

Еще один щелчок она услышала уже в ресторане «Интуриста», куда они пришли с Борисом. Но опять ничего не сказала спутнику.

— Скажи мне, — спросил Борис, — ты привела меня сюда только потому, что это место напоминает тебе о твоем муже?

— Нет, — ответила Алина, — я привела тебя сюда, потому что здесь я вчера познакомилась с тобой.

— И тем не менее он очень был похож на меня? — спросил Борис.

— Да, только был чуть моложе, и на его левой кисти был шрам.

Борис посмотрел на свою левую руку:

— Странно, — произнес он, — это место у меня частенько побаливает, не ожидает ли меня в будущем какая-либо травма?

Алина берет в свою руку Бориса и внимательно смотрит.

— А еще он говорил, что может перепрограммировать себя, — произнесла Алина.

— И как это ему удавалось?

— Не знаю, удавалось ли, но он пришел к такому выводу в далеком детстве.

— Он познакомился с шаманом?

— Нет. Его с другом пригласили сниматься с кино. Другу досталась главная роль, а ему эпизод.

— Это были «Неуловимые мстители»?

— Не знаю, он мне об этом не говорил.

— И он поссорился с другом?

— Нет, он был очень смышленый и наблюдательный мальчишка. Он обратил внимание, что друг после съемок совершенно изменился.

— Как изменился, внешне?

— Нет, внутренне.

— Почему, его испортила слава?

— Нет, тот фильм не имел большого успеха.

— Тогда почему?

— Коля объяснял это тем, что его другу словно заменили жизненную программу. Он перестал быть самим собой, а продолжал играть роль главного героя.

— И чем это закончилось?

— Закончилось это плохо. Тот мальчик не вписался в реалии жизни, спился и умер.

— И Николай переживал это?

— Откуда ты знаешь, что его звали Николаем?

— Ты только что произнесла это имя. Да и вчера один мужик у входа в кабак назвал меня Николаем, а потом сказал, что, наверное, ошибся.

— У входа куда?

— В кабак.

— Господи, и ты употребляешь это слово.

— Да его употребляют треть мужиков, которые когда-либо посещали ресторан.

Темнело, когда они вышли из ресторана и пошли домой пешком.

В районе Бульвара космонавтов навстречу им попались два здоровых мужика в подпитии.

— Паренек, — сказал один из них, обращаясь к Борису, — а дай-ка нам с корешком закурить?

— Не курю, — ответил Борис.

— Молодец, — сказал один из них, — помрешь здоровеньким.

Он коротко, почти как профессионал на ринге, ударил Бориса в печень.

Борис согнулся от болевого шока. Алина пыталась заслонить Бориса от новых атак хулиганов, но те как ни в чем не бывало двинулись дальше, ворча под нос:

— Мля. Не только не курит, но и спичек не имеет.

33

— Ну что, работнички, — произнес генерал, — далеко ли мы продвинулись со вчерашнего дня?

— На воробьиный скок, тащ генерал, — сказал тот, что постарше и звался Михаил.

— Хорошо хоть так, — проворчал генерал. — И какая информация из Минска?

— Он появился там три года назад, — ответил Михаил.

— Что и требовалось доказать.

— Но это не Бубен, — сказал Валентин, — здесь какое-то невероятное совпадение внешности.

— Кстати, не одни мы его прокачиваем. Вчера какие-то хулиганы напали на него в городе, — сказал Михаил.

— Они избили его? — спросил генерал.

— Они ударили его. А он не смог даже уклониться. Это не Бубен. Бубен порвал бы тех двоих, как тузик грелку, — произнес Валентин. — Да и шрама у него нет. Может, это его брат-близнец, о котором мы ничего не знали?

— А что наши конкуренты? — спросил генерал.

— Они зашевелились. Техника, установленная у них в офисе, подтверждает это.

— Мало того, они собираются проявить ситуацию еще круче, — сказал Валентин.

— Откуда такие данные?

— Все об этом говорит, — сказал Валентин.

— Хорошо, пусть они ее проявят, а мы воспользуемся результатами, — произнес генерал. — Вас что-то в этом варианте не устраивает?

— Все это может выйти из-под контроля, — сказал Михаил, — и тогда нам всем достанется на орехи.

— Кому это нам? — грозно произнес генерал.

— Нам, нам, — произнес Валенти, — тем, кто разрабатывает человека, похожего на Бубна.

— Выражайтесь конкретнее, — сказал генерал, — чем это вам грозит?

— Дело в том, — начал молодой, — что Петруха и его ребята оживились потому, что предполагают, что это все-таки Бубен или его брат-близнец, который послан Бубном.

— Еще конкретнее, чего они от него ждут?

— Они думают, что он приехал взять общак… то есть фонд, вот они его и пасут, проявляют.

— Не лишено логики, — констатировал генерал. — А может быть, нам стоит их опередить?

— Мы связаны в средствах, — произнес молодой, — бандиты могут себе позволить все, а мы ничего.

— Послушайте, — сказал генерал, — чего мы гадаем: Бубен — не Бубен? Он же был сотрудником российских правоохранительных структур. У нас должно быть его дело-копия с фото и дактокартами.

— Дело у нас есть, но дактокарт в нем нет, — сказал молодой.

— Почему? — язвительно спросил генерал.

— Их оттуда кто-то изъял, — ответил опер постарше.

— Вы хотите сказать, что у нас в управлении…

— Я хочу сказать только то, что сказал, — произнес старший, — дактилоскопических отпечатков Бубна у нас нет.

— Свяжитесь с россиянами, пусть вышлют нам копии из его личного дела.

— Я думаю, что нам этого делать не надо, — сказал старший, — если это не он, то нас потом коллеги из России просто засмеют.

— Так уж и засмеют, — проворчал генерал, но не стал настаивать далее на запросе в Россию. — Ладно, идите оба.

Когда сотрудники вышли от начальства, старший спросил того, кто был моложе:

— Валя, а ты почему решил, что Петруха зашевелился?

— Да мне так почему-то показалось.

— Ты, когда кажется, либо крестись, либо со мной делись…

— Чем? — испуганно спросил тот, кого назвали Валей.

— Информацией. У меня данных о том, что Петруха зашевелился, нет… И вчерашний конфликт Бульбовича с хулиганами — это вовсе не Петрухина прокачка, а обычная случайность. Так что ты не беги впереди паровоза.

— Дался вам этот паровоз, — ответил Валентин.

— А кто тебе еще про паровоз говорил?

— Жена.

— Дак ты не женат.

— Вот потому и не женюсь, чтобы мне мозги полоскали только на работе, но не дома.

34

Солнце заглянуло в окно спальни в квартире Алины. И его лучик в виде маленького зайчика заиграл на лице спящего Бориса.

— Который час? — спросил он у Алины, открывая глаза.

— Начало девятого. Ты куда-то торопишься?

— Нет, но мне приснился страшный сон, что я опаздываю на съемки, причем на прямой эфир.

— А чем прямой эфир отличается от кривого? — спросила Алина.

— Ценю твой юмор, — ответил Борис и потянулся.

Алина прижалась к нему и сказала:

— Ты так изменился, стал таким ласковым.

— Почему стал? — удивился Борис.

— Извини, вырвалось, — произнесла Алина виновато.

— Ладно, это ты меня извини, если обидел, — сказал Борис.

— Ничего.

— Тебя что-то беспокоит? — спросил он.

— Да.

— Что?

— Я боюсь, слишком много странного происходит вокруг тебя.

— Например?

— Например, нас с тобой вчера дважды фотографировали, один раз возле крепости, другой — в ресторане.

— Странно, а я ничего не заметил, — сказал Борис. — Почему?

— Что почему?

— Почему ты слышала это, а я нет?

— Потому что я боюсь за тебя, — сказала Алина через некоторое время. — Давай уедем отсюда.

— Знаешь, а я не чувствую никакой опасности.

— Потому что ты мужчина, а вам, мужчинам, не дано ее чувствовать.

— Не скажи, я многе чувствую и даже могу предвидеть. Я, например, предсказал гибель водителя джипа на шоссе Минск—Брест.

— Давай уедем отсюда, а то у них длинные руки.

— У кого?

— У тех, кто так скрытно и беспардонно нас фотографирует.

— Давай, — согласился Борис.

Он набрал номер телефона директора.

— Привет, начальник, — сказал Борис, — не мог бы ты завтра подъехать в славный город Брест и забрать меня с будущей супругой?

— ...

— Ты чего молчишь? Ошалел, что ли?

— Есть немного.

— А от чего? От первого или второго?

— И от первого, и от второго.

— Ну тогда все нормально. Так приедешь?

— Неожиданно это все как-то, — сказал директор, — давай я подъеду послезавтра, а то у меня на завтра куча дел запланирована.

— Давай, — согласился Борис и выключил телефон.

— Что он сказал? — произнесла Алина.

— Он заедет за нами послезавтра, а пока ты собери вещи. Но много не бери, самое ценное. Я хочу, чтобы у тебя там началась новая жизнь.

— Разве можно избавиться от груза жизни прошлой? — спросила Алина.

— Отчасти можно, если перепрограммировать себя.

35

— Да я все понял, не волни, — сказал Петруха.

Он сидел в своем кабинете за столом, перед ним стояла коробочка с кормом для рыб.

— Я же сказал тебе, не беги впереди паровоза. Отбой.

Он отключил мобильный, встал из-за стола, взял в руки коробочку и направился к аквариуму.

Однако что-то мешало ему приступить к своему обычному занятию. Он поставил коробочку на рамку аквариума и стал смотреть, как черные скалярии тыкались губами в стекло, ожидая корма.

Занятие это прервал начальник службы безопасности.

— Борис собирается линять, — сказал он, входя в кабинет.

— И потому ты входишь ко мне без стука? — спросил его Петруха.

— Простите, босс, — виновато произнес начальник.

— Ты откуда знаешь, что Борис собирается линять? Ты прослушиваешь его телефоны?

— Нет, но у меня другие источники информации.

— Любопытно, кто? Алина, директор?

— Нет, босс.

— Понятно, у тебя источники второго эшелона, которые не общаются с Борисом непосредственно, но почему-то могут заглянуть Борису под черепушку и сообщить, что он собирается линять. Так?

— Нет, босс. Под черепушку они ему заглянуть не могут. Но если собирать данные по крупицам в окружении объекта, который представляет интерес, то можно точнее установить те мысли, которые у него в черепушке.

— Например?

— Например, тот факт, что Алина попросила соседку присмотреть за квартирой…

— Все ясно, этому тебя в школе милиции научили?

— Этому меня научила жизнь.

— Ну, хорошо, думаю, что множество деталей от мелких источников дают более достоверную информацию, чем один крупный источник. Что ты хотел мне сказать?

— Я хотел спросить.

— Что?

— Что будем делать?

— Как говорит один из моих, — здесь Петруха сделал акцент на слове моих, — источников информации, проведем эксперимент.

36

Алина стояла посередине комнаты и смотрела на хозяйственные сумки, которые располагались полукругом вокруг журнального столика.

— Не слишком ли много сумок? — спросил Борис.

— Хочется, чтобы на новом месте у нас все было, — ответила Алина.

— Понятно, и у тебя плохо с сумками.

— Нет, — сказала Алина со смешком, — с сумками у меня хорошо, без сумок плохо.

— Не хватает сумок?

— Да в три сумки наше хозяйство не помещается.

— Мы же договорились, только самое необходимое.

— Конечно, конечно, — ответила Алина, вынимая из шкафа альбом с фотографиями.

— Дай посмотреть, — сказал ей Борис.

Алина протянула ему альбом. Борис открыл альбом и увидел вложенный в него помятый снимок, рамку которого Петруха разбил о стенку три года назад. Он долго рассматривал фотографию. Затем подошел к зеркалу и стал смотреть на свое отражение.

— Я действительно похож на него? — спросил он.

— Да, — ответила Алина, — ты действительно похож на него, и не только внешне.

— Послушай, — сказал он ей, — ты никому не говорила о нашем отъезде?

— Нет, хотя… я просила соседку присмотреть за квартирой в мое отсутствие.

Борис присел на диван и, как бы раздумывая о чем-то, спросил.

— Ты случайно оказалась в том ресторане?

— Нет, мне позвонил какой-то мужчина и сказал, что в кафе видели парня, похожего на моего бывшего мужа.

— Кто этот мужчина?

— Я не знаю, но не хочу, чтобы ты его искал.

— Почему?

— Потому что я тебя могу потерять опять.

— Что значить опять?

— Я не скажу тебе почему, не хочу и все.

— Как знаешь.

— Я схожу в магазин, — сказала Алина.

— А он далеко? — спросил Борис.

— Да нет, за углом.

— Погоди, — ответил Борис, — я сам схожу.

— Почему ты?

— У меня нехорошие предчувствия.

— Будь осторожен, — сказала Алина, — я боюсь вновь тебя потерять.

— Хорошо, хорошо. Никому не открывай дверь, — ответил Борис.

37

— Привет, коллега, — сказал опер по имени Валентин своему старшему товарищу, входя в кабинет. — Какие будут новости или указания?

— Ты был прав, — ответил тот, — Петруха зашевелился, дело идет к концу. Нужно докладывать генералу.

— Погоди, Миша, — сказал Валентин, — это дело надо обмозговать.

— Ну вот и мозгуй, тридцать секунд тебе на это.

— Тридцать маловато.

— Возьми еще тридцать, но больше ни-ни. В чем ступор?

— Миша, мы сейчас ему все доложим, и он нас на казарменное положение посадит.

— Конечно посадит.

— А вдруг это финт?

— А вдруг не финт и мы опоздаем с реализацией.

— Не опоздаем, Петруха у меня под полным контролем.

— Да я не о том, мы опять подставляем этого парня, как когда-то Бубна.

— Он сам выбрал эту дорогу.

— Это Бубен выбрал дорогу сам, точнее, дорога выбрала его. А этот парень тут при чем?

— Миша, ты что-то мнительный стал больно… А этот попал под раздачу, только и всего.

— Но сейчас другое время, — сказал Михаил, — не то, что было тогда. Я его помню — полнейшая потеря управления. Время полного беспредела. И только оно не могло не породить с одной стороны преступников-беспредельщиков, а с другой стороны таких оперов-розыскников, как Коля Бубен.

— Почему? — вяло спросил Валентин.

— Потому что сила действия беспредела должна быть уравнена силой противодействия. Во времена беспредела появляются опера-беспредельщики. И они уходят со сцены, когда обстановка стабилизируется, — сказал Михаил.

— Ну да, — ехидно заметил Валентин. — И тогда все менты становятся похожи на Анискина, который всей деревней ищет похищенный аккордеон.

— Совершенно верно. Таким образом, чтобы не появлялись Бубны, нужен покой. И тогда менты будут похожи на Анискина.

— О чем мы спорим, — сказал Валентин, — мне все равно, с кем работать, с Бубном или Анискиным.

— Ну не скажи. Ведь условия, при которых появляются Анискины, существенно отличаются от условий, в которых выковываются Бубны.

— И что из этого?

— А то, что во времена Анискиных не было оборотней в погонах.

— А во времена Бубна?

— А во времена Бубна, подумай сам, — сказал Михаил.

— На что ты намекаешь?

— Почему намекаю, я совершенно четко в этом уверен. И перед реализацией нашей операции хочу тебе сказать, что три года назад операция с Бубном провалилась не из-за войны кланов Матура и Петрухи.

— А из-за чего?

— Кто-то из наших сдал Бубна бандитам.

— Не может быть, — сказал Валентин и побледнел.

— Может, Валя, может. Все за это говорит.

— А мне кажется, ты не прав. Он погиб не потому, что кто-то их наших сдал его. Он должен был погибнуть. Срок жизни опера-беспредельщика такой же, как и у бандита — пять-шесть лет. Все его ребята ушли еще раньше.

— Бубен был заговоренный, говорят, он знал секрет, как выжить в экстремальной ситуации, — сказал Михаил.

— И ты веришь этим сказкам? — ответил Валентин.

38

Борис пробежался по магазину, купил хлеб, колбасу, овсяное печенье и стал в очередь в кассу.

Машинально он полез в карман и не обнаружил бумажника. Борис вышел из очереди и проверил все карманы. Он мог дать голову на отсечение, что, входя в магазин, ощущал бумажник в кармане брюк.

Борис вернулся к полкам, на которых брал продукты и, к своему удивлению, обнаружил свой бумажник на столе для разрезки хлеба.

«Как он мог оказаться там, ведь я не резал хлеб, а взял его целиком?» — подумал Борис и снова вернулся к кассе. Ему ничего не оставалось делать, как вновь отстоять очередь, расплатиться и выйти на улицу.

Войдя в подъезд, он вдруг почувствовал крепкий запах табака, который всегда возникает там, где появляются заядлые курильщики. Они, во-первых, курят дешевые сигареты, а во-вторых, курят постоянно, часто, прикуривая новую от той, что вот-вот догорит до фильтра или губ.

Борис позвонил в дверь квартиры Алины, но ему не открыли. Тогда он толкнул дверь и обнаружил, что она не заперта. В квартире никого не было и стоял тот же запах, нет, не табака, а заядлых курильщиков.

Порядок в квартире тоже не был нарушен, если не считать перевернутого журнального столика. Борис поставил столик на место и сел на него вместо стула.

В это время у него зазвонил мобильный телефон. Борис, как сомнамбула, извлек его из кармашка и приложил к уху.

— Але, Боря, — раздался голос директора. — Я уже на подъезде. Ты по адресу Алины?

— Да, — ответил Борис устало, — и откуда ты знаешь адрес Алины?

Но ответа не получил, потому что директор отключил телефон.

Борис пересел в кресло и обхватил голову руками. В такой позе и застал его директор.

— Боря, что случилось? — спросил он.

Борис не ответил. Тогда директор провел ладонью перед глазами Бориса. Но он и на это не отреагировал.

У Бориса опять зазвенел телефон, но он словно впал в ступор и не слышал его.

— Боря, телефон, — сказал директор.

Но Борис и на это ничего не ответил. Тогда директор забрал у Бориса телефон, включил связь его и произнес:

— Але?

— Ты кто, — спросил его мужской голос, — Бубен?

— Нет.

— Тогда отдай трубу Бубну.

— А кто такой Бубен?

— Тот, у которого ты взял трубу.

— Он не может говорить, у него большое горе.

— Оно будет еще больше, если не возьмет трубу, — ответил голос.

— Боря, — произнес директор, — прошу тебя, возьми трубку, они мне угрожают.

Но Борис не отозвался и на это. Тогда директор вложил телефон в его руку и стал приговаривать:

— Боря, говори, Боря, говори.

— Слушай, Бубен, — раздался голос звонящего, — твоя бикса у нас. Ты отдаешь нам фонд, а мы тебе ее. Тридцать минут на размышление. Время пошло.

Неизвестный отбился. Послышались частые гудки.

— Боря, — спросил директор, — они похитили Алину? Боря, не молчи, ответь мне, что произошло?

Он начал тормошить Бориса. Затем сообразил, что Бориса можно привести в себя, плеснув в лицо воды. Но только он направился на кухню, как по дороге лицом к лицу столкнулся с опером Мишей.

Тот показал ему служебное удостоверение и потребовал:

— Ваши документы?

Директор показал оперу паспорт и кивнул на Бориса:

— У него похищена жена.

— Я так и думал, — сказал на это опер и сел на валик кресла рядом с Борисом.

Директор тем временем принес полстакана воды и плеснул в лицо Борису. Но и это не помогло. Тогда директор несколько раз ударил Бориса ладонью по щекам. Но Борис так и не вышел из ступора.

— Может, нашатырь попробовать? — спросил директор у опера, который по-прежнему сидел на валике и наблюдал за манипуляциями директора.

— Не надо нашатырь, — сказал опер, — сделаем все иначе. Отойди к окну.

Директор сверхпослушно и сверхбыстро, будто только и ждал этой команды, отбежал к окну. А опер наклонился над Борисом и произнес:

— Ты вовсе не Борис, а Николай. Впрочем, все знают тебя как Бубна. Это твой оперативный псевдоним. Ты взял его в соответствии с кличкой, которую имел, когда учился в школе милиции и играл в тамошнем оркестре на ударных инструментах. Сейчас я закрою тебе глаза и произнесу на ухо слово, которое знали только двое, ты и тот, кто разрабатывал операцию по внедрению тебя в банду Матура. Таким образом, ты не Борис, а агент Бубен, которого три с половиной года назад внедрили в группировку Матура. Пора выходить из тени и заканчивать операцию.

Проговорив все это, опер поднял руки Бориса к его глазам и закрыл ими лицо. Затем наклонился и шепнул на ухо какое-то слово.

Проделав это, он отошел в сторону и стал рядом с директором, внимательно наблюдая за Борисом. Тот медленно отнял руки от своего лица.

— Господи! — произнес директор.

Перед директором и опером в кресле сидел незнакомый мужчина. У него был жесткий взгляд волкодава, от которого и первый, и второй невольно съежились.

— Ты, — сказал Бубен, обращаясь к оперу, — доложи оперативную обстановку.

— Они дали тридцать минут на размышление…

— Чего они хотят? — перебил его Бубен, не дослушав.

— Они хотят обменять Алину на фонд.

— Ход верный… Что думаете делать?

— Подождем звонка, — сказал опер.

— Ну уж хрен, — взорвался Бубен, — играть будем первым номером. Нам все равно придется встретиться, и у нас должно быть преимущество, я знаю, где они назначат встречу, а они — нет. Второе преимущество: они полагают, что мы сидим на квартире у Алины, а нас уже там нет.

— Как нет? — удивляется директор.

— Так, твою мать, нет, — прорычал Бубен. — Заводи свою тачку, переговоры будем вести из нее.

39

Все трое покинули квартиру и сели на улице в директорский автомобиль. Причем Бубен, перед тем как сесть на заднее сиденье, втолкнул опера на сиденье рядом с водителем.

— Будешь показывать дорогу, — сказал он Михаилу.

— Кому показывать? — поинтересовался опер.

— Этому хлыщу, — сказал Бубен, кивнув на директора.

— Почему это я хлыщ, — обиделся директор.

— Потому что от тебя женскими духами разит, — отрезал Бубен.

Машина рванулся с места.

— А куда едем? — спросил опер.

— К зданиям «Светотрона», там Петруха когда-то целый корпус арендовал.

— Они сейчас позвонят, — сказал опер, глянув на часы.

— Набирай их сам, — ответил Бубен.

— Но я не знаю номера!

— Ты что, бля, тупой? Он отбился на твоем мобильнике.

Опер набрал номер звонившего. Послышались сигналы вызова. Бубен забрал у опера телефон.

— Да, — произнес голос, искаженный мембраной.

— Не да, а наше вам с кисточкой, — сказал ему Бубен. — Петруха, Алина у тебя?

— Да. Тебе уже сказали условия?

— Угу, через полчаса ты на любимом месте Матура, понял?

— К чему спешка, Бубен?

— Ты че лохом прикидываешься. Думаешь, под дурака закосил и все купились? Тебе кум давно уже лапти плетет. Пока менты по делам определят, где это место, мы уже эшку на огоньки зашухаем. Лады?

— Надо подумать.

— Хуля думать, прыгать надо.

— Уж больно ты прыток стал.

— Я таким и был.

— Так умерь пыл, мы тебе диктуем условия, а не ты нам. Баба-то твоя у нас. Хочешь послушать?

— Петруха, ты стал много базарить, это наводит на размышления: ты ли это? Если тебе нужны огоньки, я тебе их отдаю за бабу. Если тебе нужна баба, то огоньков ты не увидишь. А бабу можешь оставить себе. Адью.

Бубен отключил телефон.

— А если он не позвонит? — спросил опер.

— Он позвонит, ведь ради этого он все и организовал, но мы должны быть на месте раньше него, а также раньше ментов.

— Куда дальше? — спросил директор, остановившись на развилке.

— Здесь направо, — сказал Бубен директору, — и вон к тому сооружению.

40

Машина с Бубном и опером съехала с асфальтовой дороги и двинулась по колдобинам к одному из заброшенных зданий завода «Светотрон».

— Мы здесь ходовую оставим, — произнес директор.

— Не ной, — ответил ему Бубен, — если мы не успеем туда первыми, мы здесь свои жизни оставим.

— Все так серьезно? — спросил директор.

— А ты как думал, — сказал Бубен, — не в бирюльки играем, это тебе не частный телеканал…

Он не смог закончить, так как машина резко остановилась у лежащего на земле бетонного столба, который перегораживал дорогу.

— Как в Голливуде, — сказал директор, рассматривая стоящий перед ними заброшенный заводской корпус.

— Как в СССР после перестройки, — прервал его Бубен.

И показал пальцем в сторону, откуда они приехали.

— Ты лучше туда смотри.

— А почему туда?

— Потому что все интересное придет оттуда.

— Боря, — сказал директор, — откуда у тебя шрам на тыльной стороне ладони?

— Не отвлекай меня, — сказал Бубен, — а то я решу, что ты работаешь на моих оппонентов.

— Я… — растерянно произнес директор.

— Головка… — произнес Бубен, — …от телефонной трубки.

Директор обиженно заморгал глазами. Но Бубен не обратил на него внимания, он был весь погружен в действие.

— Сидите здесь, — сказал он директору и оперу, — но недолго, минут десять. Пожалуй, десять минут у нас есть. А потом входите внутрь. Не вздумайте остаться здесь. У Петрухи был классный гранатометчик. Он «мухой» такие машины, как коробок спичек, поджигал.

Бубен вышел из машины и скрылся в здании.

Директора стала колотить нервная дрожь, и он сказал оперу:

— Давай пойдем внутрь, а то нас действительно подожгут, как коробок спичек.

— Тебе чего Бубен сказал? Через десять минут. Появишься раньше, тебя не Петруха грохнет, а он.

— Как грохнет? — удивился директор.

— Как, как — натурально, — произнес опер, — это же Бубен. Он слов на ветер не бросает. Об этом вся братва знает.

Директор посмотрел на часы

— Все, — сказал он, — десять минут прошло.

— Идем, раз прошло, — ответил опер.

Они вышли из машины и вошли в дверь заброшенного здания бывшего завода «Светотрон».

Директор и опер поднялись по железной лестнице и остановились, не зная, куда им двигаться далее.

— Идите оба сюда, — послышался откуда-то снизу знакомый голос,

Там у металлической фермы стоял Бубен. В руках он держал пульт управления механической талью.

Директор и опер спустились к нему. Опер, оглядевшись, резюмировал:

— Не самое удачное место для переговоров, нас сверху всех можно взять на мушку.

— На что и надеюсь, — ответил на это Бубен, — у Петрухи будет иллюзия, что мы у него в кармане.

С улицы послышались шум мотора, звук тормозов, а потом звук шагов по металлическому полу.

— А вот и он, — сказал Бубен.

— А сколько их может вместиться в одну машину? — спросил директор.

— Надеюсь, что их только двое, — ответил Бубен.

— Почему вы так думаете? — спросил директор, он уже забыл, что перед ним его подчиненный.

— Жадность тому виной, жадность, она, проказница, многих вводит сначала в заблуждение, а потом…

— А потом что?

— Потом в гроб вгоняет и…

Договорить он не успел. На верхнем ярусе появился Петруха. В правой руке у него был пистолет, а левой он держал за руку Алину.

— Ты хоть бы побои ей загримировал, — сказал Бубен, — чтобы…

— Обойдешься, — ответил Петруха. — Где фонд?

— Отпусти женщину и получишь фонд.

— Я, по-твоему, полный чайник? Где мешок?

— Ты думаешь, я его в гужаке хранил?

— Не крути вола.

— Тогда посмотри наверх… как только ты отдашь Алину, я включаю таль, и ты получаешь мешок.

Петруха и все, кроме Алины и Бубна, смотрят наверх. Там на крюке тали подвешен мешок, чем-то напоминающий вещмешок солдат Второй мировой войны.

— Опускай таль, — сказал Петруха.

— Нашел фраера, — ответил Бубен. — Отпусти Алину…

— Ага, разбежался…

— Не боись, мы же все у тебя на мушке. Да и я свое слово держу, ты же знаешь.

Петруха несколько секунд колебался, а потом отпустил руку Алины. Она тут же спустилась по винтовой лестнице к Бубну и его команде.

41

— Ну, давай, — сказал Петруха, — я твои условия выполнил.

— Бери, — ответил Бубен и нажал кнопку тали.

Мешок медленно стал опускаться к ногам Петрухи, который продолжал держать всю компанию на прицеле.

— Стоять, не двигаться! — скомандовал Петруха, когда мешок оказался у его ног. Одной рукой он развязал мешок и, не спуская глаз с находящихся внизу «оппонентов», сунул внутрь руку.

— Ну, убедился? — спросил его Бубен.

У Петрухи от осознания того, что фонд в его руках, пересохло во рту. Но он понимал, что игра не закончена, и поднял пистолет, чтобы устранить свидетелей.

— Но не спеши, Петруха, — произнес Бубен.

— Почему?

— Ботинки порвешь, — сказал ему Бубен. — Во второй руке у меня инициатор, а на дне мешка — граната. Если ты выстрелишь, я успею ее взорвать вместе с тобой и брюликами.

Петруха медленно кладет мешок на пол и так же медленно отходит от него, не отводя нацеленный пистолет с Бубна.

— На что ты надеешься, — говорит он Бубну, — низом юркнуть?

— Вот видишь, в минуту опасности ты по-человечески заговорил, — сказал Бубен. — Я надеюсь на человеческую жадность.

— Ты ершом не прикидывайся, я могу отдать мешок за ваши жизни, — сказал Петруха. — Ты меня тоже знаешь.

— Я не о твоей жадности, — сказал Бубен.

— А о чьей?

— Очень хочешь узнать?

— Хочу.

— Если я не перестал разбираться в людях, сейчас узнаешь и ты.

— Кто? — закричал Петруха и снова направил пистолет на Бубна.

— Твой пристегнутый, — ответил тот.

— Не может быть! — заорал Петруха.

— Оружие на пол! — раздался позади Петрухи голос опера Валентина.

— Твою мать, — возмутился опер Миша, — вот уж никогда бы не подумал.

Почти одновременно раздались два выстрела. Это началась перестрелка между Петрухой и опером.

Бубен, воспользовавшись ситуацией, выбил ногой дверь, ведущую в подвал здания, и втолкнул туда Алину и директора. Опер, видя это, устремился вслед за ними.

Когда все четверо выбрались на улицу, в здании еще продолжали звучать выстрелы.

— Все в машину, в машину, — прорычал Бубен.

Он отрыл дверцу и буквально впихнул на заднее сиденье Алину. Опер и директор, которые знали свои места, уселись сами. Директор повернул ключ зажигания, но мотор не завелся. Директор попробовал сделать это еще раз, а потом стал прислушиваться к выстрелам в здании.

— Дуэль, как в Голливуде, — сказал он. — Кто же выйдет победителем?

— Твою мать! — произнес опер. — Заводи машину, а то сейчас сюда явится победитель дуэли с мешком и пристрелит нас.

— Не пристрелит, — сказал Бубен.

— Почему? — спросил директор.

— Не успеет, любознательный ты наш, — ответил Бубен и поднял вверх руку, в которой находился инициатор.

— Взрывайте, взрывайте! — вдруг закричал опер. — А то будет поздно.

— Поздно лучше, чем рано, — хладнокровно ответил Бубен. — Мне трудно предположить, где находятся участники этой дуэли и где находится мешок, из-за которого собственно и разгорелась дуэль.

Выстрелы прекратились.

— Я же говорил, — произнес опер по имени Миша, — сейчас победитель явится сюда с мешком и пистолетом.

— Судя по последнему выстрелу, это был ПМ, — сказал Бубен. — Значит, дуэль выиграл ваш коллега. Разве вас это не радует?

— Нет, этот вариант еще хуже, — заорал опер Миша, — заводи машину.

— Правильно, — ответил Бубен, — это самый паскудный вариант, но мы не дадим ему развиться далее.

Сказав это, Бубен демонстративно поднял вверх левую руку, на тыльной стороне которой все присутствующие увидели старый шрам, и нажал на кнопку.

В здании раздался взрыв.

— А теперь заводи, — сказал Бубен директору, — отвезем Алину домой.

42

Уже через полчаса машина, ведомая директором, остановилась у дома Алины.

— Я должен представить вас руководству, — сказал Бубну опер по имени Миша.

— Подожди меня здесь, — ответил ему Бубен и, кивнув Алине и директору, сказал: — Выходите.

Он внимательно, словно опасаясь какого-то подвоха, наблюдал за тем, как Алина и директор выйдут из машины, а затем сказал директору:

— Оставь ключи в замке зажигания.

Директор дернулся было возразить, но посмотрел на опера и беспрекословно выполнил это приказание.

Когда все трое вошли в квартиру, Бубен закрыл дверь на ключ и тяжелым взглядом оглядел с ног до головы сначала Алину, а затем директора. Потом Бубен ударил директора по лицу, тот упал на пол, плохо соображая, что с ним

произошло. А Бубен мгновенно достал из кармана наручники и застегнул один из браслетов на руке директора. Затем он подтащил лежащего к батарее и перебросил цепочку наручников через трубу-подводку.

— Подойди ко мне, — сказал он Алине.

Шокированная женщина сделала несколько шагов к батарее. Бубен взял ее руку и застегнул на ее запястье второй браслет, приковав обоих к батарее водяного отопления.

Затем он сел на журнальный столик и какое-то время смотрел на прикованных взглядом удава.

— А скажи-ка мне, любознательный ты наш спец по идиомоторике, — произнес наконец он, — тебя Петруха заставил привести меня в казино до того, как мы приехали в Брест, или после того, как мы засели в гостинице?

— Боря, я не хотел этого. Он заставил меня, он сказал, что знает, в какой школе учится мой сын, и если я не сделаю, как он сказал, то Валерка вернется из школы по частям.

— То-то к тебе приезжал этот хлыщ, который потом оказался начальником службы безопасности казино и одновременно «следователем». Так?

— Так, Боря. Но ты меня пойми…

— Уже понял, — ответил Бубен.

— А ты, милая… Когда Петруха посылал тебя в ресторан, была еще его любовницей? Или он уже бросил тебя? И у тебя не мелькнуло мысли, что, играя роль заложницы, ты сдаешь меня Петрухе за эти стекляшки?

— Боря, — всхлипывая, произносит Алина.

— Дался вам этот Боря, — сказал Бубен, — впрочем, можете не отвечать. Ваши ответы ничего не дадут ни вам, ни мне. Мысль изреченная есть ложь. Мне надо было оставить вас там, на «Светотроне». Но я почему-то не сделал этого. Теряю квалификацию. Впрочем, я успею сделать все это по возращении.

С этими словами он подошел к двери квартиры, извлек из кармана гранату, разжал усики чеки и надел кольцо на ручку двери, одновременно продев через него шпагат.

Закрыв дверь, он привязал шпагат к наличнику со стороны лестничной площадки и спустился вниз по лестнице.

— А я уже заждался, — сказал опер, увидев, что Бубен вернулся и садится на место водителя.

Но Бубен ничего ему не ответил. Взгляд его был направлен по ходу будущего движения машины. Там по дороге шли два хулигана, один из которых ударил его несколько дней назад. Бубен заглушил мотор и вышел из машины.

— Оба ко мне, — прорычал он, обращаясь к хулиганам, — я дам вам закурить.

Мужики узнали его, мало того, они увидели, что с ним произошла какая-то перемена, но не до конца осознали ее опасность. Они, набычившись, пошли на Бубна. Обидчик — впереди, второй чуть сзади. И тут произошло то, чего хулиганы никак не ожидали. Прямой удар левой в солнечное сплетение заставил первого согнуться. Бубен хлопнул его ладонями по ушам и положил поперек дороги второму. Второй, споткнувшись о первого, упал и тут же получил удар коленом в лицо. После этого Бубен начал избивать упавших обидчиков ногами. Но и этого ему показалось мало, ухватив за шиворот, он стал бить их головами об обшивку автомобиля. С каждым ударом приговаривая:

— Курить вредно, а просить закурить у некурящих еще вреднее…

Опер Миша, сидевший в машине, ощущал каждый удар Бубна, потому что от каждого удара салон автомобиля буквально подпрыгивал.

Закончив избиение, Бубен сел в машину, завел мотор, и автомобиль тронулся с места.

— Второго-то за что, — осторожно спросил опер, — он же тебя тогда не трогал?

— За компанию, — ответил Бубен, — раз уж попал под раздачу.

43

В кабинет генерала на Коммунистической они прошли почти без помех, если не считать небольшой заминки на входе. Потому что опер позвонил дежурному и тот выписал пропуск на Бубна, а паспорт был предъявлен на Бориса Бульбовича. Но Бубен так посмотрел на вахтера, что тот стушевался, промямлил что-то нелестное про тех идиотов, которые, наверное, не расслышали установочных данных, переданных по телефону, и пропустил Бубна в управление.

Генерал, никогда не встававший из-за стола, принимая подчиненных, на этот раз встретил их у дверей. Но затем занял свое обычное место, пригласив Бубна и опера Мишу присесть за приставной столик.

Ни генерал, ни опер Миша не обратили внимания на то, что Бубен сел на место опера Валентина. Зато опер Миша сразу обратил внимание, что на столе у генерала лежит личное дело майора Бубнова с большой фотографией сотрудника в милицейской форме.

— Приступайте к докладу, — сказал генерал оперу.

Опер начал доклад, генерал его внимательно слушал, время от времени заглядывая в материалы дела. И генерал, и опер забыли про Бубна, впрочем, и Бубен забыл про них. Он уставился в одну точку стола и, казалось, не слышал того, о чем говорил опер.

— Таким образом, майор Бубнов, внедренный в банду Матура, успешно выполнил задание, — стал подводить итоги опер Миша.

— С небольшой задержкой, правда, — произнес генерал, — на три года.

— В результате выявлен крот в правоохранительной структуре и ликвидирован криминальный авторитет Петруха, — закончил опер.

— С Петрухой понятно, — сказал генерал, — а по кроту подробнее.

— Валентин, когда-то включенный в группу Бубна, три года назад сдал информацию о начале реализации дела Петрухе. Поэтому нашим предшественникам и не удалось провести реализацию так, как было запланировано. Матур погиб, Петруха сошел со сцены и уселся в зрительном зале.

— Но потом опять стал карабкаться на сцену, — констатировал генерал.

— Что поделаешь, закон капитализма: если тебе обещают более трехсот процентов прибыли, нет такого преступления, на которое не пошел бы собственник, чтобы увеличить свой капитал.

— Хорошо сказано, — произнес генерал, — кто автор, экономист Явлинский?

— Нет, — ответил опер, — экономист Маркс.

— А канал контрабанды?

— Канал контрабанды, который обеспечивали Матур и Петруха, был перекрыт. Но каждая такая операция приводит к тому…

— …что канал возникает в другом месте.

— Да, и еще более законспирированный.

— Но обстановка у нас вполне благополучная.

— Это как раз и подтверждает факт существования канала. Ведь очень большие деньги не любят даже малого шума.

Этот разговор, как и доклад, что происходил в кабинете, никак не трогал Бубна. Хотя к концу его он стал с некоторым интересом поглядывать то на генерала, то на докладчика.

— Как получилось, что оперативный псевдоним сотрудника был расшифрован? — спросил опера генерал.

— Это парадокс человеческого мышления, — ответил опер. — Когда Бубнов стал играть роль уголовного авторитета, он получил кличку Бубен, которая совпала с его оперативным псевдонимом.

— А что нам скажет московский коллега? — наконец произнес генерал и посмотрел на Бубна. Опер тоже перевел взгляд на коллегу. Но тот пожал плечами и произнес:

— С любопытством прослушал все, что тут говорилось, прямо, как любит говорить мое начальство, — боевик голливудский. Так все лихо закручено… Но чего вы хотите от меня. Ведь вы лучше других знаете, что я не имею к нему никакого отношения.

— Но вы же участвовали в операции? — растерянно произнес опер.

— Вот и ваше дело у меня на столе, — добавил генерал.

— Если то, что произошло сегодня, вы называете операцией, то я в ней действительно участвовал.

— Ну вот, — с облегчением вздохнул опер Миша.

— Но ты же сам просил меня сыграть роль какого-то Бубна. Я и сыграл. Хотя до сих пор не могу понять, кому в голову пришло человека назвать бубном. И я надеюсь, сыграл ее неплохо…

— Ну вот, — опять произнес опер, — сработало профессиональное чувство ответственности… вспомнились навыки.

— Я пошел на это, потому что хотел спасти свою будущую жену. Впрочем, почему вы смотрите на меня как на сумасшедшего? Вот мои документы, и вы можете убедиться, что я не Коля, и не Бубнов, а Борис Бульбович, и к Москве не имею никакого отношения. А вы, опер Миша, наверное, обладаете даром гипнотизера: прошептали мне на ухо какое-то слово, и меня будто подменили. Иногда и сам не понимал, что делаю. Но, слава богу, все закончилось благополучно. И для меня, и для вас. Кстати, вот мой паспорт.

Борис протянул оперу паспорт, а тот передал его генералу.

Генерал внимательно посмотрел на фото, затем сравнил его с фотографией в личном деле майора Бубнова и, слегка смущенный, возвратил Борису.

— Не смею задерживать, — произнес он.

Борис поднялся со стула и направился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, генерал и опер посмотрели друг на друга.

— Что будем делать? — спросил опер.

— Ничего, если у россиян свихнулся один из сотрудников, это их проблемы. Кстати, хорошо, что тогда отговорили меня подписывать запрос в Москву.

— Мои действия? — по-военному лаконично, но уже с оттенком радости произнес опер.

— Написать отчет об успешной реализации операции, ликвидации преступного авторитета Петрухи и, к сожалению, гибели нашего сотрудника.

— А насчет Бубна?

— Ах, Бубен, Бубен, — сказал генерал, — что с тобой делать?

— А давайте все же честно дадим в Москву шифровку, что их сотрудник отбыл из Бреста сегодняшнего числа. А если он не явится к месту службы, то это, опять же, не наши проблемы.

44

— Послушай, — сказал директор Алине, — нам надо как-то освободиться и уйти из квартиры, а то этот садист явится сюда и…

— Может, мне позвонить соседке? — спросила Алина.

— Соседке — это хорошо, — сказал директор, — но он фактически заминировал дверь. Соседка, не зная этого, потянет за ручку, кольцо выдернет чеку и соседка взлетит на воздух. Не факт, что и мы останемся целы.

Директор попытался освободиться от наручников, но только сильнее затянул браслет на своем запястье.

— Господи, — произнес директор, — у меня запястья распухли.

— Ой, — сказал Алина, — кто-то открывает дверь.

— Ну все, нам конец, — сказал директор и закрыл глаза.

Алина с ужасом смотрела, как открывается дверь, видела, как граната упала на пол, а чека с кольцом осталась висеть на дверной ручке.

Но взрыва не произошло, а в комнату вошел Борис.

— Опа-на, — сказал он, — Голливуд продолжается. На полу валяется муляж гранаты, а мои друзья прикованы к батарее. Как вас расковать?

— У тебя в кармане брюк есть ключ, — осторожно произнес директор.

— У меня? — удивился Борис.

— У тебя, у тебя, — почти ласково сказал директор, — избавитель ты наш и отец родной.

Борис полез рукой в карман и к своему удивлению действительно обнаружил там ключ, подошел к прикованным, снял с них наручники и помог встать с пола.

Проделав эту операцию, Борис посмотрел на директора и Алину, но те отвели глаза в сторону, а уж если невзначай и взглядывали на него, то так, как глядят первоклашки на великовозрастного хулигана из соседнего четвертого, ожидая от него новых каверз на школьной перемене.

— Вы чего меня глазами едите, — спросил, наконец, Борис, — давно не видели?

— Да нет, — первым пришел в себя директор, — видели мы тебя примерно два часа назад.

— Бо-ря, — спросила осторожно Алина, — а откуда у тебя шрам на левой руке?

— Да хрен его знает, сегодня столько всего было… где-то поцарапал.

— Но это старый шрам, — уже смелее сказала Алина.

— Ну, нашли тоже, о чем спрашивать мужика, о старых шрамах. В общем, так: вещи готовы, машину я заправил, едем.

— Куда едем? — спросила Алина.

— Как это куда, туда, куда мы собирались ехать, к новой жизни.

Алина и директор переглянулись, но ничего не сказали, каждый взял свою сумку и направился к выходу. Борис же, увидев, что на полу остались еще три сумки, сгреб их все вместе и поспешил вслед за ними.

45

— Господи, — произнесла Алина, увидев вмятину на кузове, — кто-то помял машину.

— Я догадываюсь, кто это сделал, — ответил директор, — садитесь.

Директор разместил Бориса и Алину на заднем сиденье, уложил сумки в багажник, осмотрел автомобиль со всех сторон и только потом сел за руль.

Некоторое время он сидел на месте водителя, обиженно сопя, а потом повернул ключ зажигания и сказал:

— Поехали.

И ни директор, ни Борис, ни Алина не обратили внимания, что вслед за ними тронулся другой автомобиль, за рулем которого был начальник службы безопасности петрухинского казино, а на заднем сиденье расположился другой мужик. Рядом с ним в брезентовом чехле лежал армейский гранатомет «муха».

Машина директора, попетляв по улочкам Бреста, выбралась на главную трассу, а потом и на шоссе Брест—Минск. За ней как приклеенная следовала машина с бывшим начальником службы безопасности.

— Слушай, — сказал бывший начальник мужику на заднем сиденье, — а может, не надо. Петруха погиб, пусть они живут, ведь заказ некому контролировать.

— Заказ оплачен, — ответил мужик, — значит, я его выполню. Обгони их, не сзади же нам стрелять.

Начальник утопил педаль акселератора, и машина, набрав достаточную скорость, обошла автомобиль директора и стала удаляться от него.

Прошло около часа. Троица в автомобиле директора продолжала играть свои роли: Алина и директор — обиженных, а Борис роль человека, не понимающего, что происходит.

— Вы что такие дутые? — в очередной раз спросил своих попутчиков Борис.

— Щас объясняю, — сказал директор, — только в карман паркинга заеду, щас, щас.

Но указателя с латинской «Р» все не было, и пришлось ехать дальше, то есть откладывать объяснение на неопределенный срок. А напряжение в салоне автомобиля нарастало, и всем уже было ясно, что нужно останавливаться, иначе эмоциональный взрыв произойдет на ходу.

— Паркинг! — закричала Алина, увидев долгожданный указатель.

— Вижу, — буркнул директор, сворачивая с шоссе на стоянку.

Директор остановил машину, заглушил мотор, приоткрыл все двери, чтобы было не так душно, и заговорил.

— Слушай, Боря, печальный мой рассказ. Едет Илья Муромец с бодуна по лесу. Видит, висит на дереве Соловей-разбойник, вокруг сука в узел завязанный. Илья его развязал и спросил: «Кто тебя так?» — «Да все нормально, Илюша, все нормально, тут вчера хулиган один проходил, народец лесной погонял, но я не в претензии, всякое может случиться».

Едет Муромец дальше, видит, Баба Яга с синяком под глазом ходит по лесу вместе с Кощеем Бессмертным, который свои кости по лесу собирает.

«Что случилось?» — спрашивает их Илья. — «Да все в порядке», — те отвечают. — «Да какой же это порядок, — говорит Илья, — у тебя, старая, синяк под глазом, а ты кости еще в одно место не собрал? Что случилось?» — «Да почти ничего и не случилось, вчера тут один хулиган проходил, Бабе Яге в глаз заехал, а меня по лесу рассыпал». — «Может помочь чем?» — «Да не надо, сами справимся». — «Ну, как знаете».

Уехал богатырь. А эта троица собралась вместе и рассуждает.

«Вот видите, трезвый — человек человеком, но стоит выпить, не знаешь, где от него в лесу прятаться».

— Ничего не понял, — сказал Борис, — при чем тут этот анекдот и ваши кислые физиономии?

— Да как тебе сказать, — произнес директор и посмотрел на Алину, но та опустила глаза и стала кусать губы.

— Да так и скажите, — взревел Борис.
— Ну, в общем, ты нас сегодня удивил, — сказал директор.
— Я?
— Ты, ты.
— И чем же?
— Своими новыми феноменальными способностями.
— Господи, помешались вы, что ли, на этих способностях. Кстати, сегодня на заправке полчаса подсчитывал возможную плату за бензин.
— Да? — произнес директор. — И тебе теперь никто не шепчет ответы на вопросы?
— Нет. А разве раньше кто-то шептал?
— Конечно, — почти ласково произнес директор, — да что там шептал, прямо показывал цифры на некоем экране.
— Каком экране?
— Экране телевизора.
— Почему телевизора?
— Потому что ты больше на этот экран не попадешь.
— Почему не попаду?
— Потому, что я тебя туда больше не пущу.

46

Вряд ли эту перепалку слышал старый знакомец Бориса и директора бывший начальник службы безопасности казино. Он стоял в березовом колке неподалеку от паркинга, смотрел в бинокль за маневрами машины директора и сообщал об этом другому мужику, который рядом с ним собирал портативный гранатомет.
— Слушай, а ты где такое погоняло получил, — спросил бывший начальник службы безопасности своего напарника, — Муха?
— Отгадай с двух раз, — ответил тот, — был у меня сосед Муха, которого я грохнул за такие вопросы, а грохнул я его из гранатомета «муха». Тебе что больше нравится?
— Ты что-то стал много говорить.
— Это ты разбазарился, заводи машину, мы сразу должны уехать.
Бывший начальник пошел заводить машину, а тот, которого звали Мухой, водрузил гранатомет на плечо и стал ловить в прицел автомобиль директора, в котором продолжалось перечисление обид, нанесенных Борисом директору и Алине.
— И ты не можешь, не думая, сказать, когда произошла битва при Фермопилах? — спросил директор Бориса.
— Нет. Я же не электронный мозг, как говорит твой сын.
— Ты стал нормальным человеком?
— Да, а вас это не радует?
— Все как раз наоборот, — сказал директор, — ты нас настолько порадовал, что мы даже немного заскучали.
— Почему заскучали?
— Потому что теперь без твоих выходок жить невозможно, скучно.
— Почему же вам скучна нормальная жизнь?
— Во, ты сам это сказал, — произнес директор, — вот и прекрасно, впереди нас ждет новая, нормальная, не феноменальная жизнь. Только будешь ли ты в ней нужен мне?

— А тебе не нужны сотрудники?

— Нормальные не нужны.

— Почему?

— Мне трудно ждать предсказуемых поступков от человека, который уничтожил за просто так фонд в полмиллиарда долларов.

— А откуда ты знаешь, любознательный мой, что там было на полмиллиарда зелеными?

— Слухами земля полнится.

— Правильно, там было именно полмиллиарда.

— И ты так запросто об этом говоришь? Да если бы мне только малую часть этих денег, я поднял бы телеканал на недосягаемую высоту!

— А без денег ты его поднять не можешь на ту же высоту.

— С помощью чего?

— С помощью своих способностей собрать команду, которая сделает тебе интересные программы.

— Ты что, таким образом шутишь?

— Да нет, я совершенно серьезен.

— Так никто не делает.

— А почему ты должен равняться на тех, кто чего-то не делает. А ты сделай. Сделай, и увидишь, что это возможно.

— Это невозможно.

— Это возможно в том случае, если ты сможешь привлечь таких людей. А ты хочешь привлечь деньги, чтобы какое-то время имитировать деятельность, а потом свалить в сторону с их остатками.

— Нет, ты все-таки пошутил в отношении полумиллиарда зеленых. Может, и не было никакого фонда, вы все с Матуром профукали, и вся эта операция была прикрытием.

— Интересная мысль, — ответил Борис. — Тебе бы опером работать или сценарии для «Беларусьфильма» писать. Фонд, конечно, был, и я тоже человек и понимал, что вам с Алиной за все треволнения полагается приз. И я его вам вручаю на блюдечке, правда, без голубой каемочки.

С этими словами Борис достал из кармана маленькую розетку, положил туда несколько крупных бриллиантов и поставил «блюдечко» на спинку переднего сиденья, так, чтобы бриллианты были видны и директору, и Алине.

— На фене они называются огоньки, здесь по три штуки на брата. Все что могу, все что могу, — произнес он фразу генерала из фильма «Горячий снег».

— И все равно ты мне будешь не нужен, как работодателю, — упрямо произнес директор.

— Не нужен, значит не нужен.

— И тебя это не обижает?

— Нет. Я же нормальный человек, — сказал Борис.

И вдруг выражение его лица изменилось.

— Бегом из машины! — заорал он.

Затем он пнул ногой полуоткрытую дверь так, что она едва не сломалась, и буквально выволок из салона ничего не соображающую Алину. Директор, видя это, тоже бросился бежать. Все это происходило под шуршащий звук летящей к цели гранаты. Борис толкнул Алину на землю и прикрыл ее своим телом, директор попытался подлезть под них, но не успел. Граната попала в автомобиль.

Раздался оглушительный взрыв.

Директор некоторое время лежал, прикрыв голову руками, потом сел и произнес:

— Ну вот, я так и думал, горит, как спичечный коробок, Голливуд отдыхает.

Борис поднялся с земли, помог встать Алине и подошел к директору.

— Вставай, работодатель, — сказал он, — нас ждут великие дела.

— Нет, я с тобой дальше не пойду, ты приносишь несчастья.

— А не кажется ли тебе, что это ты приносишь всем несчастья. Впрочем, ты несколько секунд назад продемонстрировал прекрасную реакцию в борьбе за живучесть, пытаясь прикрыться нашими телами. Ты не нуждаешься в союзах с кем-либо, ты можешь выживать сам.

— Это я приношу несчастья, я? — завопил директор. — Да если бы не ты, я никогда бы не попал в этот долбаный Брест, не шлялся бы с тобой по казино, не подвергал себя риску в перестрелках на каких-то развалинах. Странно даже, почему я еще жив, столько происшествий у меня за всю жизнь не было!

— А ты подумай, начальник, — сказал Борис, — почему ты еще жив? А жив ты исключительно потому, что находился в одной связке со мной.

— Остается удивляться, почему ты жив? — произнес директор.

— А я до сих пор жив, потому что ни разу не нарушил данный себе зарок, — сказал Борис.

— И какой же зарок тебя спасает до сих пор?

— Не брать незаработанного. Адью.

Борис обнял Алину за плечи и повел ее вдоль шоссе подальше от разбитой машины.

Директор вскочил на ноги и стал шарить вокруг автомобиля, надеясь найти хотя бы один «огонек». Но трава была густа, и он, махнув рукой на поиски, побежал вслед ушедшим с криком:

— Подождите меня, я передумал!

Некоторое время все шли молча, а потом директор спросил:

— Куда мы двигаемся?

— К новой жизни, ведь ты этого хотел, когда подталкивал меня узнать, кто я.

— И с чего начнется эта жизнь? — ехидно поинтересовался директор.

— С поездки в автобусе номер 45-76.

— Но этот автобус уже был в нашей жизни.

— А кто тебе сказал, что можно начать жизнь с абсолютно чистого листа?

Так они добрались до заправки. В это время к площадке подъехал туристический автобус с номером 45-76. Он остановился чуть поодаль. Из передней и боковой его дверей стали выходить пассажиры, кто размять ноги, кто заглянуть в киоск, кто в туалет.

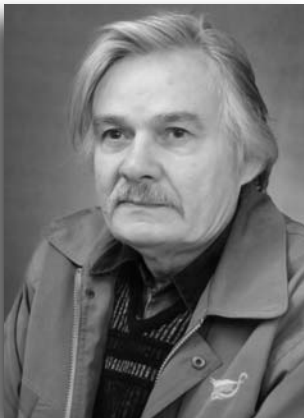
— Прошу, — сказал Борис и указал Алине и директору на боковую дверь.

Все трое вошли в автобус.

Прошло десять минут, автобус мягко тронулся и стал набирать скорость. Через пять часов он миновал бывший пост ГАИ, въехал в мегаполис с названием Минск и растворился там без следа.

Брест—Минск—Брест





ЮРИЙ ФАТНЕВ

На языке огней вечерних

Худая трава

Есть поговорочка одна у русского народа:
«Траву худую — с поля вон!» Вчера так и сегодня.

Под именем худой травы погибли миллионы.
Такая правда на Земле. Такие тут законы.

Ну, ладно, Разин, Пугачев... Но соглашусь едва ли,
Что Пушкин был худой травой, и Лермонтов опальный.

Трава худая — Гумилев, Есенин и Васильев...
Так кто ж останется тебе, в конце концов, Россия?

Богато, Родина, живешь, коль можешь так бросаться!
И Клюев для тебя негож, и Фатнев — святотатство.

Считался я худой травой с дня своего рожденья:
Родился через сотню лет, когда скончался гений...

Да, в день десятый февраля явился я некстати.
«Траву худую — с поля вон!» — твердила часто матерь.

«Траву худую — с поля вон!» — ей вторила эпоха.
И вырывали с поля вон. Но верил им я плохо.

В худые наши времена трава худая кстати!
Вот так-то, Родина моя!
Вот так-то, моя матерь!

* * *

Два лебедя, серебряные птицы,
Порывом окрыленные одним,
Листали небо, комкали границы,
Под ними смутно копошился Рим.

Носились клочья непонятных наций,
Истории земной клубился гул.

Вновь Цезарь собирался на германцев,
И Лесбию выслеживал Катулл.

Вел Моисей евреев в Палестину,
Ной мастерил ковчег тайком от всех.
И, сокрушив немецкую гордыню,
В России где-то падал грузный снег.

В парламенте галдели пустомели.
И видел я среди вселенской тьмы:
Два лебедя серебряных летели,
Невидимые прочими людьми.

* * *

На языке огней вечерних
Болтает Гомель допоздна.
И если я молчу, наверно,
Не все сказала тишина.

Я этот город не покину.
Ко мне слетаются слова,
Как воробьи клевать рябину,
До холодов она жива.

И я, как ягоды, растерян,
Осыпан птицами на снег.
На языке огней вечерних
Я говорю, точь-в-точь, во сне.

* * *

Время очень неспокойное.
Олигарх ты иль плебей,
Могут только лишь покойники
Быть уверены в себе.

И пока еще не статуя,
Ко всему ты будь готов.
Может, даже напечатает
Строчку Юрий Сапожков.

Пусть тебя уж смерть окликнула,
Жизнь позволит, наконец,
Выбиться тебе в великие
Хоть за то, что не подлец.

С Богом жизнь тебя рассорила,
Все равно перекрестись.
Перестройка — не история,
А несбывшаяся жизнь.

* * *

Над Беседью туманы хороводятся.
В туманах тонет Красная Гора.
А где-то светом всклеть налита горница,
На стеклах отражается заря.

По дому бродят золотые полосы.
И девушка, забравшись на диван,
Задумчиво расчесывает волосы.
Шестнадцать ей каких-то в эту рань.

И жизнь еще ей чудом представляется.
Да так оно, наверное, и есть.
Сама ведь — неразгаданное таинство
И лучшая, конечно, из невест.

А как зовут? Да разве это главное?
А главное — что происходит вдруг.
Как не влюбиться мне в движенье плавное
Сквозь тень и свет ее скользящих рук?

За плечи резко волосы откинула,
И светозарно вспыхнуло лицо!
Налились губы рдяною калиною.
Мечтает луг цветочною пыльцой

Колен коснуться — пахнут земляникою.
Но не спешит она на луг, ведь там
Пасутся кони первобытно-дикие,
Прислушиваясь к девичьим ступням

Она еще ничейная затворница,
Но просыпаться уж парням пора...
Над Беседью туманы хороводятся.
В туманах тонет Красная Гора.

* * *

Она купалась в Белых Берегах,
В урочище, где Уборть медовела.
И лилия об этом в волосах
Напоминала, обвивая шею.

А ситец легкий выпуклую грудь
Чуть обозначил, душу мне волнуя.
И ветер — шепелявый шалопут —
Подолом забавлялся, озоруя.

Она, наверно, в Чемерном жила,
А может быть, из Лельчиц приходила.

Вдруг разговор со мною завела,
Среди подруг, конечно, заводила.

Нам просто было с нею по пути,
Расстанемся — друг друга мы не вспомним.
Другие в жизни встретятся цветы,
И лилия покажется нам скромной.

Нас будущее дальше все влечет,
Там впереди откроются все тайны.
А этот миг случайный — он не в счет.
Серебряная лилия завянет.

Никто не вспомнит, сорвана зачем,
Чьи волосы напрасно украшала.
Не все ль равно, заговорила с кем
Та, что судьбой нечаянно не стала.

Шиповник

Где Свенский монастырь белеет над холмами
И кружится Десна как будто в полусне,
Когда-то здесь бродил и был счастливым с вами,
Но память обо мне, как капля на весле...

Я помню: рвал для вас шиповник спелый в поле,
И руки исколол, придурок, до крови.
Но что вам эта боль? Вы руки не кололи.
Так захотелось мне. Конечно, вы правы.

Другими стали мы — ни для кого не тайна,
Ей-богу, ни к чему теперешняя грусть,
Но иногда и вас в минувшее потянет,
Где Свенский монастырь и тот колючий куст.

Но скучно вам одной, и кто-нибудь найдется...
Не знаю, кто теперь шиповник рвет для вас.
Да, монастырь, Десна, и ярко так на солнце
Шиповник тот горит. А я давно погас.

Но если вы одни. Лишь куст знакомый в поле,
Но если все прошло, что прежде не сбылось...
Откуда это было? Вы руки не кололи,
И нет причины для нахлынувших вдруг слез.





АНДРЕЙ ФЕДАРЕНКО

В Крыму

Рассказ

I

Володин приезжал в этот поселок на западном берегу Крыма третий год подряд, в одно и то же время, в сентябре, и селился у одних и тех же хозяев и даже в одном и том же коттедже.

Золотая пора, бархатный сезон, курортников с детьми нет, людей мало, соответственно, падают и цены, что для экономного Володина было очень даже немаловажно.

Он выбирал западный берег — степной Крым — еще и потому, что его пока мало освоили, мало загадили по сравнению со знаменитым южным Крымом.

Ему хотелось просто купаться, пить вино, есть виноград, гулять в одиночестве, наслаждаясь им, обретая душевное спокойствие и избегая всего, что могло бы его нарушить.

Володину было далеко за сорок. Если точнее — пятьдесят. Ему было приятно бродить без цели, думая о том, какой за свои полвека он приобрел опыт, как изведал жизнь, людей — не так чтобы глубоко, по-философски, но достаточно для того, чтобы ориентироваться в этом мире без компаса.

Потом, зимой, в Минске, он вспоминал свой уютный поселочек, море, степь, ветер, солнце, уединение… И так хорошо, спокойно становилось на душе — как бывает всегда, когда память обманывает тебя, заставляет забыть прошлые неприятности, а ты в свою очередь обманываешь ее, поддаешься, с готовностью забывая все, что хочешь забыть.

Володин вспомнил свою прошлогоднюю радость, он хотел бы все один к одному повторить, даже механически скопировать. Вот он сядет в поезд — ах! — эти вокзальные объявления: Минск—Симферополь, Гродно—Анапа!.. И будет дорога, знакомая, долгая, двое суток, с редкими короткими остановками, с продавцами на перронах — почему-то в глаза бросаются одни вареные раки, красные, большие, как лангусты… Джанкой, Симферополь — и крымский запах начинает щекотать ноздри и кружить голову… Вот маршрутка, и виноградники, и ореховые деревья вдоль дороги, а за ними, где только более-менее чистое поле, символ нового Крыма — татарские будки самозахвата. Но все закончится, и маршрутка подойдет к поселковой автостанции, он выйдет и не спеша отправится по знакомой улице, где знает каждую выбоину — дороги и тротуары здесь совсем не ремонтируются. Дом, клумба около дома. Радость хозяев при появлении его. Коттеджик, комната — та самая, даже, кажется, те самые — прошлогодние — скрученные липучки для мух свешиваются с потолка. И этот непривычный для белорусского уха звук, все время — шух, шух… Море! Невидимое, но такое близкое!

Как мечтал, так и случилось.

Заехал хорошо, хозяева радостно встретили его, как родного, ключ дали, и комнатка с ним поздоровалась — та самая, на одного человека рассчитанная, и терраса, и клумба сказали только ему одному слышные понятные слова, и песик Лева — ничуть не подросший за год — узнал его, лег на спину и помахал всеми четырьмя лапами.

Когда Володин распаковывал сумку и переодевался, вошла хозяйка, моложавая, но, как санитарка в больнице, особо не отворачивалась. Пришлось выслушать Володину, что ночью был шторм, тот самый, который бывает в начале каждой осени и называется — бара, приходит сюда из бухт Новороссийска, рушит все на своем пути: ломает деревья, размывает пляжи, срывает с якорей корабли и не успокаивается, пока не наберет себе жертв; вот и вчера с высокой прибрежной скалы смыло молоденькую девушку, которая снимала стихию на мобильный телефон и не удержалась, поехала, скользя по высокому откосу, в морскую пучину…

Володин не особо внимательно слушал. Он поскорее натянул шорты, сунул ноги в легкие сланцы, схватил полотенце и быстро пошел к морю. На море утихал шторм. Обманчиво-жалобно плакали чайки и альбатросы. Подмытый высокий берег был в зигзагах трещин. На него все еще нацеливались, старались наброситься грязные волны с длинными полосами водорослей и желтой пеной, но уже не доставали, оставляя между водой и берегом метров десять мокрого пляжа.

Тем не менее люди были кто в одежде, кто раздетый, сидели, ходили, ища камешки, по пляжу. Несколько зевак посматривали и пальцами и мобильниками указывали на злосчастную скалу.

Володин, на ходу раздевшись, зашел в волны, обмер от холода и неожиданности, затем привык, поплавал, понырял, скоро оглох от шума, наглотался горьковато-соленой воды, побил ноги о камни, которые перекатывали волны у берега… Когда, как раненый — руки болтались, в ушах звенело, выбрел на берег, какая-то девушка попросила его помочь укрепить зонтик. И это в такую погоду, без всякого солнца! Девушка по возрасту годилась ему в дочки. По-русски говорила она так, как говорят все без исключения белорусы (а потом удивляются, почему их разоблачают по одному-двум словам за пределами Беларуси), с тем еле уловимым «дефектом», который не исправит никакой логопед минимум еще лет пятьдесят.

— Ну что, землячка, закрутим курортный роман? — спросил Володин.

Получилось не столько фривольно, сколько некрасиво — старик «клеит» молоденькую. Но не он же первый навязался, попросили его, поэтому он нарочно еще и повторил, вкручивая в твердый, утрамбованный штормом пляж толстую на конце ножку зонта:

— Так что, землячка, будет у нас роман?

— А как вы… угадали? — она немного испуганно потрогала свой курносый бульбашский, в веснушках, носик, и на ее пальце блеснуло обручальное колечко.

— Ой, — приветливо сказал Володин, все еще сражаясь с ветром и зонтом, — прошу прощения. А как угадал? У меня целая теория, как земляков узнать, расскажу обязательно, пляж маленький, будем видеться…

Девушка была совсем не загорелая, поэтому он подумал, что она тоже недавно приехала. Зонт был укреплен. На прощание познакомились: звали ее Алеся.

— Такая молодая, а уже Алеся, — пошутил Володин и пошел, довольный знакомством, и своей шуточкой, и самим собою.

Но снова глаза его наткнулись на скалу… Какое все же, подумать, кощунство, вот так просто жить, шутить, когда где-то в море шторм все еще носит несчастное тело… Володин, человек книжный — он работал в отделе редкой книги Музея древностей, — вспомнил, как читал недавно: идет гражданская война, отдыхают

люди на берегу Днепра, выпивают, закусывают, рядом у берега тихо качается в воде, среди гнилой травы, раздутый труп, и когда набегает волна, шевелится дряблый белый бурак его, и женщины тогда резко, с хохотом показывают на него…

Так и здесь. Как же научилась жизнь близко сосуществовать со смертью, какое покорное, циничное примирение с этим: ну, жизнь, ну, смерть — не портить же себе отдых из-за того, что какую-то неосторожную дурочку унесло в море!..

И правда — скоро, скорее даже, чем надо, забылся эпизод с утопленницей, и Володин стал жить как хотел.

А жить он хотел так, чтобы как можно меньше хотеть. План его состоял из отсутствия плана, а режим заключался в том, что его не было.

Не нужно к этой жизни серьезно относиться, давно решил Володин, — она того не заслуживает. Все равно она такая короткая, кончается смертью, осталось ее мало, все кругом — одно зло, женщины — зло, и деньги — зло, и добро — тоже зло, так как требует действия. А потому не стоит и пальцем шевелить — ни ради денег, ни ради женщин, ни ради добра; а только идти вслепую за судьбой, вместе с тем не отталкивая и блюдечка, на котором судьба может вдруг поднести какой-нибудь приятный сюрприз: дают — бери, бьют — беги.

Так думал Володин, сидя на террасе и попивая белое вино. Чувствовал он себя прекрасно. Все ему очень нравилось: и комната, и тенистая терраса, и вкусное легкое вино… Краешек Европы. Эти столики перед каждым коттеджем… Замкнутый прямоугольник двора, посреди — клумба-цветник, в конце — огромное разлапистое дерево грецкого ореха, еще дальше — персиковый сад и огород, с которого хозяйка каждое утро, пока Володин спит, приносит и кладет ему на столик один-два, только что с куста, помидора — «бычье сердце», черных, размером чуть ли не с детскую голову, и пару свежих куриных яиц. За это у Володина была небольшая обязанность: приносить матери хозяйки, старенькой бабушке, морскую воду в двухлитровой пластиковой бутылке. Володин живо представлял, как ей, слепой, столетней, без ее моря, как ей хочется хотя бы понюхать ту воду, попробовать ее.

Он брал бутылку и шел на пляж. Было так хорошо в шортах и в легкой майке. Белая от южной пыли тропинка рядом с асфальтом мягко ложилась под ноги. Солнце только выглядывало из-за белоснежной шапки Ай-Петри: маленький Крым, если даже отсюда с высокого места в хорошую погоду можно увидеть ялтинские горы! Всегда внезапно открывалось море, разрезанное солнцем наполовину — у горизонта голубое, а у берега темно-синее. На пляже он сразу узнавал Алесю — по знакомому зонту, к тому же она любила одно и то же место. Результат обручального кольца, двухлетняя Лизка, очень спокойная, молча возилась рядом в песке, голенькая, загорелая, в отличие от матери, до шоколадного бархата, только светился белый треугольничек от трусиков.

— Я снимаю ей трусики в погоду, а когда холодно, надеваю, — объяснила Алеся; сама она загорать не любила и была белая, как сыр.

Они уже были своими, на ты, она о нем знала, что он давно разведен и живет в Минске бобылем, в двухкомнатной квартире, хотя и в спальном районе, но недалеко от метро. А он о ней, помимо этой Лизки, — что она из провинции, что работает «в сфере торговли» и что добывает здесь с дочкой последние дни.

— А ты не боишься? — спросил Володин. — Ну, с такой малой? Вон как спеклась.

— Я в том году ее веревкой к ноге привязывала. Сама сплю под зонтиком, а она возится у берега, на мели.

Володин подумал, покашлял и сказал, словно оправдываясь:

— У меня сын.

— Большой?

— Как ты. Теоретически могла быть такая же внучка, как Лиза. Только я с ним почти не вижусь, — почему-то добавил он.

— Вы мирно разошлись с женой? — спросила Алеся.

— Мирнее не бывает. Она еще при мне… с одним из министерства… Потом вышла за него, а мне купили квартиру, так что все счастливы.

— Скучно одному в двух комнатах, — заметила она.

— Ничего подобного. Да и есть у меня женщина… Правда, у нее свои дети, своя квартира…

Рассказал он и обещанное — как узнает белорусов на чужбине. Торговец-украинец на базаре поставил у товара вывеску: «Це слива, а не тыква!» Так и для меня, говорил Володин, совсем не обязательно вешать на лоб человеку бирку: «Це белорус, а не немец». Само собою акцент, умеют загорать без солнца, купаются в холодной воде, вместо тишины и уединения выбирают компании… Белорусские мужчины всегда ходят в носках, неважно, что на ногах — сланцы, сандалии, зато педикюрши утверждают, что у белорусских мужчин самые ухоженные ступни в мире. Это Володин, человек книжный, тоже вычитал где-то.

После утреннего купания возвращался он в коттеджик бодрый, помолодевший. Подбегал, махая хвостом, Лева, которого Володин называл за узкую изогнутую спину — Сабля, и он отзывался на Саблю.

Из соседей по дворику был один знакомый, седой старичок Исидорович из города Луганска. Володин приезжал сюда третий раз, а Исидорович — ровно двадцать лет, ни одного сезона не пропустил, сначала ездил с женою, потом, когда она умерла, один. Селился он всегда в мазанке, маленькой, приятной и снаружи и внутри, там даже печка была — на стылые ночи. Исидорович был поэтом районного масштаба. Иногда ему удавалось затащить Володина к себе в мазанку. Стол ломился тогда от крымских яств, разных выпивок-закусок, а Володин вынужден был слушать длинные, бескрайние, как луганская степь, поэмы на украинском языке с еврейским акцентом: «Ой, ты ридна матухна, ой, Украйна моя!» Кончалось тем, что осоловелый Володин бесцеремонно зевал, смотрел на часы, на полстроке поднимался и подавал старому поэту-патриоту руку:

— Ну что ж, желаю защищать вашу Украину, как луганский слёсарь Клим!

Других соседей Володин не знал и сходился с ними случайно. Литовец Стась — Станиславас, аскет, педант, все у него было разложено по секундам, по всему было видно, что человек приехал не валяться на солнцепеке, а оздоровить организм, ремонт ему дать, как механизм ремонтируют. Володин поднапрягся, вспомнил несколько слов по-литовски и при каждой встрече со Стасем приветливо говорил: «Малони юс матати» (рад вас видеть) и «герос нактиес» (доброй ночи). Симпатичный здоровяк-литовец улыбался и осторожно пожимал руку Володина выше локтя.

Была еще одна мадам из России, из Петербурга, которую никто в дворике не любил за чопорность, да и она никого не любила, ни с кем не здоровалась. Володин подыгрывал ей — ах, вы из культурной столицы, из города на Неве, и она таяла, превращалась в милую русскую женщинку и откровенно рассказывала, что у нее проблемы с невесткою, что сын сильно пьет, что он в Башкирии, что сама она не из Петербурга — из пригорода, с трудом собрала за два года деньги на отдых, что здоровье уже никакое.

Две старушки-харьковчанки жили у Володина за стеною, приехали сюда на неделю в складчину, занимались тем, что целыми днями варили на кухне борщ и потом ели его на террасе, весело и часто постукивая ложками. Володин ни разу не видел их у моря, они, скорее всего, ни разу к тому морю и не сходили.

Много было перекати-поля — на собственном транспорте, из Украины, России, Беларуси; гнались за погодой-природой, а находили, как правило, только

приключения: то лопались шины, то обворовывали их, то разгорались между ними ссоры: «Ты же обещал солнце — и где оно?!» Через пару суток они срывались с места и неслись в поисках лучшей доли.

Володин видел и слышал это, когда ходил обедать в соседний двор, к татарке — огромный дом, трехэтажный, с балконами, двор нашпигован толстозадыми джипистыми, нисанистыми, мицубисистыми машинами… Впрочем, они никак не мешали Володину.

Маленькую столовую накрывала тень виноградника, на тушеную баранину слетались мухи, но все равно было приятно, и вкусно, и смешно, когда старуха-татарка спрашивала: «Вам насыпать борщ?» — «Насыпьте», — отвечал Володин. Посреди двора выложили из разноцветных камешков и наполнили водой крохотный водоемчик, в котором жила черепаха с маленькой дочкою; дочка любила залезть матери на спину и так греться. Дети кормили их колбасой и кусочками сала, что черепахи охотно ели.

После обеда опять был пляж, но теперь под навесом, в теньке — знал Володин по горькому опыту, что в сентябре можно сгореть сильнее, чем летом. И снова он видел на пляже знакомый зонт, и хотя недолго был знаком с Алесей и Лизкой, опять безобидно шутил: «Так как насчет курортного романа, землячка?» — на что Алеся только улыбалась, точно как литовец, которому Володин желал доброй ночи солнечным утром.

Вечером Володин отправлялся на неспешную прогулку по набережной. За бетонными ограждениями, за проволочными заборами прятались в роскошной зелени дома отдыха, профилактории, санатории со своими бассейнами, кинотеатрами, отделениями почты, газетными киосками, и конечно, самыми разными экзотическими кафе. Можно было завернуть туда и полюбоваться цветами и деревьями, а можно — просто идти по набережной, минуя один за другим эти островки цивилизации, и вот они кончались, и начинались заросли карагача — крымской мелкой желтой акации, которая уже осыпалась, и листва по-осеннему шуршала под ногами. Еще дальше — лесок лиственниц, где остро пахло смолой и белорусскими соснами, и с обеих сторон дороги — в человеческий рост поросль такого похожего на василек голубого цикория. А после все кончалось, и открывалась голая степь — только вдалеке торчал наполовину раскопанный скифский курган.

Степь… Полное безлюдье. Голый, как проволока, ковыль звенит на ветру. Ветер налетает порывами, довольно сильный, тревожный своей первобытной чужой дикостью. Одинокий конь-крымчак со ржанием, с поднятой гривою носится туда-сюда, ловя этот ветер, взбрыкивает, подбрасывает зад… Попробуй окажись у такого на дороге!

И когда Володин стоял на высоком обрыве — позади степь, впереди морской простор, красное солнце опускается в синее море, — когда жадно дышал горьковатым от ковыля и йода воздухом, ему казалось, что он ощущает этот воздух физически, словно находится в легкой прозрачной жидкости, — тогда ему хотелось сбросить одежду, чтобы вбирать этот воздух не только легкими, но и каждой клеточкой тела…

Эти прогулки, адаптация, уединение, экзотика, с одной стороны, приносили Володину тихое, умиротворенное, просто детское чувство гармонии, ощущение, что ты хозяин своего тела, своих мыслей и даже своего настроения (например, он мог приказать себе светло погрустить, а мог переключить рычажок на беспричинную радость), а с другой — он в такие минуты остро чувствовал, насколько ничтожен человек перед молчаливым величием природы. Вот она, природа, и есть настоящее, главное, вечное, а хваленый человек — всего-навсего временный фон к ней, переменчивая декорация, листва на дереве жизни — зеленое в моло-

дости, желтое в старости… Сникнет и осыплется, а это солнце, море, степь как жили, так и будут жить…

Гармония исчезала поздним вечером, когда Володин ложился спать. Из каждого второго кафе с набережной неслось: «Молодос-ц-ц моя, Белорус-с-сыя!», лезла в уши, действовала на нервы… И вспоминался Володину лес, грибник в наушниках, с мобильным телефоном, который ищет грибы и одновременно сообщает другу о каждом своем шаге, или рыбалка — однажды утром во тьме, перебив комариный звон, пенье соловьев и петухов, из открытых дверец машины резанула магнитола.

Володин злобно затыкал берушами уши, грустно усмехался. Он, как, впрочем, и многие из нас, любил своих земляков дома и не больно их жаловал на чужбине. Исключение было только для женского пола, здесь он вынужден был признать, что белоруски самые лучшие в мире, по крайней мере, внешне; тем более ему было это легко сделать, потому что он и не знал других женщин, кроме белорусок.

II

Стояло теплое солнечное утро. Сонно накатывали на берег ласковые волны. Алеся сидела под косо воткнутым зонтом. Володин на животе лежал рядом. Он только что искупался, заплыл со своей бутылкой далеко, чтобы набрать более чистой воды, и теперь мокрые от соленой воды его волосы торчали, как у дикобраза. Неподалеку сидела на корточках Лизка и сосредоточенно стучала камнем по камню: тук-тук-тук… Это был самый громкий звук на пока еще малолюдном пляже — маленький курортный поселок просыпался поздно даже в такое погожее утро.

Завтра Алеся с малышкой уезжали, и Володин философствовал на эту тему.

— Вот так всегда: встретились, познакомились, прощаемся — легко, весело, словно у нас в запасе вечность, — тихо говорил он, лежа на животе, пересыпая из ладони в ладонь теплый золотой песок. — А между тем судьба, когда сводит людей, наверняка же дает им шанс на что-то большее, чем «здравствуй» — «до свидания». Впрочем, все мы в этой жизни пассажиры, едем в поезде с надписями на вагонах: рождение — жизнь — смерть, и никто не знает, в какую минуту может постучать проводник. Не оригинально? А что теперь оригинально? Человечество начинает повторяться, безнадежно пробуксовывать, и это наводит на самые печальные перспективы. Мы же должны если не быть, так хотя бы стараться быть более умными, чем те, что жили до нас. А мы как думаем? — а-а, не мы первые, не мы последние… И по привычке всегда готовимся к худшему. А вдруг возможно лучшее? Мы этого не знаем, и не ошибаемся только потому, что не ищем…

Володин говорил с тем удовольствием, с каким одинокие люди, напав на благодарного слушателя, дают, наконец, волю языку. Он нес всякую чушь, банальные, прописные истины, и отлично понимал это. Но она слушала так внимательно, серьезно, с одобрением каждого его слова, что Володину все больше начинало казаться, что она понимает его и что он действительно говорит важные вещи.

Пожалуй, до встречи с ним хорошая каша уже была в ее голове, а теперь она постепенно принимает его взгляды, его мировоззрение, причем с благодарностью, с готовностью быть на второй роли, с готовностью признавать его верх.

«А хорошо, что она замужем, — подумал Володин, идя с пляжа на завтрак. — А то действительно пришлось бы роман закручивать — вот было бы!..»

Вечером они снова увиделись. Сидели в кафе на набережной, запивали вином горячие шашлыки, любовались природой. У Володина на коленях устро-

илась Лизка. Вечернее солнце, белые чайки, зеленые очертания скал, спокойная синь моря, лирика начала осени, светлая грусть уходящего лета…

Володин размяк от вина, от мяса, от красивого пейзажа, от молодой женщины рядом, и его потянуло на воспоминания.

— Как жаль, что мы никуда не съездили. В Судак, Феодосию, в ту же Ялту…

Он рассказал, как давно, еще студентом, впервые попал в Ялту, с деньгами только на обратный билет и на маленькую порцию пельменей в сутки, наивно думая, что перебьется одной экзотикой и святым духом. Ночевал где попало: на скамейках, на пляже, на асфальте, который ночью остывал до минуса. Днем он только и делал, что слонялся возле шашлычных, голова кружилась от запахов, музыка играла, люди гуляли, покупали что хотели… И он дал себе слово когда-нибудь приехать сюда другим человеком, не затюканным голодным зверьком, а таким, как они, хозяином жизни…

— Исполнилось желание, — сказала Алеся.

— Приехал. В Ялте побывал. И увидел не тот город, а сегодняшний — роскошный, миллионерский… Я вырос, и Ялта выросла. И оказалось — мало я достиг по сравнению с тем студентиком. Лучше бы я хвастался не тем, что человек книжный, а тем, что при деньгах: бедность, конечно, не порок, а обычное свинство…

Опускалось солнце, и от него через все море на спокойной воде дрожала и переливалась широкая полоса; цвет импрессионистов — примерно если сиреневое наложить на золотистое.

— И я понял: не надо ни за чем гнаться, все равно не догонишь (говорил Володин противоположное своим утренним словам). И если и выбираться в разные путешествия-странствования, так только затем, чтобы лучше понимать ценность своего, еще больше ценить то, что имеешь, что под носом…

Тут Володин с Алесей заметили, что Лизка, обняв его за шею, спит, как котенок. Так он ее — живую, теплую, и донес до самого дома, а там осторожно передал матери. Алеся понесла ее в дом, а он остался ждать.

Как быстро, внезапно темнеет на юге! Из ничего сгустилась ночь, темная, плотная, протяни руку — пощупать можно. Над головой на небе крупные, с кулак, звезды необычной яркости, а рядом через заборчик на клумбе такие же крупные белые цветы дурмана, которые распускаются только под ночь. От их запаха разболелась голова. Было очень душно. На уличных столбах зажглись фонари, тьма немного отступила. Вышла Алеся.

— Спит…

Не спеша пошли к морю. Впервые они остались вдвоем.

Володин видел — не столько видел, сколько чувствовал, что Алеся хочет что-то ему сказать. Но никак не мог остановиться.

— Вот… Значит, едешь… Значит, так мы и не попали в Ялту… Жаль. Ялта — город Богдановича и Чехова. Помнишь Чехова?

— Кого-кого? — она бессмысленно взглянула на него. — Чехова? — и рассмеялась.

— Ну так и я о том же! Пишет — стоять с молоточком за дверями каждого счастливого и стуком напоминать, что есть несчастные. С молоточком… Счастливых, наоборот, — надо оберегать, равняться на них, завидовать им, а беды их и без молоточков найдут! Или — спешите делать добро, пока молодые. А какое добро, что это такое — не сказано. Или возьми ты «Собачку с дамой». Ах и ох, он рвет на себе волосы, она ломает руки, ведь замужем, а он женат. Если бы это написал не классик и если бы не броское название, — сердито говорил Володин, — никто бы этого не читал и фильм не ставил, ведь весь смысл, вся

романтика здесь в незавершенности. А возьми сведи их, пожени, и еще перенеси в наше время, в сегодняшний мир — они через час завоют… Классики. До сорока лет еле доживали… Нет — если ты гений, научи меня, как спокойно и долго прожить — тогда я поверю в твою гениальность!.. Так же? Ты согласна?

Они зашли на пирс, дошли до самого края. Справа и слева, и спереди жило, шумело море, а сзади, с набережной падал на пирс свет, и когда Алеся поправляла волосы, блеснуло кольцо.

— Спасибо тебе…

— За что?

— Что ходишь со мной, рассказываешь… Никогда в жизни таких умных людей не видела… И хороших.

Ему было и приятно, и немного стыдно. Он болтал от нечего делать, для собственного удовольствия, и она, видно, воспринимала все всерьез. А он… «закрутим роман»… Ничего ей не подарил, никуда не свозил… Даже не выслушал ее толком. И ему захотелось как-то исправиться, хотя бы сказать ей приятное слово.

— Знаешь, Алеся, если бы ты не была замужем…

— Замужем? — переспросила она. — Вот цена этому замужеству, — стянула с пальца кольцо и бросила в воду с пирса. Володин ахнул, инстинктивно рванулся, чтобы подхватить его, и чуть не упал. Она, смеясь, поддержала его.

— Бросают монетки, чтобы возвратиться, вот и я что-то бросила. Нет у меня никакого мужа. И не было никогда…

Так вот оно что, вот в чем она хотела признаться ему весь вечер! Впрочем, вся ее история умещалась в несколько предложений. Еще в школе полюбила женатого, забеременела от него. Он не развелся, она родила Лизку. Можешь вообразить, Володин, как жить в одном поселке, ходить по одним улицам, работать в магазине — всегда на чужих глазах, чуть ли ни ежедневно видеть его, жену его… И не вырваться никуда и никак.

Она рассказывала просто, доверчиво, как очень близкому человеку. Володин растерянно помолчал, затем спросил:

— Кольцо зачем купила?

— Сама не знаю… Чтобы меньше цеплялись. Ну что, пойдем, за малую боюсь… Проводи меня? — взяла его под руку.

И пока они шли, все мгновенно продумал и понял Володин.

— Слушай, Алеся… Тебе надо спасаться — это ясно! Слушай: вот если бы — ну так, просто допустим, — если бы нашелся человек, старше тебя, в Минске… Не я, другой! И предложил тебе… Забрал тебя с дочкой в Минск. Он бы получил молодую, красивую, хорошую жену, определенный авторитет, семейный уют, она — в смысле ты — столичную регистрацию и спасение из ада… Но главное, у каждого в любое время полная свобода разбежаться! Как бы контракт. Никто ни с кем ничем не связан. Само собой, тот человек не пара тебе, старый, ворчливый, со своими привычками… Правда, не злой. Если бы такой человек нашелся — пошла бы?

Она ничего не ответила, только крепче сжала ему пальцы. И Володин понял: не просто пошла — побежала бы.

На длинной улице только на двух столбах горели фонари, в начале и в конце, а посредине было темно. Володин с Алесею как раз проходили темный участок.

«Ну, давай! — приказывал себе Володин. — Соберись! Скажи, что этот человек перед тобой, это я, она ждет этого!..»

Но Володин собирался-собирался, открывал-открывал рот, набирал-набирал в грудь воздух — и так ничего и не предложил. Может, завтра, еще же будет завтра…

Вышли к свету, к дому Алеси. Попрощались.

— Придешь нас проводить? — спросила она обычным голосом, в котором не было ни разочарования, ни обиды.

— Спрашиваешь — конечно!..

Не зря так парило. Ночью начался ливень и лупил до утра, с громом, с белыми молниями — они видны были даже через сомкнутые веки. Володин не спал и слышал, как совсем близко стонет, рвется, бухает море, как играет во дворе ветер и трещит под окном старое ореховое дерево. Страшновато было ему, континентальному человеку, как будто в ожидании, что вот-вот ветер поднимет и понесет этот коттеджик вместе с ним в белый свет…

Утро встретило его пасмурной, ветреной неуютностью. Во дворе стояли лужи, клумбы с цветами были перемешаны с мокрой землей. Отломалась и лежала на земле большая ветка ореха с неспелыми плодами.

Володин пришел точно к маршрутке, а на остановке ему сказали, что дама с ребенком уехала на такси! Он и не подумал, что маршруткой на поезд не успеваешь. Сначала тоже хотел было броситься к частникам-таксистам… Потом (трус, трус белорус) махнул рукой и медленно пошел к морю.

Как неприятно получилось. И вместе с тем в душе было небольшое облегчение, потому что за ночь он так и не решил, что скажет.

На пляже после ночного шторма все было почти так же, как в первый день его приезда. Низкие тучи, крики чаек, холодное агрессивное море, шумный накат волн с желтой пеной… Подошел молодой армянин, укоризненно посмотрел на Володина, сказал чуть ли не со слезами в голосе:

— Обыдно! — и понятно было, что он хотел этим сказать — так ждал теплого моря, солнца, так об этом мечтал, добирался — и на тебе.

Обидно было и Володину, только по другой причине. И кто его вчера тянул за язык? Зачем человеку дал надежду? Вот уж правда, чем старее, тем дурнее…

Да — старее! Да — мало жизни осталось, и чем ближе к концу, тем более бестолковая она. И стоит ли так уж за нее цепляться? Любой ценой продлевать на пару каких-то паршивых лет? Это же так просто: пожертвуй хотя бы остатком ее для кого-то, пододвинься, поделись — тебе же самому лучше будет, смысл во всем появится, извечный стакан воды будет кому подать и умирать не так страшно!

Может, и правда? Поехать в тот поселок… Сделать доброе дело… Помочь человеку, даже двум… Для тебя это никакая не жертва, или очень маленькая жертва, а для Алеси с дочкой — счастье, спасение. Что он теряет? Свою так называемую свободу?

Не факт, что согласится, — цеплялся Володин за соломинку, но не спасала она. Еще как согласится! Не ради себя, так ради дочки.

Через десять лет ему стукнет шестьдесят, ей тридцать. Веселенькая же у них будет семейка! Хорошо, если десять лет — ого! — а скорее всего, месяцев десять… И потом — разве он кому-то что-то должен? Разве мало его жизнь учила? Разве мало он положил здоровья и сил, чтобы обрести спокойствие и душевное равновесие — самые большие в мире ценности?

Ну нет! Живите, дорогие, как знаете, без меня, а я из своей скорлупы в ваш мир не вылезу, уж очень хорошо он мне знаком!..

Так рассуждал Володин. А покоя не было, никак не получалось, как раньше, переключить в себе рычажок на тихую эгоистическую радость от простого существования.

И еще он заметил, что как-то особенно пристально вглядывается в мокрый песок под ногами, надеясь увидеть там золотой блеск.

Перевод с белорусского Натальи КАЗАПОЛЯНСКОЙ.



Я рядом с тобой

Когда-то (в далекой ли, близкой — не будем уточнять — юности) взгляд мой вырвал из свежего, только что купленного номера ЛіМа строчки: «Па шэрай, // востраӯ, // вечаровай пожні, // па травах, // што ў чаканні акалелі, // вярнуся я // ў спогад твой апошні — // схілюся, // ды не стану на калені...» Это лирическое образное любовное признание так очаровало меня, что тут же, дабы стихотворение стало еще ближе и роднее, перевела его — просто так, для себя — на русский, более привычный для меня язык. Дочитав подборку, перевела еще несколько. Переводы никому не показывала, никуда не относила — ведь о карьере переводчика я не помышляла. Фамилия и имя автора стихов запомнились сразу — Николай Федюкович.

Однажды, через энное количество лет, у меня в руках оказался сборник Виктора Шнипа «Балада камянёў». Наугад открыв книжку с таким суровым названием, внезапно, вслед за автором, утонула в музыке строк: «Музыкай напоўніўшы пакой, // Патанулі ў музыцы з табой...» Так родились новые переводы.

С поэтом Виктором Гордеем я познакомилась раньше, чем с его стихами. Тем более приятно была поражена, открыв томик его стихов, глубиной мысли и чувств этого с виду такого скромного, тихого, даже как будто умышленно старающегося казаться незаметным человека. Переводы Виктор Константинович одобрил. А я постепенно увлеклась этим, не очень привычным для меня, занятием — переводами. И постепенно поэтическое творчество многих поэтов стало как бы чуточку и моим собственным...

Елизавета ПОЛЕЕС

ВИКТОР ШНИП



* * *

Музыкой исполнившись живой,
Утонули в музыке с тобой
И исчезли на краю земли,

И воскресли вновь. И корабли
Белые, как будто белый снег,
Черные, как будто бесов смех,
Плыли в небе. И лилась вокруг
Музыка. И наполнялся звук
То тоской, то светом неземным,
Отражаясь в кубках золотым
Пламенем. И будто бы свеча
Озаряла наш венчальный час,
Где мы плыли посреди зимы
Между словом «я» и словом «мы»...

* * *

Обрывая с деревьев листву без труда,
Грустный ветер летит в неизвестную даль,
Словно ангел летит с золотою трубой,
И зовет и тебя, и меня за собой.
Но куда нам идти, но зачем убегать
С этой милой земли, что нас любит, как мать,
С той земли, где кресты Белых Храмов горят,
Где молитвы, как дым, прямо к звездам летят?
Только ветер шепнул нам: «Идите за мной!» —
И дорогу подмел золотою листвой.
И засыпал-завеял последний наш след,
Словно память седую промчавшихся лет,
Где мы юными были недавно с тобой,
Словно дым над осеннею желтой листвой
От костра в полуночной таинственной мгле.
Там мы были как будто одни на земле,
И, срывая с деревьев листву без труда,
Грустный ветер летел в неизвестную даль.

* * *

А девушки наши — красивые все.
Как белые розы в рассветной росе.
Но ты — всех красивей. Как с розой сравнить
Тебя? Нет, нельзя о любви говорить
Словами. А можно лишь только молчать
И молча смотреть и тебя обожать.
И знать — ты прекраснее всех. И к тому же
Все, в чем красота на земле, — это ты!
Не буду тебе я ни другом, ни мужем,
Но знай: никогда и не стану святым
Я рядом с тобой, где красивые все,
Но ты — словно роза в рассветной росе.

МИКОЛА ФЕДЮКОВИЧ



* * *

Перепутаны все календарные даты.
Меж тобою и мной — гроз ночных полоса.
Мы едиными были с тобою когда-то...
А теперь мы на разных живем полюсах.
Вдалеке от друзей, их острот и улыбок,
Вдалеке от бессонных и звонких дорог,
Я блуждаю по улицам наших ошибок,
Ты — по улицам наших обид и тревог.

Позабыли, что дорого было и свято...
И не знаю — на радость свою иль беду, —
Отрицаю упорно твою виноватость,
Ты упорно твердишь про мою правоту.

Может быть, оттого, что мы помним потери
И забыли друг друга давно голоса,
Мы сердцам нашим пылким упрямо не верим...
Мы с тобою на разных живем полюсах.

* * *

Когда опустится
вечерний
сумрак летний,
И, растворяясь в снах,
исчезнут тени,
Вернусь к тебе
с надеждою последней,
Склонюсь,
хоть и не встану на колени.

Не униженье —
позднее прощенье —
Прости мои ошибки,
успокой.

Ведь возвращение мое —
не пораженье.
А полная победа
над собой.

* * *

И шелк волос твоих — как сон глубокий,
И нежность пальцев на закате дня,
Насквозь пронзают хмурость туч далеких
Снопами золотистого огня.

И спелость губ, волнующих и чутких,
И взлет крылатой легкости в руках —
Тобою все кончается, как устьем
Кончается река.

ВИКТОР ГОРДЕЙ

* * *

Все ушли. Никого не осталось.
Только тени в холодном окне.
Небо высветлил месяц усталый
И совсем равнодушный ко мне.

Мне совсем не из прихоти надо
Рассмотреть тьму ночную вокруг.
Может, ходит он где-нибудь рядом,
Мой надежный и преданный друг?

В мире, смысла утратившем стержень,
Где оружья шального не счесть,
Как нужна человеку поддержка
И рука на поникшем плече.

Без надежды вся жизнь станет серой,
Не согреться душе у огня.
Слышу, кто-то стучит в мои двери.
Может, друг окликает меня?

* * *

Хоть на миг, хоть во сне бестолковом,
Ты, горючая память, забрось
Сквозь луга золотистые снова
В тот туман, где мне жить привелось.

Там задышится вольно и смело,
Там ко мне возвратятся друзья,
Там любимой в косыночке белой
Я увижу восторженный взгляд.

Хочешь — руки подставь звездопаду,
Хочешь — в поле приветствуй рассвет,
И вздыхать у могил мне не надо,
Да еще и могил этих нет.

Наяву ли, во сне это было —
Поле, речка и луга краса?..
Я проснулся — мне ноги босые
Обожгла ледяная роса.

* * *

Что ж, давай поговорим сердечно
Иль поплачем до рассветных зорь.
Закричали журавли над речкой,
Эхом отозвался темный бор.

Нас сегодня, нелюдимых, двое.
Тишину разбудим долгих лет.
Поздней ночью на груди у хвои
Серп луны повис, как амулет.

Это вздох мой, горький и печальный,
Или вскрик банальных журавлей?
В этом нету абсолютной тайны:
В лес привел тебя я, как злодей.

И теперь в лесу пред целым светом
Я сижу, а где-то рядом — ты.
Не прикрыться хвои амулетом
Нам от дней бегущих череды.

Будет разговор тяжелым, знаю.
Но откликнись только, что ж ты сник?..
Где-то рядом молча он блуждает.
Кто он — тень моя, судьба, двойник?

Перевод с белорусского Елизаветы ПОЛЕЕС.



ОЛЬГА ЕРЫШЕВА

Чужая жизнь

Рассказы

Кружевное белье

В последние дни слабая была. Еле по квартире ходила. А потом прибирала на кухне — и упала. И — головой о косяк.

Вначале думали, обойдется. Отлежится немножко да и встанет опять. Она двужильная была. Никогда и не болела. И по врачам не ходила сроду. Примет какую таблетку, если сердце или почки прихватит, — вот и все проблемы.

Не до болезней ей было. Семья-то — будь здоров. Четверо мужиков. Муж, да два сына, да внук-студент. Не расслабишься. Еще, конечно, невестка есть, да от нее помощи тоже ждать не приходится — вечно пропадает на работе, приходит еле живая от усталости, сил только и хватает — до ванной добраться. Шутка ли — финансово всю семью тянет! Особенно, как они с Сережей на пенсию вышли… А сыновья за такие копейки работают, что и сказать неудобно. Кризис! А внук — на платном. Образование нынче дорого.

Понятно, что все домашние хлопоты — на ней. Все-таки на пенсии. Вообще-то, если честно, и раньше, когда работала, этот воз на себе тянула. Как-то так получалось. Не мужикам же в домашнее хозяйство впрягаться! Несерьезно как-то. Муж — должность ответственную занимал, уставал на работе. Ему полноценный отдых был нужен. А дети — учились, потом работали. Тоже уставали. Молодые вообще быстрее устают. У них выносливости меньше. Немножко, правда, надеялась, когда муж на пенсию вышел, что чуть полегче станет… Но… не привык он. То давление, то желудок. Попросишь картошки принести, принесет, конечно, но обязательно потом или сердце у него разболится, или голова. И целый день то таблетку ему принеси, то окно открой — душно, то воды подай, то окно закрой — холодно. Сэкономленные полчаса боком выходят.

У него вообще здоровье не очень. На работе совсем запустил. Чуть что съест не то — желудком мается. Только с рынка, только свежее может. И понервничает слегка — тоже плохо сразу.

Хорошо хоть, она пугаться перестала. И к болезни привыкаешь. Даже самого близкого человека. Первое время сильно пугалась. «Скорую» вызывала. Как он ругался на нее! Бледнел от гнева. И «скорая» ворчала — что «без дела» беспокоят. А как же «без дела» — если вот он, лежит, стонет, плохо ему?

Так что пусть уж лучше или в парке прогуляется (для нервов полезно, да и сердцу какая-никакая нагрузка), или к соседу сходит телевизор посмотрит, заодно и новости с ним обсудит. Потому что, стыдно признаться, но поймала себя на том, что ее немного раздражать стало — когда дел невпроворот, ничего не успеваешь, а ему не терпится ей пересказать, что он только что нового узнал. Да еще с комментариями, конечно.

А что раздражаться-то? Он всю жизнь с людьми работал. Привык к общению. И не просто к общению — а чтобы к его мнению прислушивались. Пробовала только кивать и поддакивать — возмущается:

— Да что ж ты за дура такая! И не слушаешь совсем! Кроме своей стряпни — ну ничем в мире не интересуешься!

Ей, если по совести, и впрямь не интересно. Ни кого там в президенты в Германии выбирают, ни кто что сказал по этому поводу… Ни какой очередной скандал с каким-нибудь депутатом произошел… Да с ними вечно какие-то скандалы происходят. И президентов этих — вечно где-то выбирают. И опять выбирают. Где же их всех упомнишь? Ей — лишь бы войны не было. А все остальное — это уже так. Лишняя информация.

А ему хочется, чтобы она — вникала. Чтобы слушала его не просто так — а со знанием дела. Чтобы его умозаключения оценить могла. Иногда его, по старой памяти, и поспорить с оппонентом тянет. А какой из нее оппонент? Вот он ей накануне две статьи из какого-то политического журнала читал — да она половины не поняла. Он сердиться начал — я же тебе в прошлый раз объяснял? Объяснял! Но в тот момент она думала о том, что через час дети приедут голодные, а морковки для плова явно маловато, и чем бы ее заменить, или все-таки стоит в магазин по-быстрому сбегать. Вот в голове все и перемешалось.

А Сереженька любит проверять, что у нее в голове-то осталось после его с нею бесед. Конечно, это ведь каждому обидно покажется — столько времени на нее потратил, объясняя элементарные вещи, а толку — никакого.

Вот что странно… Когда работала, вроде и должность была ответственная, и хвалили постоянно — за то, что толковая. А Сережу порой — почти не понимает. Просила его, чтобы термины ей переводил, — сердится:

— Их любой грамотный человек знать должен!

И впрямь, наверное, от жизни отстала.

А вообще-то… Ей с мужем повезло. У других — кто пьет, кто по бабам бегает. А Сережа — только по праздникам выпьет немножко. И постоянно — дома. С нею пообщаться норовит. А она еще и капризничает…

А как боялась когда-то! Что — уйдет.

Это ведь она его любила без памяти. А он ей сразу, честно, объяснил: все еще любит прежнюю. Ту, что от него ушла. К другому. И впрямь любил. И фото хранил. И рассказывал о ней часто. И ругал. И восхищался. Прежняя — красавица была. Белая кость. Не нашего полета птица. Мелькнула — и исчезла.

Как она боялась, что — одумается да вернется! Ведь Сереже — цены не было. И умница. И собой хорош. Когда он ее за руку брал — сердце так и обмирало. Плавилось.

И — порядочный. Когда она забеременела, он даже глазом не моргнул. Ну, расстроился немножко, — но ни о каком аборте даже речи не было. Она-то ко всему была готова. Знала, что — не любит.

— Нет, — сказал. — Никакого аборта. Рожай. И — давай уж тогда заявление в ЗАГС подадим. Чтобы ребенок рос в полноценной семье.

Как она тогда счастлива была! И верила — вот сейчас он ее не любит, не может прежнюю забыть, но ее любви — и на двоих хватит. И — растопит она его сердце. Поймет он, в конце концов, что она ему — самый близкий, самый родной человек.

Сын родился — он доволен был. Очень. Не хотел дочку. Именем отца назвал. Гордился. Сын и впрямь рос — умный, красивый. В отца. Способный. А рисовал как! Даже хотел художником стать. Но Сережа отговорил. Что это за профессия такая? Ни заработков постоянных, ни карьерного роста. Пристроил его по знакомству в Политехнический. Сын, правда, бросил его на

третьем курсе — сессию завалил. Да и отказался пересдавать. Ох, сколько тогда крику было! Ну, Сережа кричал — ему положено, отец все-таки, так ведь и Игорь в ответ не удержался, тоже кричать начал. Гадостей всяких наговорил. Сережа с собой не совладал — и ударил его по лицу. А Игорь дверью хлопнул — и ушел. Даже вещей не взял. Потом уже, когда отца дома не было, за паспортом подскочил. Она ему и деньжат тогда подбросила, немножко, сколько было. Сережа-то запретил ей с сыном встречаться, «ушел — значит ушел!», а уж тем более — помогать. А своих денег у нее сроду не было.

Она тогда мужа в первый раз ослушалась. Все-таки страшновато было — как там Игорь-то, среди чужих людей, совсем без денег. И потом нет-нет да и помогала ему потихоньку — то деньгами, то продуктами.

С деньгами — ох, трудно было. Сережина зарплата у него на книжке лежала, он снимал сколько нужно — если на что-то целенаправленное. На ежедневные расходы да на коммунальные ее зарплату тратили. Она и так привыкла экономить, на чем могла, и чтобы выкроить лишние копейки какие для Игорька, пришлось изворачиваться. То скажет, что в столовой пообедала — а Сережа считал, что это неразумно, неэкономно очень, то пожалуется, что обсчитали или потеряла. Сережа ее отругает, конечно, но зато Игорьку что-то да перепадет.

Тоже характер — отцовский! Деньги берет — фыркает:

— Неужто дал? Или сама втихаря таскаешь?

Ну, зато спокойна, что сыт.

Слава богу, на работу устроился. Жил у приятеля своего, вот отец приятеля и устроил. А с полгода поработал на стройке — понял, что лучше все-таки быть специалистом, а не каждой бочке затычкой. Восстановился в институте. И с отцом помирился.

Вздохнула свободно.

А тут младший подрос. Незаметно. Он тихий рос, беспроблемный. Про него и забывали порой. Старший вечно на виду, и на олимпиадах, и на соревнованиях всяких. Его и учителя хвалили, и тренер в секции, про рисование и речи нет, преподавательница от восторга заходилась… А младший — тихий такой хорошист. Вроде и претензий к нему никаких ни у кого, но и надежд на него Сережа никогда не возлагал. «Не моя порода». И спрашивал с него меньше.

Спокойно окончил школу, спокойно поступил на физфак (даже и не ожидали, что с такой легкостью поступит-то), а в 18 лет огорошил:

— Я жениться собираюсь.

Любовь у него! Такая же соплюха, из Тмутаракани какой-то.

Она думала, что у Сережи инфаркт будет. Так он покраснел. Или сейчас что-нибудь непоправимое сделает. Но — нет. Сдержался. Велел привести «невесту» в дом, знакомиться.

На завтра на вечер договорились.

Она на работе отгул взяла, квартиру вылизала, напекла-наготовила — нельзя же в грязь лицом!

Пришла такая… совсем девочка. Росточку маленького. Личико простенькое. Только глаза и видны. Она-то боялась, что какая-нибудь… ну, из тех, что огонь и воду прошли, от которых мужчины голову теряют. Но — нет. Просто девчонка. Видно, что и сама влюблена в Антошку как сумасшедшая. Ей, как матери, это сразу понятно стало. И — приятно, что уж скрывать.

За столом девочка молчала больше. Смущалась. В основном Сережа говорил. Он очень толково им объяснил, как безответственно с их стороны сейчас жениться. И — если уж любовь — отчего бы и не подождать до окончания института — заодно и чувства свои проверить.

И Антоше потом сказал:

— Если твоей девушке важен ты, а не прописка и жилплощадь, то подождет.

Под конец, правда, не выдержал, добавил с досадой:

— Я-то надеялся, что кого себе посимпатичнее найдешь. Хоть росточком повыше! И у кого словарный запас — побольше!

Ну… Антоша не обижался. Он привык отца слушаться. И — даже рад был, что так легко обошлось. Он худшего ожидал.

И ведь прав Сережа оказался. После института Антоша в аспирантуру поступил, а Катю по распределению в райцентр отправили. Ей там и поработать-то надо было всего два года, и вернулась бы, — а она замуж выскочила. Как Антоша переживал! Почернел весь. Сережа ему очень сочувствовал. Утешал.

— Хорошо хоть, жениться не успели. Да детей завести. Все равно бы убежала! Если уж женщина не способна на верность — значит, не способна.

Отвлекал как мог. Машину купил. Заставил Антошу на права сдать. Машина для мальчишки — большое дело.

Потом Игорек надумал жениться. Он к этому времени уже более-менее на ногах стоял. Да и с жильем проблем не было — у невесты своя двушка в центре города имелась. Там и жили, пока Игорь бизнесом не занялся да не нарвался на нечестных партнеров, — и пришлось им эту двушку продать и переехать в родительскую. Попробовали с полгода снимать — да уж очень накладно получилось.

Сережа к их переезду спокойно отнесся. Тем более что невестка попалась — не из вздорных. Понимала, кто в доме хозяин. И на рожон не лезла. Да и некогда ей было на рожон лезть — она и тогда целыми днями на работе пропадала. Все надеялась, что еще вот-вот и на квартиру заработает. Откладывала. Пока дефолт все ее деньги отложенные не съел. Переживала, конечно, очень… Но… что тут поделаешь?

Потом внук родился. Солнышко. Болел, правда, часто… Помогала невестке чем могла. Взяла на работе отпуск, потом за свой счет. Потом на полставки перешла временно — чтобы невестка могла пораньше на работу вернуться. Как он кричал ночами! Колики. Носила на руках, качала — чтобы не будил остальных. На руках — затихал. Одна была мечта — выспаться.

А сейчас… со сном другие проблемы. Бессонница. С 2-х до 4-х — что ни делай. Нашла, правда, себе неожиданный и очень приятный способ убить это время. Пристрастилась к дамским романам. Все спят. Тишина. А тут — сказка. Так все красиво… Трогательные слова. Пылкие чувства.

В этих романах люди не занимались сексом — предавались любви. Страсти. Женщины позволяли себе быть вздорными. Совершали глупости. И все равно мужчины рано или поздно говорили им слова любви.

А еще… Эти женщины были так красивы… они носили кружевное белье, пользовались изысканными духами… И даже если автор описывал их внешность как неброскую — все равно было понятно, что эти женщины, все, как одна, привлекательны — чем-то главным. За что их можно было любить.

Ей все больше казалось, что в ее собственном романе — романе ее жизни — она никогда не была героиней. Только на второстепенных ролях. Ведь это обидно! Так хотелось — хоть ненадолго — почувствовать себя прекрасной, желанной. Женщиной.

Временами украдкой разглядывала фотографии Той… Вот кто была героиней!

Я смотрю на ее фотографии… Худенькая женщина с правильными чертами лица. Дурно подстриженная (ходила в школу-салон, где пэтэушницы стригли за полцены), бледные губы, грустные припухшие глаза… Скромная кофточка «прощай молодость». Ни тени косметики.

Сережа не одобрял косметику. И наряды. Считал, что это — для вертихвосток, а не для порядочных женщин. Она очень хотела быть «порядочной женщиной». Чтобы Сережа мог ею гордиться.

Когда она ударилась о косяк и потом не смогла встать, вызвали врача. Врач сказал, что, вероятно, инсульт. Нужно в больницу.

В больнице она все беспокоилась, а как Сереженька — с его желудком, — не голодает ли. И кто готовит ему его любимые диетические блюда.

Просила виновато:

— Сережа, прости меня…

Спрашивала тревожно:

— Ты ведь от меня не уйдешь?

А однажды — в отсутствие Сережи — попросила сына:

— Антоша…. Мне так хочется… у меня никогда не было… купи мне французские духи. Маленький флакончик. И… — улыбнулась застенчиво, — кружевное белье.

Антоша сказал отцу. Сережа — расстроился очень. Попросил главврача показать ее психиатру.

Они рассказывали эту историю после ее похорон. Горевали.

— Вот жила здоровая нормальная женщина! Так мало того, что неожиданно инсульт! Еще и сошла с ума! Подумать только — кружевное белье!

Я знала, что такое классовая ненависть…. Но почувствовала — впервые.

Чужая жизнь

Безгранична любовь народа к культуре! И иррациональна — как всякая истинная любовь. Вот, бывает, живет себе человек обычной своей жизнью, забыл, когда книгу в последний раз открывал, но — свято верит в ее великое предназначение. Поскольку со школы усвоил, что книга: а) источник знаний; б) лучший подарок; а главное, наличие книг в доме — признак культурного человека.

И неважно, что книги давно для него источник не знаний, но пыли. И жизни он уже учен-переучен, и свой опыт ценит куда больше книжного — а потому и дарит благоразумно при случае не книги, а что-то посущественнее, чтобы не попасть в неловкое положение. Тем не менее как элемент декора книги в доме присутствуют. На видных местах — собрания сочинений и авторы поизвестнее. На задворках — всякий прибившийся за жизнь хлам, Дрюон вперемежку с Н. Островским. Все это при случае гордо именуется «моя библиотека».

Школьные уроки не прошли даром. Читать не читаем, но книги уважаем, а писателей — чтим.

Марина устала за лето, как ломовая лошадь. Сразу несколько заказов подбросили — как обычно, туфту всякую для издательств. Зациклило их на этом фэн-шуе да на изотерике. Но заплатить обещали неплохо, а деньги нужны были позарез. Вот и набрала — слегка не рассчитав силы. Сидела за компом по 10—12 часов, барабанила по клавишам как проклятая. Когда не барабанила — рыскала по Интернету в поисках нужного для книги материала. Глаза слезиться начинали. Да что глаза! Спина разваливалась. Про мозги — и гово-

рить нечего. От всего этого бреда, что читала да сама печатала, укачивало. Передышки хотелось — безумно. А сроки поджимали.

Казалось, еще чуть-чуть — и все. То ли крыша поедет, то ли геморрой начнется. Еле-еле добила-таки.

А издатель — тут же с новым заказом! Аж содрогнулась.

— Не могу! Уезжаю я! На неделю!

Вот так и решила в одну минуту.

Пристроила кота подруге, покидала вещи в сумку — и рванула в Крым. А куда еще в сентябре поедешь спонтанно?

Сто лет там не была. Со студенческих времен. Помнила — горы, море, природа красивая, фрукты дешевые, люди приветливые.

К ценам — не готова оказалась.

Бабки, ловившие на автостанции приехавших отдыхающих, ломили по 20—30 баксов за комнату. На робкий вопрос «А нет ли жилья подешевле?» сразу потеряли к ней всякий интерес. Так и стояла с вещами, переминаясь с ноги на ногу, пока одна не спросила от нечего делать:

— А ты кем работаешь-то? Что на отпуск денег не насобирала?

— Книжки пишу, — ответила Марина. Как обычно, смущаясь. Поскольку ее способ зарабатывать на хлеб ей самой казался жутко несерьезным.

— Писательница, значит…. — протянула тетка с уважением в голосе. И через минуту раздумья решительно изрекла:

— Пошли со мной. Найду для тебя свободный домик. По твоим деньгам уступлю.

Домик оказался замечательный. Обычный летний сарайчик, но чистенький, в уютном дворике, выходишь во двор — фруктовые деревья ломятся от плодов, виноград под солнцем наливается красками. Благодать! Хозяйка — милейшая особа. Не знает, как угодить. С утра — на крыльце полная миска фруктов. При встрече — улыбка на все лицо. И все норовит то чайку принести, то пирожков домашних. Каждое слово ловит. И ходит кругами. Все не решается на что-то словно.

Дня через три такой райской жизни Марине неловко стало. Ее все угощают и балуют, пора бы и ей как-то на гостеприимство ответить. Купила пирожных, бутылку сухого вина и пригласила хозяйку скоротать вечер за беседой — если та не против. Та явно обрадовалась, помчалась в дом, вернулась с домашними вкусностями и при параде. Что Марину потрясло, и переодеться, и подкраситься успела.

Выпили по чуть-чуть друг за друга, и хозяйка, осмелев, завела речь о том, что она ведь тоже человек не простой, культуру ценит, и хоть высшего образования в свое время не получила, только техникум, тем не менее, не глупее многих, а в чем-то и поинтеллигентнее будет.

Поскольку людей после выпитого заносит и не в такие дебри, Марина не особо удивилась, только отметила про себя, что хозяйка, похоже, слегка комплексует по поводу своего образования.

— Но я тебе, деточка, как писателю такую историю жизни расскажу! Роман можно написать!

Марина мысленно усмехнулась. Считает тетка свою жизнь достойной романа — и да бога ради. Разъяснять, что романы она не пишет, было лень. После дня на пляже и выпитого вина ее разморило, и она была готова слегка поскучать, внимая истории чужой жизни, лишь бы самой не напрягаться и не говорить ничего.

Но история оказалась и впрямь впечатляющей. Там была героиня — вечная труженица. В одиночку преодолевающая превратности судьбы. Но на

судьбу не ропчущая, нет! А с помощью молитв и благочестивой жизни не оставляющая надежды, что будет и в ее жизни праздник. На каком-то этапе где-то там на заднем фоне маячил муж героини — но особой роли это не играло, поскольку муж был скорее декоративный. То есть во внимание он как-то не брался. Была злодейка дочь, по сравнению с которой дочурки папаши Горио казались воплощением любви и заботы. Был кроткий ангел сын, единственное утешение, но и он вынужден был страдать по вине сестры, этого исчадия ада. И была невинная крошка внучка, дитя развратницы, которую наша героиня уже два года безуспешно пыталась отсудить у матери, — а эта дрянь устраивала истерики, настраивала девочку против бабушки и нанимала лучших адвокатов — ясно, чем расплачивалась.

Марина уже видела мельком героев истории. Очень красивый молодой человек, необычайно вежливый и застенчивый, помогал ей заносить вещи при вселении в домик. Девочка лет четырех либо играла во дворе, либо висла на матери. Молодая худощавая женщина проходила обычно через двор быстро, торопливо кивала на приветствие Марины и скрывалась в своей части дома. Девочка устремлялась за ней. Бабушка вслед предлагала ей то прогулку, то сладости, то поиграть, но девочка, похоже, с приходом матери теряла интерес ко всему прочему.

Как раз накануне Марина встретила их на набережной. Женщина, против обыкновения, была оживлена, и Марина не сразу узнала ее — такой юной и счастливой она выглядела, — но к ней подбежала девочка, и какое-то время они немножко прошлись втроем, болтая о пустяках, и мама девочки вовсе не показалась Марине грубой и неадекватной. Напротив, она производила впечатление очень милой, неглупой и обаятельной женщины, и с девочкой их связывала обоюдная нежность.

Марина по наивности попробовала сказать об этом хозяйке. Поскольку знала, что матери часто склонны ругать своих детей, когда сердятся на них за что-то, — но при этом каждой матери в душе приятно, когда ее ребенка хвалят посторонние люди. И как бы ни был серьезен конфликт между ними, но родные ведь люди. И если ей удастся хоть чуть-чуть подтолкнуть их к примирению, то это будет святое дело.

— Да ты не понимаешь! Уж это-то она умеет — прикинуться овцой! А сама!

И чем дольше Марина слушала бесчисленные жалобы хозяйки на ее дочь — от раннего детства, — тем сильнее ею овладевало сочувствие к молодой женщине. Даже если сейчас она и впрямь чудовище под личиной обычного человека — у нее явно была нелегкая жизнь…

— Она и в детстве была отродьем! Всегда все наперекор! Вот сын — да. Слова поперек не скажет. Никаких плохих компаний никогда. Стоит мне только сказать один раз «с этим не дружи, его отец алкаш» — все, даже не подойдет больше. С девочкой познакомился, говорит: «Мама, она мне очень нравится». Я об этой девочке все разузнала. Ну, про нее ничего плохого не скажу. Но образования никакого, официанткой работает, у матери еще трое, отец сбежал, так она с татарами путается. Нищета беспросветная. Разве это партия для моего сына? Я ему объяснила, что ничего хорошего из их отношений не выйдет, и не дай бог, чтобы еще ее мать на него своих дружков-татар натравила, чтобы женился, если что. Он и перестал встречаться.

«Ну, прямо», — засомневалась Марина. Такое послушание у двадцатилетнего парня… Но вспомнила его робкую манеру держаться, ускользающий взгляд… Кто его знает, бедолагу. Может, и впрямь до того забит мамашей с детства, что и сейчас живет и думает по ее указке.

А дочь — строптивица оказалась. Ломали ее, ломали, а никак!

— Всегда мерзавка была! Я ей слово — она два! И наказывала, и еды лишала, и сидела взаперти — все равно. Хоть втихаря, но сделает по-своему! Это муж-покойник, прости его господи, вечно норовил ее под защиту взять. Сына-то хоть не успел испортить. И ведь, представляешь, тихий-тихий был, а какую пакость перед смертью сделал! Завещал ей свою часть дома! Я ее по-хорошему прошу — уйди! Вон сколько кобелей вокруг вьется, живи у любого! Нет, уперлась. «Это моя комната. Мне ее папа оставил — чтобы я с дочкой по людям не скиталась». Как будто я ей с девочкой предлагала уйти! А полгода назад вообще огорошила: «Я, говорит, эту комнату продам, и мы на эти деньги купим себе другое жилье, подальше от тебя». То есть тут будут жить совершенно чужие люди, а моя внучечка, кровиночка, — неизвестно, где. Не знаю, что с нею делать…. И от милиции помощи никакой… Куплены они там у нее все, что ли. Или еще чем расплачивается.

— А милиция-то при чем? Она ведь по закону здесь живет. Хоть вам это и не нравится.

Против воли Марины, последняя фраза прозвучала довольно неприязненно. Сидящая напротив женщина казалась ей все более противной. Та, видно, почувствовала это и всплеснула руками:

— Вот все так! Как начнешь рассказывать, вечно норовят взять ее сторону! Да ты знаешь, она мне ножом угрожала! Родной матери! Я ее всего-то и ударила пару раз — довела, зараза, — а она со стола нож схватила, в угол забилась и говорит: «Не подходи, а то зарежу». «Зарежу»! Матери! Я в милицию звонить, они приехали, мусолили, мусолили, эта тварь лживая что-то там им наплела, они мне и говорят: «Нет состава преступления. Вы бы лучше разобрались как-нибудь по-хорошему». Сопляк. Я с его матерью в один класс ходила, она у меня на уроках списывала, а он меня жизни учит!

«Возможно, я не права, — думала Марина, — и есть какие-то давние, глубокие обиды, о которых не говорят, потому что слишком больно. Как может родиться такая ненависть? Не раздражение, не гнев, именно — ненависть. Застарелая и неукротимая».

Слушать дальше было невыносимо, и Марина постаралась перевести разговор на другую тему — на успехи сына — он учился в платном колледже на художника. Мать воодушевилась и принялась расхваливать таланты своего любимца. Как поняла Марина, с признанием у юного дарования пока было не очень, но мать свято верила в избранность сына. Что, впрочем, вполне простительно — для матери. Тем не менее, взглянуть на его работы показалось Марине любопытным — вдруг и впрямь что стоящее?

— А ты попроси его, как будет дома, он тебе покажет. У него еще хобби есть, он этот, как его… все забываю слово. Ну, у него там в домике все и посмотришь. А ты — какие книги пишешь? Детективы? Женские романы? Может, я читала что?

Марина, запинаясь, попыталась объяснить, что писательница она весьма условная. На Донцову и Маринину не тянет явно. Есть в запасе пара тонких книжечек с рассказиками, и то давних, а так пишет понемногу всякие тексты под заказ, причем даже не художественные, а всякого рода хлам, что заполонил в последнее время прилавки книжных магазинов, типа «Как стать миллионером за одну неделю». Да и выходят эти книги чаще всего под чужими, более раскрученными фамилиями. Что, впрочем, ее, Марину, только радует.

Из всего этого хозяйка поняла лишь, что Марина не только слушательница неблагодарная, но и писательница — ненастоящая. Разочарование ее было очевидным. Сцена называлась «Перед кем метала бисер?».

Впрочем, она не стала озвучивать свои мысли. Просто потеряла к Марине всякий интерес — и ушла. Не объясняясь. Видно, считала, что и так потратила на Марину слишком много времени.

Марина так устала от нее, что только обрадовалась — и упорхнула на набережную, немного прийти в себя после разговора.

Вечером, против обыкновения, никто не встречал ее у калитки с вопросами, как прогулка, да не устала ли и не хочет ли чаю-кофе-перекусить. Похоже, в роли обычной квартирантки, не известной писательницы, Марина не заслуживала любезности хозяйки. Впрочем, Марину это не сказать, чтобы расстроило.

Радуясь, что не нужно ни с кем поддерживать светские беседы, спокойно помылась, попила чаю, а потом углядела свет в домике, где жил сын хозяйки, и решила зайти посмотреть его картины. Позвонила, не услышав ответа, зашла в кухоньку, чтобы постучать во внутреннюю дверь.

Он был на кухне. Сидел за столом. То ли звонок не сработал. То ли он был так увлечен, что его не расслышал. Он явно не ожидал ее увидеть — и дернулся испуганно, прикрывая собой что-то на столе. Но ее взгляд уже был именно там. Где было залито красным. И валялись какие-то непонятные куски — еще недавно чего-то живого…

Наверное, у нее был слишком потрясенный вид.

— Не подумайте чего. Я чучела делаю.

— Чучела? — тупо переспросила Марина. Господи, хоть бы этой мертвой плоти на столе было объяснение!

— Да. Я птиц ловлю. И зверей. И набиваю чучела. Только зверей сложно ловить… — пожаловалось ангелоподобное создание.

«Спокойно, — сказала себе Марина. — Люди по-разному зарабатывают себе на хлеб. Кто-то — набиванием чучел».

Отчего-то раньше таксидермисты (вот оно, слово, которое не могла вспомнить хозяйка!) представлялись ей выжженными жизнью циниками в приличном таком возрасте. Иначе с чего человеку выбирать себе такое занятие? Фактически — потрошить трупы.

— Ты сказал, ловишь. Ты что, из живых их делаешь?

— Конечно.

— Но ведь они — были живые! А сейчас — мертвые!

Он пожал плечами:

— Все равно ведь умирают когда-нибудь.

— Тебе за них так много платят?

— Нет, — расстроенно ответил парень. — Я вообще-то пытался продать, но никто не покупает.

— Но зачем тогда?..

— Мне нравится. Они такие теплые… и так трепыхаются, когда их убиваешь… — и он доверительно посмотрел на Марину ясным взглядом.

«Интересно, — думала Марина в некотором отстранении. — А я ведь тоже теплая. И наверняка трепыхалась бы, вздумай меня кто выпотрошить. Какое «милое» хобби у молодого человека! И его маменька находит это нормальным? Чем бы дитя ни тешилось… лишь бы не спорило. Ну хорошо, еще на несколько лет ему хватит этого клапана, чтобы сбросить агрессию. А что будет потом? И этот его неизменный взгляд в сторону и ускользающая улыбка…»

Но не скажешь же матери: возможно, вашему сыну нужен психиатр. Возможно, ваша дочь все-таки выстоит и когда-нибудь будет жить нормальной жизнью — несмотря на все ваши старания. А вот обожаемого младшенького

вы, похоже, сломали… И поможет ли ему кто-нибудь в этом мире? Ему — и тем, кто однажды окажется рядом.

Хозяйка, кстати, прекратила всякое общение с нею. Задевать не задевала, но даже здороваться не считала нужным. Проходила мимо, словно не видя. Не то чтобы Марина нуждалась в ее «здрасьте»… но все-таки ей было несколько дискомфортно, и Марина еле дождалась, когда истекли оставшиеся два дня и можно было уезжать. Хозяйка молча забрала ключи от домика, хмуро кивнула на Маринино «спасибо», и Марина побрела с вещами к автостанции — и ужасно обрадовалась, встретив по дороге дочь хозяйки с девочкой. Так приятно было напоследок попрощаться с кем-то тепло и искренне, от души желая ему удачи и стойкости.

Женщины обменялись несколькими незамысловатыми фразами, и в голосе одной звучало понимание и сочувствие — и вторая ответила благодарным пожатием руки — и лицо ее озарила улыбка:

— Не волнуйтесь… Я стойкая. Я справлюсь. Мы переедем скоро. Поживем у моих друзей, пока я буду решать свои жилищные проблемы. — И кивнула на девочку: — Мне ее спокойствие дороже.

Тересса

Почему я не люблю это имя? И вздрагиваю каждый раз, когда его слышу?

Какое счастье, что оно редкое.

Хотя, может, если бы оно встречалось чаще, то стало бы привычным, и я бы прекратила так на него реагировать? Как на ожог.

Ее звали — Тересса. Не Тереза. Именно через два «с».

И у нее был роман с моим мужем.

Даже не роман.

Она была девочкой. Студенткой. А он — блестящий преподаватель ее вуза. Красавчик. Умница. И она влюбилась, отчаянно и безрассудно. Млела на его лекциях. Не сводила с него глаз. Красивых, кстати, глаз. Умирала от желания, чтобы он хоть как обратил на нее внимание.

Он и обратил.

Он не был бабником. И заигрывания студенток его порой веселили, порой утомляли, но особо не трогали.

Но ее обожание пробило оборону. Может, потому, что я, беременная, неделями лежала на сохранении, и он чувствовал себя неуютно. Без привычной жены. Без секса, наконец.

Он — поддался. Позволил себя соблазнить. Тем более — она ни на что не претендовала. Он «честно» предупредил, что любит жену (то есть меня), а она и не считала себя достойной большего. Держала его за верховное божество, прикоснуться к которому уже счастье. Прибегала, куда и когда скажет. Он вечно опаздывал — и она ждала его на ветру в тоненьких колготках и дрожала — не столько от холода, сколько от мысли: а вдруг не придет. А он по лени вскоре расслабился и стал пускать ее к нам домой. Где однажды я их и застала в интимный момент — когда приехала из больницы в «самоволку» помыться.

Он нервно курил на балконе, а она рыдала и умоляла меня его простить.

— Это я виновата! Он не хотел! Это я его уговорила!

Она выглядела такой несчастной и искренней, что злиться на нее было невозможно. Я выпроводила ее из дома, высказала мужу все, что думаю по поводу, он мел хвостом и клялся в вечной любви и верности. Ну, как обычно:

«бес попутал» и «никогда в жизни!» Причем тоже искренне. Ну, что тут сделаешь? Простила и забыла.

А через пару месяцев муж стал задумчив и на нервах. Он и так был не ангел, потому и сообразила не сразу. Да и беременность занимала мысли — изменения в окружающей среде воспринимались с некоторым опозданием.

Он долго мялся, и так, и эдак. Что это его проблемы, и не хочет меня нагружать, мне в моем положении вредно волноваться. В результате я думала только об одном — что же он от меня скрывает. Наконец раскололся.

Девочка ухитрилась забеременеть.

— И что вы собираетесь делать? — спросила я.

Он и сам не знал. Ему отчаянно хотелось, чтобы проблемы — не было. И не хотелось думать о себе плохо.

— Ну… если она откажется делать аборт, я могу признать отцовство и платить алименты. Черт… С работы придется уйти.

Зарплата на его работе была мизерная, но он должен был защититься в следующем году, и что-то там светило. Тем более, декан к нему был весьма благосклонен. Но в плане прелюбодеяний со студентками декан был монстр. Считал, что нравственнее — обокрасть детский дом. Может, потому, что у него была дочь-студентка. Так что карьера мужа, похоже, накрывалась медным тазом.

— А что она говорит по поводу аборта?

— Не знаю. Она бы хотела ребенка. Но... я ей сказал, что для меня это проблема — и на работе, и вообще. И что я не могу на ней жениться — потому что ты тоже ждешь ребенка, и уйти от тебя — подло.

— И что она решила?

— Не знаю. Она в основном плакала и говорила, что не знает, что делать. Что боится аборта.

— А ты?

— Ну… я сказал, что что-нибудь придумаю.

— И как давно это было?

— Недели две назад. Да, две недели, точно.

О мужчины!

Не было слов.

— Я ей вообще-то посоветовал сходить к врачу...

— И что?

— Ну… я ее после этого не видел.

— Как не видел? А на лекциях?

— А она перестала на них ходить. А спрашивать мне неудобно.

— Что значит неудобно? Ты же преподаватель. Ты обязан знать, почему твои студенты не ходят на лекции. Ты должен ее найти. Срочно. Поговорить. Если еще не поздно — помочь с абортом. Ну там врача найти хорошего. Оплатить, что надо. Отвезти — привезти. Она ведь не потянет ребенка — даже с твоими алиментами! Она сама еще ребенок!

— Хорошо. Я ее найду — и уговорю.

Потом я опять угодила в больницу. Беременность была — чуть что, и угроза выкидыша. На работе появлялась — на два дня. Чтобы опять залечь на две недели.

Муж изо всех сил проявлял заботу, мотался каждый вечер после работы с передачами, внутрь, в отделение, его не пускали по причине карантина, передавал через дежурную вкусности и нежные записочки. Так и общались.

В своей записочке спросила: «Что с Терессой?»

Ответил: «Все в порядке».

Ну, я и отвлеклась на свои проблемы. И Тересса с ее неудачной любовью и никому не нужной беременностью вылетела у меня из головы.

Я уже недели две была дома, когда вдруг стукнуло, и я спросила:

— Так что там все-таки с Терессой?

И оказалось, что он — не в курсе. Потому что пытался ее найти — и не нашел. В институте она больше не появлялась, никто о ней ничего не знал. Он решил, что она уехала домой, к родителям. А мне ничего не говорил, потому что не хотел волновать. И — раз она уехала — скорее всего, она сделала аборт и решила, что ей лучше пока побыть дома. Логика, конечно, вызывала сомнения. Мягко говоря. Но, с другой стороны, если она решила рожать… Значит, так тому и быть. Уговаривать кого-то на аборт — тоже занятие не из приятных. На том и порешили. И успокоились.

А недели через две она начала мне сниться. Я просыпалась среди ночи, смотрела на мирно посапывающего мужа и не могла понять, отчего мне так тревожно.

Я не боялась, что посторонняя девочка родит брата или сестру моему ребенку и тем самым как-то оттяпает часть любви моего мужа. Или боялась — но не хотела себе в этом признаваться? И кто знает, что будет потом? Я видела, как он старается дистанцироваться от нее сейчас. А от «потом» не застрахован никто.

Но меня тревожило что-то иное. И я поняла, что, в отличие от мужа, спрятавшего голову в песок в надежде «авось все обойдется», хочу — знать.

И я поехала в его институт — благо меня там никто не знал, и после лекции отловила девчонок с ее курса.

— Мне нужна Тересса.

Благодаря имени ее знали. И помогли найти ее подругу. Которая дала мне ее адрес.

Она не хотела этого делать. И пришлось объяснить ей, кто я. И зачем ищу Терессу. Она смотрела на меня во все глаза. Она была в курсе всей этой истории. Возмущалась. И рассказывала, и рассказывала. И от нее я узнала массу пикантных подробностей. Как 18-летняя девочка терпеливо ждала, пока мой муж примет за них обоих какое-нибудь решение — потому что он сказал ей «не волнуйся, малыш, я что-нибудь придумаю». А когда поняла, что ждать его бессмысленно, делать аборт было уже поздно. И от отчаяния она пыталась избавиться от беременности и так, и эдак, пила всякую отраву, и поднимала непосильные тяжести, и чудом не порвала себе все внутренности, а сейчас впала в депрессию и не хочет ни с кем общаться, не выходит из дома и впускает лишь эту самую подругу — потому что подруга носит ей еду. А иначе она бы и не ела ничего. А еще ее собираются отчислить из института за пропуски, и уже пошли зачеты, нужно срочно что-то делать, и о чем она думает, непонятно, ничего не хочет слышать… Говорит, что ей — все равно.

Меня она впустила. Это невероятно, но она по-прежнему считала себя виноватой передо мной. И даже — перед моим мужем. Она не винила его ни в чем. Что взрослый мужик мог бы проявить большую ответственность и сострадание, ей и в голову не приходило.

Мне удалось ее расшевелить. Разговорить. И даже заставить ее улыбаться. И слегка опустить на землю сияющий образ ее возлюбленного божества. И почувствовать если не гнев к нему — то хотя бы какое-то сочувствие к себе самой. Желание — выкарабкаться из этой истории. Желательно здоровой и невредимой.

Я расспросила ее о родителях — и уговорила срочно ехать к ним. Отругают — но помогут. Судя по тому, что она рассказала, это были нормальные

люди, не звери, и сочувствие к своему попавшему в беду детенышу должно было пересилить ожидаемый ею гнев за ее «плохое» поведение.

Я помогла собрать вещи и отвезла ее на вокзал. Она плакала на перроне — и улыбалась сквозь слезы — и благодарила меня! От ее благодарности мне было тошно. Я чувствовала себя преступницей. Или — сообщницей преступника. Что, по сути, одно и то же. И сейчас — исправляла ли я вину или избавлялась от проблемы, отправляя ее подальше, под присмотр родителей?

Она пообещала держать меня в курсе.

И через какое-то время она и впрямь появилась, и рассказала, что все позади, мама договорилась с кем нужно, и ей сделали аборт на поздних сроках. Выглядела она не лучшим образом, но улыбалась и говорила об учебе — что мама перевела ее на заочное, это лучше, так как ей не хочется возвращаться в прежнюю жизнь, а так — будет жить дома, работать и приезжать на сессии. Что все, что случилось с нею, — как страшный сон, и не надо ей никакой любви, даже вспоминать не хочется. И я… испытывала облегчение. Оттого, что она жива — и не беременна. И оттого, что уезжает, и не будет маячить у мужа перед глазами. И оттого, что у нее самой пропало всякое желание его видеть.

Я так дорожила своей семьей, ее покоем, будущим ребенком, что предпочла выкинуть эту девочку из головы. И не думать о том, что было с нею дальше. Как она пережила это первое свое взрослое разочарование. Как отразился поздний аборт на ее здоровье. Смогла ли она окончить институт — или потихоньку забросила его под каким-нибудь предлогом из-за нежелания лишний раз травить себе душу воспоминаниями.

Я старалась не думать о ней. Не помнить.

Потому что иначе мне пришлось бы задуматься о своей семье. О человеке, которого я любила и за которого готова была драться. Которого так боялась потерять, что у меня не хватило духу отойти от него на несколько шагов — чтобы взглянуть на него со стороны. Потому что тяжело жить с тем, кого не уважаешь. Перестаешь уважать себя.

Проще — не думать.





АНЖЕЛА БЕЦКО

Городские мотивы

* * *

Я полюбила одногорбого верблюда
Однажды вечером в промокшем зоопарке.
Мучительно, надсадно ворон где-то каркал
(Живи хоть триста лет — простуда есть простуда!)
День растекался в рыжих лужах. День насмарку!

Ботинки убеждались в верности прогноза
(Синоптики опять, увы, не промахнулись),
И задыхался зонт от измороси улиц
        Нам хлябь показана, хотя в ничтожных дозах,
Чтоб иногда к теплу домашнему тянулись).

Ботинки, перестав предсказывать дорогу,
Бездумно мерили количество осадков,
Примерно равное количеству припадков,
Рожденных в мутно-сером скользком диалоге
Природы с человеком. А косые складки

Дождя ложились на испуганных фазанов,
Павлинов стаю, что, хвостов не распуская,
В углы вжималась ей предложенного рая,
На статуи двух розоватых пеликанов,
Нас осчастлививших визитом из Китая.

На моего верблюда, застившего небо,
На глыбу странную, зажатую решеткой,
На глыбу трогательную, губами робко
Берущую с руки моей кусочки хлеба,
Глядящую в глаза мне мудро, нежно, кротко…

Колыбельная

У бессонного окна
Тихо, на носочках,
Ходит-бродит тишина,
Ходит-бродит ночка.

Тете снова не унять
Тоненьких ручонок.
«Боль тебе не рассказать…
Засыпай, галчонок.

Нынче в мамины глаза
Не глядятся глазки…
Золотая стрекоза
Шепчет, шепчет сказки.

Руки мамы — два крыла —
Вынесли из бездны.
Бездна маму забрала,
Птенчик мой болезный.

В косы мамины вплелась
Голубая речка…
Ты для счастья родилась.
Спи, мое сердечко».

Наряды

Платье примерила белое
(Словно невестой была).
Нежная, чистая, смелая.
Все я тебе отдала.

Платье примерила черное
(Я и вдовой не была).
Господи! Вольному — вольное.
Рядом с тобой не жила.

Платье надела я красное.
Как же я в нем хороша!
…Да не скули ты, несчастная,
Словно собака, душа!

* * *

С тобой говорили о разных вещах:
Об истинном, ложном в искусстве,
О сочности мяса говяжьего в щах,
О пошлом и низменном чувстве,
О том, что твой папа любил рисовать
(Хорошим бы стал маринистом),
О том, что на свете есть стол и кровать,
Где должно быть честным и чистым,
О том, что картины стоят у стены
(Все занятость — надо повесить!),
О том, что давно жить мы вместе должны,
Но нужно домой: уже десять.

Метаморфоза

Ты бабочка, вспорхнувшая с листка,
Нацеленная в призрачный эфир.
На крылышках — два глаза, два зрачка,
Оправленных в мерцающий сапфир.
Твой бархат нем, но звонкие шелка
Поют о том, что создал ювелир
Вспорхнувшую с уснувшего листка,
Где только что прошелестел верлибр.

* * *

Февраль. Февраль. Зима на убыль…
Я знаю все о феврале:
Как стынут на морозе губы,
Когда целуют их во мгле,
Как колоколом ходит платье,
Когда вплетается в подол
Вдруг ветер; как твои объятья
Над всем творят свой произвол.

* * *

Тополя, как изваяния,
Замершие в адской муке.
В наказанье, в назидание
Отрубили, бедным, руки?
Отсекли с размаху головы,
Чтоб напрасно не вертели?
Тополя — голее голого…
Как скульптуры Церетели.

* * *

Багровая луна за стеклами
Рассерженная и распухшая.
Глаза невидящие. Блеклыми
Все вещи делаются, скучными.
Ушною раковиной чуткою
Ловлю пространства пробуждение.
Спит и во сне шевелит губками
Любимое стихотворение.



ВЛАДИМИР СТЕПАН

Улицы и люди

Герой

Это была самая большая драка, которую мне довелось видеть в маленьком городском поселке. Мне тогда шел тринадцатый год. Дрались человек сорок, аж черно было за клубом, а еще и зрители. Драка началась, закружилась, закричала, заревела разными голосами. Но только разгорелось месилово, как в парк за клубом приехало четыре милицейские машины, фары выключены. Повыскакивали менты, свистеть начали, хватать и месить резиновыми дубинками всех, кто во дворе толпился и дрался. Те, что бились, начали разбегаться, прыгать через кусты и клумбы в майскую темень. Брань, стоны, вопли и глухие звуки ударов резиновой дубинкой по ногам и спинам сопротивляющихся, задержанных и убегающих.

На следующий день Витька Курмаз ходил со сломанным средним пальцем на правой руке. Вытаскивал ладонь из кармана и показывал палец в гипсовом футляре. Витька стучал тем пальцем по спинке скамейки и рассказывал, как в темноте один из нездешних ментов схватил его за руку и начал выворачивать. А Курмаз сумел повалить сержанта и убежать. Палец демонстрировал, как медаль, полученную за подвиг. Неделю Витька ходил героем. Неделю его угощали вином и пивом, неделю он рассказывал про здоровенного, как шкаф, сержанта, из-под которого он едва выбрался.

Раскрыла Витьку наша соседка тетя Нина, по кличке Москалиха. Она и рассказала, как Витька бежал по лестнице, споткнулся, разбил морду в говно и сломал палец. Нина Москалиха весила килограммов сто двадцать, а ее муж дядя Коля так и все сто пятьдесят. Курмаз весил килограммов пятьдесят и против семейки Москалихи был, как тумбочка против двухстворчатого шкафа.

Это было в мае 1971 года. Цвели каштаны.

Зуб

Пятиклассник и семиклассник сцепились драться с восьмиклассником. Сцепились на школьной площадке, под баскетбольным щитом с лохмотьями сетки на ржавом кольце. Восьмиклассник хотел убежать, бросился к дыре в заборе, но пятиклассник упал ему в ноги, восьмиклассника сбил.

Потом пятиклассник и семиклассник бежали по Набережной. Их руки и одежда были в крови, а на лицах улыбки. Пятиклассник вдруг остановился, потому что хотел показать семикласснику, как у него шатается широкий передний зуб. Показал. Бело-розовый зуб остался в грязных пальцах.

Снег

Снег мягкий, рыхлый и тяжелый, а руки горячие. Снег скрипит, клеится. Я злобно прицеливаюсь. Размахиваюсь и бросаю увесистый снежок в окно на первом этаже. Промахнуться с десяти шагов невозможно. Вдруг за черным стеклом появляется Лариска с малым Вовчиком на руках. Я закрываю глаза и опускаю голову. Снежок уже летит. Он тяжело бьет в стекло, разваливается, и куски медленно объезжают по стеклу. Ноги меня не слушаются, и руки не слушаются, и язык не слушается. Лариска, старшая сестра Виталика, маленькой ладошкой своего Вовчика притрагивается к тому месту, где разбился снежок.

Улица Октябрьская. Дом 7. Номер квартиры 15.

Декабрь, 1969 год.

Свист

Витька чуть пригибался. Набирал полную грудь воздуха. Вставлял четыре пальца в рот и свистел. Так громко и резко, так сильно, что у меня закладывало уши и начинало покалывать в голове. Витька довольно вытирал о штаны мокрые пальцы и смеялся. Мы стояли на Октябрьской, рядом со своим домом. На балконе появился Володька, замахал руками и прокричал, чтобы мы подождали его. Володька сбросил нам с четвертого этажа мячик. Синий резиновый мячик с белой полосой упал с высоты и, тяжело подпрыгивая, покатился по асфальту к нашим ногам. И мне, и Витьке было по двенадцать, а Володьке тринадцать.

Это воспоминание о звуке.

...Тот синий резиновый мячик летел Витьке в лицо. Витька отвернулся и наскочил на железную стойку, на которой крепился баскетбольный щит. Ударился о ржавый уголок, из которого была сделана вся конструкция, ударился лицом и выбил два передних зуба. Он не обиделся ни на меня, ни на Володьку. Бывает...

А вот свистеть громко и резко Витька перестал, не получалось.

Завистью вспыхнул
Мальчика взгляд.
Вот птица летит.
Летит —
И свистит.

Так написал японец Исикава Такубоку. Всегда почему-то думаю, что эта танку про моего друга детства Витьку Сушка.

Минус сорок

Юркину одноклассницу звали Римма. Странное для гэ. пэ. имя у девчонки. Подростки жили в соседних домах. По вечерам Юрка стоял на балконе и смотрел на окно соседнего дома. Смотрел, пока не сдвигались темные шторы и окно гасло. Он так и не признался однокласснице в своих чувствах. Этой весной, гуляя по Октябрьской, я остановился и сфотографировал балкон на третьем этаже и окно на четвертом. На балконе курил грузный мужчина. Это был незнакомый мне человек, но смотрел он на соседний дом. За окном

четвертого этажа, где жила Римка, мелькнула женщина в пестром халате. Светлые шторы...

Во дворе весенний ветер раскачивал белье на веревке, но мне не было грустно. Совсем.

Галя

Моему однокласснику Сашке Дробышу дали за убийство мужчины с улицы Гомельской тринадцать лет. Говорили, что если бы не адвокат, который сильно помог, то получил бы Сашка восемнадцать. Дробыш отсидел десять и больной вернулся в гэ. пэ. Сошелся с Галей, у которой были взрослые сын и дочка. Галя переехала в квартиру родителей Дробыша. Старый Дробыш переписал квартиру, гараж, машину не на родного сына, а на невестку. Переписал и помер. А через два года помер от туберкулеза и Сашка. У Дробыша был младший брат, который жил в Сибири. Митя Дробыш приехал на похороны старшего брата, но опоздал на день, так как не было самолета. Галя и двери родительской квартиры ему не открыла. Сказала, что и на порог его не пустит. Митя пролетел, проехал, снова пролетел более трех с половиной тысяч километров, переночевал у старой соседки и уехал. Даже на кладбище к родителям и брату не зашел.

Холод

Весенняя вода — огонь. Она обжигает так сильно, что сжимается все. Даже глаза и зубы становятся меньшими, а писюн превращается в сморщенный стручок гороховый. Но что нам огонь! Нам по одиннадцать лет. Исчезали льдины, коричневая вода становилась свинцовой, и мы бежали на озеро. Медленно раздевались догола. Крестились и прерывисто дышали, на воду не смотрели, потому что боялись, что ее суровый вид заставит одуматься. Смотрели в небо, а потом на свои писюны. Витька разгонялся и прыгал с невысокого отвесного берега солдатиком. Брызги летели и били, как осколки стекла. Я подходил и щупал мокрый огонь сначала правой, потом левой ногой. И теперь так делаю. Выдыхал воздух и быстро, как самоубийца, нырял. Сергей же голосил и ревел, словно кожу с него заживо сдирали, и медленно шел в озеро, глубже и глубже.

Потом стучали зубы, и мы, обожженные огнем весенней воды, мерялись сморщенными писюнами. Не у кого больше, а у кого меньше. Мы тогда жили на Октябрьской, в одном доме, но в разных подъездах.

Три спицы

Был жаркий майский день семьдесят первого года. Такой горячий, что мне захотелось лимонада. Сам себя видел с темной бутылкой шипучего и прохладного напитка. Представлял, как буду ехать на велосипеде по шоссе и пить из горлышка тот лимонад. Подъехал к придорожной одноэтажной закусочной. Поставил у высокого крыльца велосипед и поднялся внутрь. Пока стоял в очереди и покупал лимонад, прошло не так и много времени. Вышел на крыльцо с холодной бутылкой, глотнул, огляделся, а моего велосипеда нет. Украли мою «лайбу». Я забежал в магазин и закричал. Что кричал, так и не вспомню. Продавщица на крыльцо вышла. Под стеной стоял синий добитый велосипед и детский трехколесный. Продавщица предположила, что, может, это Василь

на моем велосипеде по ошибке уехал, а свой здесь оставил. Сказала, плечами повела и за прилавок вернулась. Я нашел дом Василя в переулке. Когда хотел открыть калитку, то на дверь кинулся пес, цепью загремел. Пьяный Василь появился только через час. Он шел по улице, а мой велосипед катил в руках. Громко на всю улицу Западную пел: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...»

Три выбитые спицы на переднем колесе сухо щелкали, царапая вилку.

Острога

Американский фильм «Спартак» крутили три дня. На всех сеансах зал кинотеатра был полон. Я сходил на фильм дважды, но если бы повезло достать синий билет за двадцать копеек, то сходил бы и еще. Спартака все жалели. Классный мужик — настоящий герой. Всем хотелось продолжения фильма. Вторая серия случилась ранней весной.

Центральная мелиорационная канава из тихой и мелкой стала бурной и пенистой. Течение такое, что с ног валило. На «централке» били острогами щук, которые поднимались в болото на нерест. Стояли парни на скользких камнях и пороли рыбу. У меня не было остроги, и я только с железнодорожного моста мог наблюдать за взрослыми.

Настоящая драка начинается чаще всего с пустяка, с шуточки, с жеста, с кукиша, с кривой и пренебрежительной ухмылки.

Леник Балбас выскочил на берег, и Вашкевич вылез. И начали они драться. Леник первым схватил острогу. Вашкевич отскочил. Помните, как Спартак дрался на арене с негром. У негра-гладиатора острога и сеть, а у Спартака короткий меч и маленький щит. Драка на берегу «Централки» была короткая. Вашкевич поскользнулся, на берегу еще белел плотный снег. Ленька прижал его к земле, стал ногой на грудь, упер зубья своей остроги ему в горло. Мы все кричали, показывали большим пальцем в землю. Но Ленька решил подарить Вашкевичу жизнь. Он поднял острогу и отошел на несколько шагов. Вашкевич вскочил и толкнул Леньку в спину. Тот покатился и упал в бурлящую пенистую канаву. Парня несло, крутило, било о камни. Вытащили Леньку метров за пятьдесят, уже за мостом. Он был едва жив. Его острогу, сколько ни искали, так и не нашли.

Вашкевич получил прозвище Спартак.

Яд

Николай Пигулевский ездил на велосипеде без рамы. Щитки на его велике — завидные, хромированные, блестящие. А сам велосипед обычный — бабский. Мне было десять лет, а Николаю пятьдесят. Он крутил педали правой ногой, а левую держал прямой, так как она не сгибалась в колене. Скрипят колеса, потрескивают и стреляют камешки. Пигулевский, тяжело дыша, едет сначала по Октябрьской, потом по Школьной, и на шоссе. Он катит на своем бабском велике на карьер кирпичного завода. Пока он проедет рядом со старым колхозным садом, я обгоню его. Перенесу свой велосипед через железную дорогу и помчусь вниз с откоса по утрамбованной тропинке к кирпичному заводу. А он будет крутить одной ногой педали, будет тяжело дышать и бормотать себе под длинный и тонкий нос что-то непонятное. К тому времени, когда Пигулевский доберется до кирпичного завода, я уже закину свою удочку в непрозрачную, как какао, воду карьера, притихну в ожидании рыбы. Пигулевский остановится шагов за десять от меня. Неспеш-

но отвяжет от своего велосипеда пук бамбуковых трехколенок. Разберет и составит удочки, нацепит на крючки вертких червей и забросит в молчаливую и неподвижную воду. Далеко забросит, удочки у него длиннющие. Как три травинки, будут торчать одинаковые красные поплавки. Пигулевский сядет на раскладной стульчик и станет ожидать большую рыбу.

Это я согласен на любого карасика, а ему надо только большой. Он сидит неподвижно. Вытянутая, как палка, нога торчит из брезентового плаща с капюшоном. Кепка, папиросы. Рядом клеенчатая сумка, а в ней фляжка с водой.

Вы не знаете, что будет дальше, а я знаю. Пигулевскому надоест смотреть на неподвижные поплавки, курить надоест, он достанет из кармана маленькие, как блокнотик, шахматы и начнет играть. Изредка будет поглядывать на воду. Через час поменяет червей, на веселых и резвых. Взойдет и станет над колхозным садом палящее летнее солнце. Высохнет роса на траве, а Николай Пигулевский будет вести игру с бело-черными маленькими лошадками и пешками...

Однажды Пигулевский собрал маленькие шахматы и спрятал в бездонный карман плаща. Позвал меня к себе. Я подумал, что он меня конфетой угостит или крючок подарит. Пигулевский же вытащил из сумки газету. Бережно развернул и показал несколько столбцов стихов, под которыми я прочел его фамилию и имя. «Это мои стихи, — неуверенно, как мне показалось, произнес взрослый мужчина и ткнул пальцем в столбики слов. — О природе».

Вот так, на берегу карьера, с недвижимой, как неживой водой, я впервые поговорил с поэтом. Было жарко. Поэт Пигулевский дал мне напиться из своей железной фляги. Самая обычная вода из-под крана. Но сегодня мне кажется, что именно тогда я и глотнул яда.

Миха

Фотография седьмого «Б». На ней есть я, есть Ленька, есть Миха... И остальные тридцать девять школьников на ней.

Миха пришел к однокласснику Леньке на свадьбу скучноватый. Свадьбу устраивали в доме невесты на Второй Западной. В саду построили павильон, обтянули его прозрачным целлофаном. Длинный стол и скамейки поставили, лампочки повесили, чтобы светло было. Два дня гулять собирались, гостей пригласили, да и соседи по улице — люди не чужие, с подарками поприходили. Единственную, дорогую и любимую дочь Светлану родители отдавали замуж.

Миха пришел в сером костюме, белой рубашке и светлых ботинках. Он с женихом три года за последней партой сидел. На свадьбе той и танцы были, и драка. Утром, когда Миха сидел в целлофановом павильоне и курил, то невеста из спальни с криком выбежала. Молодому мужу стало плохо...

Через три дня Леонида схоронили. Сердце. Миха и на похороны пришел в том же сером костюме. Только рубашка не белая, а черная, на все пуговицы застегнута.

Мальчика, которого Светка родила, назвали Леней, но он — вылитый Миха, как на той фотографии, где нам по двенадцать.

Яблоко

Женщину ту я не знал. А мужчину знал хорошо. Валику было сорок два года, и работал он на заводе мастером. Он вышел из дома во двор. Постоял босиком на прохладных и влажных досках крыльца. На левой щеке, от виска до кадыка,

темнело четыре царапины. Валик отщипнул яблоко, откусил и вернулся из-под ранетки на крыльцо. Стоял и не знал, куда девать надкусанное яблоко. Четверть часа назад он убил свою любовницу. Босиком, с яблоком в руке, Валик пришел к соседям. Разбудил. И сказал соседу, который смотрел на яблоко в руке Валика: «Вот такая она, любовь, а вы думали, шуточки…»

Пока ехала милиция и «скорая», Валик рассказывал соседке и соседу, в какое платье и какие туфли нужно нарядить покойницу.

А яблоко Валентин бросил, когда надели наручники.

Баба Настя

Я жил на Октябрьской, а Юрка на Коммунальной. Они жили на втором этаже, в обитом широкими досками бараке. Там все было деревянное и скрипело. Мне нравилась лестница пожарного цвета. И дверь в квартиру красная, она пожарный щит напоминала — такая яркая, хоть и грязная. Сразу скажу — никто не сгорел, и этот текст не про пламя. У Юрки была баба Настя. С ними жила. Сколько раз я ни заходил в квартиру с огненной дверью, почти всегда слышал от старухи: «Что б тебя, Юрка, пранцы съели!»

Я тогда думал, что бабка про французов каких-то говорит. Мне не хотелось, чтобы Юрку французы сожрали...

Невероятно, но слова бабы Насти сбылись. Через сорок лет сифилис Юрку с Коммунальной сожрал. Интересно, знала о могуществе своего слова старуха с лицом обезьянки?

Сергей

Школ в гэ. пэ. пять: вечерняя, музыкальная и три обычные.

Удивительно, но не помню хоть кого-нибудь, кто готов был погибнуть, жизнь отдать за школу. Даже отличников таких в моем гэ. пэ. не было. Хотя учителя и твердили, что школа для каждого из нас — родная, а годы, проведенные за партами (звучало, как за решеткой), останутся с нами навсегда.

А вот за свой двор, за дом, за улицу, за гэ. пэ. — можно и жизни не пожалеть. Наивно, непоследовательно? Но так и было. За свою улицу дрались. Октябрьская против Чапаева. За дом дрались — пятый на третий, первый против седьмого.

Много могу вспомнить примеров настоящего, как дворового, так и уличного патриотизма. Сергею расквасили лицо. Глаз подбили. Это не драка была, в хоккей играли улица на улицу. Сергей доиграл, добегал до самого конца. Октябрьская победила Первомайскую. Подростка никто не заставлял остаться на льду, и не просили даже.

Сергея убьют на границе в семидесятом году. Он был сержантом Советской Армии. За улицу, за школу, за что?

Блестящий Шарик

Есть у меня воспоминание. Иногда всматриваюсь в него, думаю. В зале провинциального ресторана шесть посетителей. За одним из столиков четверо мужчин. А за дальним, рядом с открытым окном, в котором серые тополя, ржавые крыши гаражей, куски мягкого синего неба с облаками, парень и

девушка. На столе допитая бутылка сухого вина. Два бокала, один с вином. Парень, его зовут Игорь, сворачивает, сжимает, скручивает в шарик фольгу от съеденной шоколадки. Получается блестящий шарик. Игорь то и дело подбрасывает его и ловит своим бокалом. Светка улыбается и смотрит на Игоря.

Четверо мужчин — мои приятели-одноклассники: Толик, Витька, Виталик, Шурка. Кто с какой улицы, в девяностом году значения уже не имело абсолютно. Мужчины пьют водку, а запивают пивом. Курят все четверо. Виталик отсидел два раза. Год назад ему ампутировали ногу. Шурку зарежет в девяносто третьем старший родной брат, который досрочно выйдет из тюрьмы. Витька в девяносто пятом сорвется с крыши, и его привезут к родителям в инвалидной коляске. Он поживет полгода и сбросится с балкона. Толик будет попадать за решетку, выходить и попадать снова. Последний раз его поймают, когда он будет тянуть со стройки самые обычные двери. Об этих четырех приятелях можно рассказывать долго и интересно...

Но про их жизни мне все известно, так как они не сложились...

Меня интересует парень с девушкой за столиком рядом с окном. Он снова подбрасывает блестящий шарик и пробует словить выпуклым бокалом. Шарик покатился по полу к моим ногам.

У Светки с Игорем жизнь сложилась, но кроме как о том блестящем шарике, мне и рассказать нечего.

Конфеты

Настоящий друг всегда только один.

Мы с Володькой помогли моей соседке тете Нине перенести из сарая в квартиру двенадцать пустых трехлитровых банок. Соседка закатывала огурцы и помидоры. Принесли и не разбили. Володька схватил мой мячик и побежал на школьную площадку. Соседка пересмотрела каждую банку и дала мне две большие шоколадные конфеты. Понятно, что одну мне, а другую Володьке. Как же иначе. Я свою съел в подъезде, фантик выбросил, рот вытер. Побежал к школе. Мой друг один гонял на пыльном стадионе мячик. Я, радостный, отдал Володьке конфету. Он развернул фантик. Посмотрел на меня. Я сделал вид, что конфета была всего лишь одна. Слюну проглотил, когда вспомнил ее вкус. Володька откусил половину, а другую протянул мне. У меня покраснели уши, когда взял и начал есть. Мой друг подфутболил мяч. Он завис в воздухе над пыльным стадионом. Потом мяч упал и начал прыгать. Бух-бух-бух...

Я вытирал рот и следил за мячиком. Школы на улице Октябрьской, где мы учились, нет. Вместо нее — детский сад.

Володькина конфета оказалась вкуснее.

Десять-одиннадцать

Мишка Мармуль сидел под пальмой в фойе Дворца культуры и играл на черно-белом баяне вальсок. У Мишки Мармуля нет самопала, рогатки, ножика, самодельной клюшки. Мишка толстый и неуклюжий. Он не умеет нырять солдатиком, плавает только по-собачьи, не умеет съезжать с ледяной горы на ногах, всегда падает на задницу и сунется, как мешок с картошкой. Он не матерится, не крадет у отца папиросы, не умеет водить мяч.

Я стою рядом с гардеробом, мну зимнюю шапку и смотрю, как короткие пальцы бегают по костяным кнопкам, как Мишка морщит нос и притопывает

себе кирзовыми сапогами. Рядом с моими ногами растеклась по чистому паркету грязная лужа растаявшего снега. Мишка даже прикрыл свои лупатые глаза. Хотя родители и учителя ставят его в пример, но Мармуля не за что уважать.

Мишка с казенным баяном остался под пальмой, а я пошел. Мне было десять, а Мишке одиннадцать. Я мог подойти и так толкнуть Мишку в бок, что он полетит под пальму и начнет реветь.

Но Мишка играл вальсок, а мне не хватало воздуха.

Денатурат

Денатурата я не пил, но вид его мне нравился всегда. Радостный анилиновый цвет волновал. Сразу понятно, что горит звонко-прозрачная и вонючая жидкость отлично. А мужчины пили, видел своими глазами. Глотали, морщились, салом заедали.

Ефимчики жили в третьем доме. Две дочери, брат и родители. Старший Ефимчик мелкий и худой, а его жена дородная, в грязном сатиновом халате с закатанными рукавами. Руки, как ноги. Она всегда кричала на пацанов, чтобы к ее дочкам не лезли. А к ним никто цепляться и не собирался, так как они — дуры. У Ефимчиков в сарае свиньи. Они растили тех свиней, кормили помоями из столовой. Носили те помои в грязных ведрах по Октябрьской, расплескивали. Только отец не носил, такой он слабый и худой. Уже второй год он страдал желудком. Ему даже операцию делать отказались. Чтобы не мучиться, Иван Ефимчик решил покончить жизнь самоубийством. Взял бутылку денатурата и поднялся на чердак. Там выпил голубую жидкость всю до последней капли и рухнул лицом в птичье дерьмо. Вечер и ночь на чердаке лежал. Нашла его соседка, когда понесла на тот чердак белье сушить. Крику наделала, голубей распугала. Иван еще дышал. Увезли в больницу. Через неделю Ивана выписали домой. Выписали, а он не умирает. Месяц не умирает, другой не умирает. Все ждать перестали. Иван сходил провериться, а ему врачи сказали, что он здоров и внутренности как новые. На Рождество Ефимчики одну свинью убили, а перед Пасхой другую. Докторам свеженину всей семьей носили.

Денатурат стали уважать не только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой... Я палец в голубоватую жидкость помочил и лизнул. Не понравилось, дрянь.

Любовь

У Семена Ковальчука брюки клеш, белый широкий ремень, туфли на каблуках, рубашка мандариновая с большим воротником. У Семена электрогитара самодельная и волосы длинные. У Семена Ирка-красавица и любовь. У Ирки круглое, как яблоко, лицо, волосы золотые, кудрявые, губы пухлые красные и любовь. Завидуют все Семену с Иркой. Семен песни пишет и своей девушке поет. Голос у Ковальчука сладкий, но негромкий. Я мог громче и пронзительней крикнуть, но песен я не сочинял, на гитаре не играл, Ирка меня не замечала. Мне же только двенадцать, а Семену шестнадцать. В таком возрасте четыре года расстояние огромное — не перепрыгнуть. Завистников у влюбленных всегда хватает. Учительница рассказала родителям Ирки, чем такая любовь может закончиться. Родители на дочь накричали, на улицу по вечерам пускать перестали. И на Семена кричали, оскорбляли...

Говорили даже, что мать дочку к женскому врачу в Гомель возила. После этого Ирка с Семеном решили покончить жизнь самоубийством. Ирка выше, чем на три ступени, залезть боялась. Сразу млела. Потому влюбленные договорились, что яд глотнут в один день, в одно время. Как договорились, так и сделали. Что влюбленные глотали, не знаю, но точно, что лекарство. Семену стало плохо. Он пальцы в рот, и его вывернуло. Потом воды выпил, и его опять вывернуло. А потом он бросился к Ирке. Она лежала на диване и едва дышала. Приехали врачи. Девушке зубы разжали, шланг в рот вставили, желудок промыли. Потом в больницу увезли...

Ирка с Семеном после больницы совсем не разговаривала, а Семен и сам не хотел. Вот такая история на Второй Западной улице случилась.

Витька Рыжий мне сказал, что врачи из парня с девушкой все любовь до последней капли вымыли тогда марганцовкой розовой. Я Витьке поверил, ведь он на два года старше.

Общежитие

Сирот из интерната местные никогда не били. Хабзайцев молотили, а детей в серых пальто и одинаковых ботинках не трогали.

Четырехэтажное кирпичное здание стояло за забором. Калитка, ворота железные, забор кирпичный. Не нравилось мне здание.

Кружок изобразительного искусства в клубе посещали два подростка из интерната. Меньший — Мишка Горбачев. Второй — восьмиклассник Ленька. Он на два года старше Мишки. Ленька рисовал плохо, а Мишка здорово. Они ходили в кружок с осени, с первого сентября. После зимних каникул не появились пару раз, и руководитель кружка послал узнать, почему ребята не ходят. В интернате было чистенько, светло и тепло. Я встретил Леньку. Он сказал, что Мишка рисовать не будет. Когда выходил, то заметил Мишку. Говорили не очень долго. Мишка признался, что Ленька ему запретил рисовать. Я развернулся, хотел найти восьмиклассника, чтобы дать в рыло, но не нашел. Ленька где-то спрятался. Через две недели Мишка убежал из школы-интерната. Не нашли...

Интернаты, тюрьмы и больницы всегда далеко, даже если они и на соседней улице...

Корыто

«Апрогся», — просто сказала про своего сорокалетнего зятя тетя Нина. Они жили на Октябрьской в третьем доме. На окнах были белые занавески, а на балконе висело серое жестяное корыто.

Женька — мой одноклассник, когда хотел меня позвать, то стучал кулаком по дну. Жесть гудела на всю улицу.

На родительских похоронах Женька молчал.

Будильник

Старики, а особенно старухи, бросать камни не умеют...

Москалиха ходила по улицам гэ. пэ. обычно в длинной черной юбке, платке, надвинутом на глаза, в коричневой кофте и домашних тапках. Ходила быстро и бесшумно. Мелкая старая тетка, пригнувшаяся и запуганная жизнью. Мы — дети,

бегали следом, крутились вокруг и кричали: «Будильник-будильник-будильник!» Она ругалась, могла неумело швырнуть камнем и не попасть...

Говорили, что Москалиха раньше работала на заводе уборщицей. В конторе пол мыла, мусор выносила. Там и украла из директорского кабинета будильник. Наверно, так сильно понравился, что не смогла сдержаться. Спрятала под юбку, а когда выходила с завода, то он начал звенеть. На проходной и подал голос. Вора задержали и с работы уволили. Хоть и давно неприятность случилась, но о ней не забыли. Старуху обзывали «будильником», а она злилась.

Она могла идти по улице, пусть и по Октябрьской. Внезапно остановиться, сложить ладонь ракушкой, прижать к уху. Стоять на одном месте и поворачивать только голову. Довольно долго могла так стоять и слушать только ей одной слышимое. Может, далекое, а может, и близкое...

Эти ее неожиданные остановки посреди улицы пугали. Может, она слышала, как бежит-капает время. Абсолютно невидимое, как воздух. Может, она знала, что каждому прозвенит будильник, и тогда его уволят. Мне кажется, что я делаю старую тетку слишком мистичной и значительной личностью, а она — самая обычная воровка, попавшаяся на краже часов.

Но что же она так внимательно слушала?

Козырь

Витька старше меня года на три. Кажется, его отец служил милиционером. Хотя Витька и старший, но мы над ним издевались, били и унижали. Парень если и обижался, то через минуту забывал о своих обидах и снова усмехался дружелюбно. Стоял и смотрел на то, чем мы занимались, моргал голубыми глазками, тер большущей ладонью щеку...

Прошло-пролетело сто лет.

Вот Витька на автобусной остановке. С шоссе к остановке подъезжают автобусы, из них выходят люди. Подъезжают маршрутки и заполняются пассажирами на Гомель. Дородный мужчина в сером пальто с одной пуговицей стоит и провожает взглядом автомобили. Как все старики, он поворачивается вслед тому, что исчезает, не головой, а всем телом. Начинается дождь. Витька ощупывает карманы и достает два рыжих сухаря. Дует на них и начинает грызть. Он ест, как старая беззубая обезьяна, но аккуратно. Крошки не сыплются. У небритого Витьки Козыря толстые красные губы. Сравнение Витьки со старой обезьяной меня злит своей неточностью. Люди спешат, кто же будет стоять под дождем? Люди уезжают и приезжают. Только Козырь остается стоять. Многие из тех, кто когда-то бил и оскорблял идиота, давно на кладбище. Вдруг Витька поворачивается ко мне и дает сухарь. Он надкусанный, обслюнявленный. Моргает голубыми глазками, на одутловатом лице блестят капли дождя. Немного поколебавшись, угощение беру, потому что он — чистый. Витька удовлетворенно смеется и говорит: «И в Гомеле дождь».

Иду под зонтиком к площади. В руке сухарь, и я не знаю, что мне с ним делать.

Смех

Одноклассница Ленка Гронская жила на тихой улице в своем доме. У Ленки умер отец. Несколько восьмиклассников, которым Гронская нравилась, пошли на похороны. Классная отпустила с уроков. Мы пришли. Рядом

с домом уже стоял грузовик с откинутыми бортами, пара легковушек, курили мужчины. Ленка вышла к нам во двор. На ней все было черным: платок черный, ботинки черные, чулки черные, кофта черная... Выглядела она плохо, хотя раньше часто говорила, что отца не любит. Толик посмотрел на Ленку и поинтересовался цветом ее трусов. Одноклассница сначала сдержанно улыбнулась, а потом рассмеялась по-настоящему, а дальше уже зашлась хохотом. У нее началась истерика. Вышли из дома женщины. Испугались. Ленку начали поить водой с валерьянкой, давать маленькие пилюли...

На той улице был только однажды, когда одноклассница безумно хохотала на похоронах.

Кнут

Цыгане появлялись в гэ. пэ. весной и осенью. Когда сажали и копали картошку.

Запомнил, как цыган ударил кнутом своего цыганенка. У того аж рубашка разъехалась на спине. Цыганенок упал, начал крутиться на асфальте и кричать. А цыган-отец сел на телегу и поехал. Цыганенок, как собачка, побежал догонять.

В клубе шел фильм «Неуловимые мстители». Там геройствовал цыганенок Яшка в красной шелковой рубашке.

Встреча на Коммунальной

Иду по улице Коммунальной, а с тополей летит пух.

Мне довелось видеть тысячи ангелов. Изображенных на стенах соборов, выложенных из цветных камешков, высеченных из мрамора, вырезанных из дерева, отлитых из бронзы и железа, вылепленных из глины, пластилиновых и восковых. На досках икон и полотнах. Ангелов, изображенных на бумаге... Десятки тысяч рукотворных ангелов. И ни разу не видел настоящего — «живого». Разве так может быть? Ангелы существуют, но мне пока не посчастливилось увидеть.

По Коммунальной летит тополиный пух. Глаза начинают слезиться, и мне кажется, что под розовой трансформаторной будкой стоит он. При серых дверях, на которых чернеет отбитое под трафарет изображение черепа и молнии...

Слеза

Пока она доползла до середины щеки, то стала черной, как семечка в зрелом яблоке.

А за полчаса до слезы...

Небо чистое, безоблачное, июньское. Ветер резкий и горячий, но невидимый. И вдруг стало темно-темно. Заскулили собаки, зазвенели разбитые стекла, по Октябрьской с грохотом и лязгом летел и подпрыгивал огромный лист ржавой жести. Железяка застряла в кустах рядом со школой. Вода в озере сияла, как расплавленный свинец. Летели простыни, наволочки, рубашки размахивали рукавами, спрыгивали с балконов и кувыркались в воздухе. Соседка кричала и пыталась хватать белье, а майки и рушники разлетались. И не смотрела женщина на то, что ее юбка надулась и вот-вот

ветер подхватит и ее, белоногую. Подкинет и понесет над городком вместе с мужской рубашкой...

А потом вдруг стало тихо, и посыпалась коричневая пыль. И изменилось все вокруг неузнаваемо. Не так, как снег меняет, а совсем по-другому. Снег не прижимает душу к земле. А коричневая, как прах, торфяная пыль вызвала немоту и тоску.

Кино

Мне всего четыре года. У меня кашель. Мама привела меня на рентген. Там нас встретила женщина-врач в белом халате и валенках. В кабинете холодно и непривычно. Я расплакался, женщина-доктор, чтобы меня успокоить, сказала, что сейчас покажет кино. От такого обещания я успокоился и начал раздеваться. Меня поставили в кабинку. Пол поднялся. На грудь надвинулось холодное стекло. Погас свет.

«Плохое ваше кино!» — закричал я и заплакал.

«Что, что?» — не поняла и переспросила доктор.

Женщина-рентгенолог лет тридцать после того, встречая меня на улице, спрашивала: «Плохое было кино? Как ты вырос».

Последний раз мы встретились на площади. Светило яркое солнце, на каштанах белели цветы. Дул теплый ветер. Такой теплый, какой бывает только в мае. Она меня не узнала, хотя я снял темные очки и поздоровался.

Ее выписали из больницы.

Плохое кино.

Стрела

Из американских кленов тек сок. И с опиленных тополей, и из каштанов тек сок... Культистые деревья подпирали синее небо рядом с краснокирпичными гаражами. Из ветки американского клена Толик сделал себе лук. А дома четырехэтажные на Октябрьской розовели, как зефир. Под обрезанными деревьями сохло белье, и оно напоминало о снеге. Любка шла по улице. Ей было восемнадцать. Глаза серые... Толик стоял на грохочущей крыше гаража. В руках держал лук из американского клена. Одиннадцатилетний мальчишка положил на тетиву стрелу, сделанную из оконного штапика. Плюнул на пальцы и натянул свой лук.

Не говорите мне никогда о моей малой родине гадости. Никогда не говорите!

Захрипела натертая смолой тетива. Стрела ударила Любу в плечо. Вскрикнула девушка. Подняла стрелу и сломала сердито. К нашему подъезду заторопилась.

«Вот, бляха. Заметила! — плюнул Толик на кирзовый сапог. Люба пошла к родителям Толика. Она несла в руке поломанную стрелу. А родители — на работе.

В квартире Любу встретил Шурка, старший брат Толика.

Не говорите о моей малой родине некрасивые слова. Не говорите!

Ведь Толик — мой одноклассник и сосед. А его лук из американского клена и стрела из штапика оконного — волшебные. Шурка с Любой сорок два года живут вместе.

А Толик на небе.

Рука

Улица Садовая тихая. И люди там спокойные. Даже и рассказать нечего про эту улицу с частными домиками и красивым названием. Разве только о том, как на ней нашли руку. Пес вытащил руку на асфальт и потрошить начал. Увидел хозяин, приказал, чтобы цуцик гадость бросил. А пес бросать не хотел и к хозяину не шел... Потом и остальные части Толика находили: ногу, голову, туловище. Парни учились в одной школе, так как жили на Садовой. Толик уехал на шабашку первым, а потом и соседей в свою бригаду позвал. Женька с Игорем поехали, поработали. Говорили, что Толик не рассчитался. Вот они и не простили ему. Улица Садовая самой тихой и спокойной считалась, с Октябрьской или Первомайской — не сравнить.

Дратва

У нас в гэ. пэ. был безногий Юзик. Зарабатывал тем, что ремонтировал обувь. Он сидел в своем сарайчике, а вокруг него, как птицы — обувь. Самая разная, от маленьких детских ботиночек с ободранными носами до огромных сапог, плоские сандалии и лаковые женские ботики на толстых каблуках, калоши...

Юзик намазывает толстую серую нитку смолой, и она становится черной, похожей на тонкую проволоку. Называется эта нитка — дратва.

Безногие часто чинят обувь. Чужую...

Тир

Мне было девять, а другу одиннадцать.

Мы жили в одном подъезде. И сегодня, спустя сорок пять лет, я не могу толком ответить за тот наш поступок. Мы бродили по своему гэ. пэ. без определенной цели. От нечего делать даже сходили искупаться на карьер. Вода там желтая и непрозрачная, как какао. Трусы еще между ног не высохли, а мы пошли на шоссе, туда, где останавливались большие машины с нездешними номерами. Тогда по номерам мы знали, откуда приехала фура.

Мы с другом Володькой присмотрели на синей «Колхиде» свинцовые пломбы. Четыре хороших, размером с пуговицу, серых пломбы. Незаметно те пломбы открутили. А когда собрались тихонько уйти, тут и выскочил из кабины шофер в белых трусах и черной майке-футболке. Мы побежали, и он побежал. Мы были в кедах, а он босой. А бежать босиком по камешкам и битому стеклу — тяжело. Шофер кричал, что убьет нас, что разорвет на куски, что даст нам три рубля, если мы отдадим ему пломбы. Мы не остановились. Мы спрятались в тире, где работал знакомый моего отца.

Зачем нам были те пломбы, если свинца на тюхи и грузики и так хватало?

В тире, на полу, как шелухи семечек, было насыпано использованных серо-блестящих свинцовых пулек.

Улицы и люди

Сережка, по кличке Москаль, был моложе меня на два года, а весил килограммов на двадцать пять больше. Это сейчас к детям-толстякам относятся снисходительно, их жалеют, не оскорбляют. А в самом начале семидесятых

мы Москаля за человека не считали. Сережка как мог старался нас ублажить. Кому конфетку даст, кому пряник, кому горсть семечек в карман сыпанет, отцовским «Беломором» угостит. Но его не любили, а лишь терпели. Чтобы доказать свою значимость, Москаль побил Миколку. Он повалил дохлого Миколку, пару раз ударил, а потом сел ему на голову своей непомерной задницей. Мы смеялись. На самом деле смешно, как дохлый Миколка дрыгал ногами-руками, пытаясь выбраться из-под Москаля, а не мог.

Это было под акацией, на заплеванном пятаке земли, летом 1973 года. Миколка, когда Москаль вытирал руки и собирался отлить на ствол акации, тюкнул его красным кирпичом по затылку. Москаль осел, а потом повалился, как мешок с мукой, а его жирный живот колыхнулся упругой волной. Миколка хотел еще раз ударить Сережку, но мы не дали.

Свинец

Ртуть скользкая, а свинец ко всему цепляется. Разобьешь градусник — ртуть рассыплется, разбежится. Тронешь — умножится, разделившись на еще несколько мелких шариков. Ртуть я не люблю, а свинец мне нравится. Жидкий и горячий свинец напоминает высокое осеннее небо. Застывший — низкое осеннее серое небо.

Мы плавили свинцовую обертку проводов, плавили аккумуляторные мелкие решетки, пломбы, плавили свинцовые бруски. Бросали в консервную банку, ставили в пламя и смотрели, как твердое становится жидким. Как исчезает форма, а потом тяжело плещется и переливчато сияет все тот же свинец.

Отливали тюхи и грузила. И то и другое было нужным. Процесс превращения завораживал...

Славик не удержал банку, полную огненной жидкости. Славик был и не совсем виноват. Проволока перегорела. Кансервная банка кувыркнулась на мой резиновый сапог. На новый резиновый сапог. Запахло горелой резиной, потом носком. Я добежал до колдобины с водой. Сунул ногу в воду. Пошел пар. Нога была мокрая, но ожогов не было. На новом резиновом сапоге темнела мерзкая дыра.

Потом мы собрали свинец, который стал твердым и грязным. В нем была земля, камешки, трава. Но мы знали, что если расплавим заново, то весь мусор всплывет и его можно будет легко собрать алюминиевой ложкой, которую Славик унес из дома.

Последний раз я видел Славика лет тридцать пять назад. Этой весной я сфотографировал наш четырехэтажный дом на Октябрьской и те кирпичные изгороди, за которыми жгли костры и плавили свинец.

Надеюсь, что Славик жив.

Крыльцо

Дети, старшему одиннадцать, сидели в столовой, что на площади. На улице, под окнами, стояло несколько грузовых машин и две огромные фуры. Шоферы тех фур обедали, чтобы ехать в Ленинград. Вдруг появился дядька в хромовых сапогах и галифе. На нем был черный китель, а кепку дядька в руке держал. Он попросил у кассирши стакан обычной воды. Его можно было понять — туалет в столовой не работал. Виталик вдруг вскочил и пошел из столовой на улицу. Мы остались ждать украинских шоферов, которые компот

допивали, чтобы этикетки из коробочек со спичками обменять. Мода такая была в гэ. пэ. Шоферы подались на улицу, а мы следом. Начали этикетками меняться. Потом и дядька в сапогах вышел. Оглядываться испуганно начал. Кричать. Люди собрались. У дядьки украли велосипед.

И через час дядька сидел на цементном крыльце столовой, и через два сидел. Видимо, думал, что дети покатаются и вернут его черный велосипед с парой буханок хлеба на багажнике.

Площадь

Алик Царлюкевич признался в любви Райке. Алику — пятнадцати еще не было, а Рая три года как замужем, ребенок. Женщина смотрела на подростка и не улыбалась. Это происходило на площади, жарким сентябрьским днем, когда еще не верится, что лето закончилось. Алик немного ниже Раи, а может, это из-за прически женщина казалась высокой. Она хотела что-то сказать Алику. Подбирала нужные слова.

Со двора столовой на площадь выбежала серая сучечка, а следом хромой Джек. На площади Джек залаял и наскочил на серую собачонку. Рая пошла. А потом почти побежала по Октябрьской.

Джек спрыгнул с сучки и захромал во двор столовой, где гремели алюминиевые поддоны, где выгружали из машины продукты. Алик присел, схватил камень и бросил в собаку. Промазал. Сплюнул сквозь зубы на пыльный асфальт и пошел, руки в карманах, к автостанции.

Мы — подростки, сидели на фонтане и хохотали.

* * *

Бочки с пивом были рыжие и неприглядные, а пиво вкусное. Бочки те стояли на колесах, их прицепом привозила серая грузовая машина. Подключали два черных резиновых шланга, пускали воду, чтобы бокалы мыть, и торговали пивом. Бочек было три. Одна на площади, рядом со столовой, напротив фонтана. Вторая при шоссе, на автобусной станции, под каштанами, рядом с галантерейным магазином. Третья рядом с гастрономом. Вот ту, дальнюю, подростки с Октябрьской и сломали. Отогнули угол железной дверки. Виталик засунул руку и отвернул кран. Витька перерезал черный шланг, по которому грязная вода стекала в канализационный люк. Пиво начало выливаться. Пятеро подростков слили два ведра пива и принесли его в подвал под нашим домом. Они и меня приглашали тем пивом угоститься. Кричали из подвала через малое оконце, ржавой сеткой забранное, но я не пошел, потому что чем-то был сильно занят. Хоть убей, чем таким занят — не вспомню. Второе ведро пива ребята допить не успели. Милиционеры с дружинниками дверь в подземелье высадили. Потом Виталик на Витьку ругался, что тот кран в бочке не закрутил и милиционеры заметили, как пиво в канализацию текло...

Моряк

Улица Октябрьская заканчивается озером. Там еще и сегодня растут огромные тополя, между асфальтом и водой. Шурка похвастался, что перемахнет озеро за полчаса. Шурка сильный, на флоте служил. Сбросил одежду

на песок и поплыл. Темно было — жарко и спертый воздух. Мы стояли и смотрели, как Шурка плывет. А потом пловец исчез. И рыба не плескала.

Мы побежали к седьмому дому. Утром Шурку искали неводом, баграми дно щупали. Мы — подростки, которые видели Шурку последними, ходили по берегу. Было жарко, но купаться не хотелось. И водолазы утопленника не нашли.

Утопленника увидела женщина из седьмого дома. Это было через три дня, после грозы. А после похорон мы пошли купаться на озеро. Вода была неприятно теплая, словно подогретая. С неделю озеро не переплывали, а потом про Шурку забыли, как и не жил моряк.

Чемпион

Мы шатались по улицам, чердакам и подвалам, дрались, курили родительские папиросы, гоняли на «лайбах»…

Сашка же тренировался, выступал на соревнованиях и побеждал. Учителя и родители ставили его нам в пример. Потом он стал чемпионом и получил медаль. А потом началась взрослая жизнь. Сашка был тренером, бандитом, бизнесменом, а потом ему все надоело. Одноклассник бросил пить. Завязал вдруг, без подготовки. Это так всех удивило, что с этого события, или поступка, начиналась каждая беседа-встреча с бывшими одноклассниками. Прошло два года — Сашка бросил курить. Завязал. Стали говорить об этом. Между алкоголем и табаком был еще один поступок. Сашка бросил любовницу, но об этом почти никто не знал... Он жил несколько лет тихо, про него не было даже слышно. А потом взял и прыгнул с двенадцатого этажа.

Той ночью на небе горела луна, яркая и недостижимая, как медаль.

Ботинки

Знаете знаменитый натюрморт Винсента ван Гога? Тот, со старыми исковерканными ботинками. Они стоптанные, изношенные, они прошли много дорог и много видели. Ботинки могут рассказать о хозяине больше, чем его портрет.

Небоскребов в гэ. пэ. не строили. Самые высокие постройки — заводские трубы и пятиэтажки на улице Первомайской. Но для небоскребов на заводе делали стекло и везли его в огромных ящиках на экспорт за океан.

Мишка Тимошко жил на улице Набережной, в своем доме. Там стояли только частные дома. Когда Мишка с младшей сестрой шли в школу, а родители на завод, то двор караулила лохматая, короткохвостая овчарка. Дунай ходил по двору и гремел цепью. Даже если бы и не было собаки, то вряд ли кто рискнул бы лезть в кирпичный дом с желтым фронтоном и круглым окошком-иллюминатором. У Мишки отец под два метра ростом. Поймает, разорвет, как тряпку, мало ворам не покажется. Мишкин отец работал на заводе грузчиком. Паковал огромные листы витринного стекла в ящики, а потом ставил те ящики на прицеп машины. Ехало-плыло порезанное стекло в далекую Америку и другие страны с экзотическими и красивыми названиями.

Мишка затосковал. Ходил пришибленный, к играм равнодушный. По секрету рассказал, что его отец решил пойти жить к другой женщине, но дом и собаку оставит им. Отец собирал чемоданы. Невеселая история. И мне она не понравилась, потому что больше некому будет покатать нас с Мишкой на черном мотоцикле КА-750.

Мишкин отец ушел на завод в первую смену, а сын с дочкой в школу. Неожиданно Мишку с сестрой с занятий забрали. Его отца увезли из цеха в больницу.

Лист витринного стекла, поднятый автопогрузчиком со стола, завис в воздухе. Присоски шпокнули. Стекло размером два на два метра, толщиной в дюйм обрушилось. Рассыпалось на тысячи сверкающих горячих осколков.

Пройдет год, и Мишка похвастается мне ботинками. Вытащит их из-под шкафа. Большие (сорок шестого размера), на черной подошве, серые, сшитые из толстой свиной кожи, с металлическими бобышками-заклепками, зашнурованные плоскими тесемками. Ботинки грузчика будут без задников и части каблуков. Тот огромный лист стекла отрубит вместе с задниками и каблуками и пятки грузчика.

Это неправда, что мужики смелей женщин. Кто это придумал, кто сделал такой вывод? Искалеченный Мишкин отец останется в семье, не уйдет к другой женщине.

Другое небо

Это вкуснее, чем соль и сахар, горячим языком лизнуть небо...

Кто не хотел дотронуться до небесной синевы? Ладонью, красной от ржавчины, вспотевшей щекой, спиной или грудью под надутой высоким ветром рубашкой почувствовать безграничность и глубину неба. В одиннадцать лет еще не отвалились крылья, а может, взрослые еще не успели оторвать-обломать те детские крылья.

Самое высокое на этой стороне шоссе — красная труба котельной. Она лишь немного ниже заводских труб. Когда темно, то дымоход котельной смотрит на звезды, как телескоп. А за огромными окнами котельной котлы и печи, там кочегары и огонь.

Вечер. Чернильное небо. И множество бело-синих звезд.

Три пацана решили взобраться на трубу. На самый-самый верх. Но соблазн посмотреть в запотевшее окно женской бани, в процарапанный в грязной салатовой краске глазок, оказался сильнее, чем жажда высоты. Больше, чем жажда безграничного неба. И только один из трех, пока его друзья по очереди припадали горячими лбами к стеклу, полез на трубу.

Он взобрался на самый верх. Чуть не сорвался, когда изъеденная ржавчиной скобка ступени сломалась. Он лизнул кровь из рассеченной губы. И это был вкус неба.

Кроме этого, он ничего не рассказал интересного. А ему про женскую баню говорили и говорили. Теперь того дымохода нет.

Как нет у меня и другого неба.

2009—2012

Перевод с белорусского Елены МАРКОВИЧ.





ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ

Клич отзвеневших столетий земли...

В поэзии Владимира Короткевича особое место занимают стихотворения, тематически связанные с произведениями искусства и их творцами. Прекрасный знаток мировой художественной классики, он стремился рассмотреть самую суть произведений глазами человека XX века. Предлагаем читателям пять стихотворений, прежде не переводившихся на русский язык.

Диво на Нерли[1]

Н. М. Молевой

Белая песня в лугах золотистых,
Клич отзвеневших столетий земли,
Нежная-нежная, чистая-чистая,
Девушка-церковь на светлой Нерли.
Кровь и убийства, зарево с дымом,
Подлость, жестокость в упорном бою, —
Даже они проходили мимо
И пощадили невинность твою.
Всем, кто навек превращался в тени,
Снилась ведь ты на райских лугах
С ясной печалью по убиенным,
С тенью улыбки в мокрых глазах.
Брат твой любимый погиб на ловах.
Очи твои для нас сберегли
Милость, и слезы, и теплое слово —
Святость родимой грешной земли.
Теплые губы сквозь лета и зимы
Льют нам призывный твой голосок:
«Братец мой милый, братец любимый,
Выйди ко мне на крутой бережок».

[1] Церковь Покрова на реке Нерли — гениальный памятник древнерусского зодчества на территории Владимиро-Суздальского княжества. — *Здесь и далее прим. автора.*

Бред мужицкого Брейгеля[1]

Н. М. Молевой

В ряду базарном города при море
Прижился тихий и спокойный полдень.
На улочках не видно ни собаки:
Ведь вся страна, наторговав деньжонок,
До хрипа нагорланившись на бирже,
Набегавшись по городским причалам,
Обед лениво травит, как питон.
Залитый солнечным соленым светом,
Идет базарным рядом человек.
Стучит он палкой по белесым плитам.
У человека очи мудреца,
Язвительно-печальная усмешка,
И, чтобы скрыть ее от торгашей,
Он низко шляпу на лицо надвинул.
Он ходит целый день. Идет в трущобы,
В богатые кварталы, в лавки, в гавань.
Оттенки красок, лица и улыбки —
Все остается в памяти его.
И лишь порой возле богатой лавки,
В шинке на бочке, на гулянке шумной
Он позволяет векам опуститься,
Он позволяет отдохнуть глазам.
Не надо. Не мешайте. Погодите.
Он бредит. И когда глаза откроет, —
Мелькнет в зрачках такой тяжелый отблеск,
Что вряд ли своему врагу желал бы.
Мужицкий Брейгель бредит милым краем
На улице меж лавок и обжор.
О лавки, лавки! Вы душа отчизны.
Висят на прутьях заржавевших туши.
Багрянец мяса вкусно оттеняют
Янтарный жир и сахарная кость.
Индеек ряд в бумажных панталонах.
Телята взращены здесь без воды,
На теплом молоке. И груши бедер,
Что пахнут горько еленцовым дымом
И чесноком. А в ваннах ледяных
Блаженно кабаны вдруг отдыхают,
Для холодца.
                    И вся твоя отчизна
Похожа на такого кабана.
Прилавки с рыбой влажно пахнут морем.
Копченый угорь тает на жаре.
И красные огромные омары
Гурманов с нетерпеньем ожидают.

---

[1] Питер Брейгель Старший, прозванный «Мужицким» (умер в 1569 г.), — выдающийся нидерландский художник XVI в., автор картин «Падение Икара», «Слепые», «Крестьянский танец», «Страна лентяев» и др.

И льются ртутным серебром в корыта
Трепещущие струи из сельдей.
А там желтеет свежим маслом репа,
Вот огурцы, брюссельская капуста,
Редис, как роза, с белоснежной попкой
И с каплями на листьях ситовидных.
А помидоры с влагою горячей
От десен солнцем брызгаются в глотки.
И это все, наваленное кучей,
Обрызганное солнцем и водою,
Поет, и радуется, и звенит.
Край сыт обильно, как пастух на Юрья:
Из разных стран приносят корабли
Корицы запах островов далеких,
Гвоздику, черный и душистый перец —
Он трепетно желудки сокращает.
Иначе мяса, дичи, всякой рыбы
Страна бы не могла переварить.
Мужицкий Брейгель вновь идет на площадь,
Садится и в руке альбом сжимает.
Он видит тучных бюргеров за пивом,
Слепого, нежно гладящего скрипку,
Столы — кряхтят натужно от жратвы,
Наставленной на них.
                                        А на крылечке
Стоит шинкарка и глядит на площадь,
На полные столы и на гуляк.
Отдайся ей.
Да только помолившись,
Чтобы живой хоть душу отпустили
Объятья страшных белоснежных рук.
Так, подбоченившись, она стоит,
И ноги, как окорока, все топчут
Сдается, не крыльцо, а государство.
А впрочем, таких женщин здесь и любят.
Вот мельник плавно из толпы выходит.
Перед шинкаркою ногою дрыгнул
И пригласил ее с собой на танец.
Пол гнется под слоновьею походкой.
И вот летят они.
Трясутся груди.
Ворочают мощнейшими мясами
И задом дрыгают. И сытый пот
Стекает с круглых лиц в пивные кружки.
Вот веки Брейгеля зрачки прикрыли.
Он думает, что мельнику с шинкаркой
Прекрасно будет спать на сеновале,
А там пусть все на свете трын-трава.
За сытостью они не замечают,
Что шашель ест их дом, их обворуют,
Страны название «край Нидерландов»
Забудут спящие. Будь проклят край!

Никто не хочет знать здесь о свободе,
О поисках, горенье и искусстве.
Нет, — он солгал, — искусство разрешают.
Оно должно ласкать глаза у сытых,
И благородными писать их лица,
И в мышцы превращать на шеях жир,
И воспевать их теплые покои,
Их одеяла, ночники и жен их,
Спокойных, как голландские коровы;
Доказывать, как будто эти люди,
Ловцы омаров и ткачи шелков,
Живут без кашля и не тонут в море.
Что выведет из сытого блаженства?!
Сам каждый за себя. Ничто не тронет.
Икар погибнет — и никто не бросит
И взгляда на те вспененные волны,
Где жалобно, мучительно и гордо
Вдруг сломанное вскинулось крыло.
Что им до взлетов и до грез высоких,
До мужества, горенья за свободу?
Они свой зоб набьют — и под перину.
Страна лентяев!
                    На траве густой,
Под деревом, взрастившим вместо яблок
На толстых ветках даже колбасу,
Что капает с концов прозрачным жиром,
Взрастившим с требухою пирожки, —
Спят люди мертвым сном и в ус не дуют.
Спит воин, головою меч прикрывший,
Чиновник спит, разинув рот слюнявый,
Крестьянин спит, забыв свое цепильно.
Откуда-то к лентяям из кустов
Идет яичница на тонких ножках.
От черной раскаленной сковородки
Парок благонамеренный курится,
И остается только ртом почавкать.
А делать что ж еще?
                    Вкушать съестное
Закон ведь никому не запрещает,
Раз деньги есть.
                    Мужицкий Брейгель бредит.
Кто вы такие? Как назвать вас, люди?
Куда страна, да с вами, забредет?
Слепые! Мертвые! Они идут,
Держась рукою за плечо передних,
И их ведет слепой. И прямо в яму
Он падает.
А задние не видят,
По-прежнему застыло на их лицах
Самодовольное по-свински чванство.
Что ж просчитался ты, мужицкий Брейгель?
Швыряй в лицо им горькие полотна,

Дразни, как бугая, платком их красным,
Показывай слепцам конец Икара, —
Они ведь все равно не осознают.
Возможно, лишь потомки?

Пророк Иероним Босх[1]

Н. М. Молевой

«Внимание! Всем! Внимание!
Опасность от атомных взрывов.
Упрячьте детей!
Упрячьте ученых и книги!
Упрячьте в подвал партитуры
Бетховена и Гуно!
Упрячьте картины Босха:
Он знал ведь об этом давно».
Странный, странный творец!
В сумраке средневековья
Сидел он перед мольбертом,
Взор к бликам свечи прикован.
Тень по углам квартиры,
Тени по краскам бегут,
Тень над родиной милой,
Мрачные тени в мозгу.
Испанцы край захватили,
Сжигали людей — не жаль им,
Жить никому не давали,
Рабом только быть — разрешали.
Малые плакали дети,
На ноже умирали.
Художник не мог смеяться —
Правду в душе не украли.
И вот в груди у такого
Не сердце, а головешка,
У Иеронима Босха
Угасла даже усмешка.
Он видел, что души отвергнутых
Не сталь, а безвольный воск,
И пророчил гений людям,
Ты, Иероним Босх,
Своей неуемной фантазией
Вызывал безобразных созданий...
Сквозь трещины на полотнах
Слышатся звуки рыданий.
Мертвые птицы летают,
Пылают живые кусты,
Чудовища с клювами грифов

[1] Иероним Босх — знаменитый нидерландский художник конца XV — начала XVI вв. В такой его картине, как «Страшный суд», народная сатира сочетается с мрачной, кошмарной фантазией. Странное совпадение: на его картинах нарисованы машины, которые похожи на танки и современные пушки.

Режут себе животы.
У одних без ног голова,
У других под задом колени.
Мечутся меж пожаров
Безмолвные голые тени.
Сквозь дымные и сквозь красные,
Сквозь пепельные цвета
Танки скрежещут мощные —
Тогда ведь не было так.
Мог ли тогда он предвидеть,
Что после ста поколений
Вновь наяву восстанут
Чудовища тех представлений?
Что будут в геройстве люди
Вскакивать на накат
И под ноги им бросаться
С целой связкой гранат.
Вы, с душой восковою,
Кошмары с цепей спустили,
Вы над росной землею
Смерти грибы взрастили...
Давно пророчил такое
Босха тревожный мозг.
И все же не знал одного ты,
Пророк Иероним Босх.
Мысли людей изведав,
Море изведав и сушу,
Не мог ты думать, что в мире
Стальные вырастут души,
Что на всех алчных и лживых
Поднимется их рука
И вытряхнет их из кожи,
Как клубень гнилой из мешка.
«Внимание! Всем! Внимание!
Взрывов уж впредь не будет!
Несите скульптуры и книги!
Так пойте и смейтесь, все люди!
Несите детей сонливых
Под солнечных звуков прибой!
Несите картины Босха!
Отбой! Вечный отбой!»

Чюрленис

В. И. Бараускене

Как тебя заслонить от безумных ударов,
Как тебя сохранить в вечной битве со злом,
Ты, Земля, ты, седой одуванчика шарик
Под безжалостным ветром, под совиным крылом.
Не дрожи, не дрожи, ну не надо, Земля моя,
Ведь навеки рассеешься в бездне веков,

Облетишь от атома, вспышек рекламы,
От продажного лязга печатных станков.
От того, что без знания зла и невзгоды,
Как туман равнодушный с теплых лугов,
Как азийская лава, проплывают народы,
В стороне оставляя безучастных богов.
Вот, вот-вот, словно жертва солнцу умершему,
Как в погасшую печку спускается гроб...
И все дальше смертных факелов перлы,
И все ближе к вечному мраку народ.
И как только любовь там умрет несчастная,
Сбросят звуки и колеры под откос, —
Без пространства и времени треснет на части,
Остановится колокол в лютый мороз.
И в господстве той тьмы и хаоса этого,
Без морей, без улыбок, без солнца-листа,
Я вздеваю ладони над миром без света,
Как глашатай, кричу:
«Светоносный, восстань!»
Не хочу! —
И вздымаются блики спокойные.
Заклинаю! —
И вот над безбрежьем земли,
Над прозрачными, словно родник, колокольнями,
В звонком небе, как тучки, летят корабли.
Мир вам всем! —
И становятся страшные воды,
И — минуту назад как предвестник беды —
Океан живой, подарив погоду,
Сторожит одуванчик на кромке воды.
Будет так! —
И залог того в солнце и зорях,
Да в любви и мужестве, в свете листвы,
В синих замках форели — литовских озерах —
И в бездонных зеницах у женщин Литвы.

Глухой гений
(Гойя)

Чудовищ сон ума рождает,
И властвуют они над ним,
И воздух криком заполняют,
Визжат, бросаются все в дым.
Беснуется мой мозг от визга
На праведной из всех планет.
Без слуха!!! Всматриваюсь. Вижу
И трогаю корявый свет.
Что с ним? Какой надменный дьявол
Землей играет, как мячом?
Зачем кому-то власть предъявит?
Зачем другого бьет мечом?

У ведьмы на груди свисает
Дух тьмы — знак злобных и тупых.
Свет убивает, умирает.
Кто не осел — тот нетопырь.
И кто поверит — вплоть до кровных, —
Что трудно мне и прелесть чар,
И детскую свою любовность
Скрыть за жестокость и кошмар?
Нельзя иначе, ибо мигом
Раздразнишь лютую змею...
Иначе схватят и унизят,
И грязью в душу наплюют.
Но в царстве смерти и тревоги
Есть для меня один маяк —
Он освещает мне дороги...
Испания, земля моя!
Окутанная в санбенито
С дурацким острым колпаком,
Ревущим пламенем обвита,
В тюрьме удушена шнурком.
Война!
Убили мать на поле.
Несут. Закат уж догорел.
Ребенок сирый, бедный, квелый
Идет за ней, смертельно бел.
Не видели бы лучше очи
Вот это:
новой смерти тень,
Фигурку маленькую ночью,
Как луч, врывающийся в день.
Кто высушит ребенку слезы?
Кто он, погубленный в лесах?
Цветок жасмина на морозе.
В глазах безжизненных слеза.
«Матушка, бедная,
Как это выдержать?
Какое мужество!»
Я крик сплошной вонзаю в пекло,
Крик краски, крик иглы в тюрьме.
В конце: «Уж истина исчезла!»,
В веселье умерла под смех.
Глухим живу и умираю,
Глухим под градом пуль в беде,
Глухим: ведь слушать не желаю
Той лжи, что властвует везде.
Пока под звуки новой песни,
Хорала, что зальет поля,
Святая правда не воскреснет —
А с ней воскреснет и земля.
……………………………..
Тогда — услышу.

Перевод с белорусского Петра ЖОЛНЕРОВИЧА.

За дюнами

Как трудно представить, что на бедной песчаной почве пламенеет, притягивая восхищенные взоры, роза, так не сразу поверишь, что на аравийских песках взрастает яркая, мудрая, проникнутая любовью к общечеловеческим ценностям литература Саудовской Аравии. Но предлагаемая подборка прозы и стихов писателей и поэтов далекой, горячей от солнца страны убеждает в этом. Познакомиться с ней оказалось возможным благодаря «Антологии современной Саудовской литературы» — недавнему уникальному изданию «Восточной литературы» РАН — любезному подарку редколлегии Проекта читателям журнала «Нёман».

Отдел «Всемирная литература» в «Нёмане».

ФАВЗИЯ АЛЬ-БАКР

Выдуманная жизнь

Я — женщина из страны палящего зноя и пробирающей до костей стужи. Ночь рано опускается на мою маленькую деревню, и все живое спешит укрыться в своей конуре.

Я — женщина, для которой в ее мире не существует ничего, кроме возможности украдкой, встав на цыпочки, выглядывать через маленькое окошечко. Тонкие решетки на нем загораживают свет, но не мешают всматриваться, порой, правда, безнадежно и бесцельно, в какое-то неопределенное будущее.

О, я чувствую, что готова прижать мою деревню к сердцу, чтобы оно ощутило то тепло, которое деревня дарит мне.

Парни из нашей деревни похожи на поплавки из пробки, которые ничто не удерживает на месте, и они качаются на волнах. В их глазах вы можете прочесть и неуверенность, и отвращение. Они любят поговорить о скуке жизни, но мы здесь живем в единении с нашими полями и виноградниками, с нашими зелеными лугами, которые кормят всех, даже маленьких, невидимых букашек. Здесь много того, что мы просто любим! А что нам остается, кроме как любить?! Любить даже эти трещины в стенах нашего старого глинобитного дома, даже эту сухость кожи и темный загар наших лиц после тяжелого ежедневного труда под палящим солнцем...

Как приятно мне смотреть на старые дома нашей маленькой деревни, когда я поднимаюсь на крышу, где сплю! Здесь мы часто встречаемся: мы, москиты и

жара. Все мы неразлучные друзья, мы не тяготимся друг другом, нас не раздражает даже постоянное жужжание москитов, которое не дает покоя родственникам, приезжающим погостить к нам из города. Нам все это кажется нормальным, мы почти не обращаем на это внимания, как на шелест кипарисов за холмами: эти деревья защищают деревню от наступления неумолимых песков.

Свет луны, находящейся в середине своего цикла, заливает всю округу. Мои маленькие братья и сестры прыгают на постелях. Наш почитаемый всеми отец сидит посередине: он — центр вселенной, все нити в его руках, он — высший авторитет, он принимает все решения.

— Дождя нет, и нас ждет засуха, — говорит отец.

— Будем надеяться на летние дожди, — отвечает мой брат.

— Какие дожди? Зима была засушливой, а лето и подавно все сожжет. По поникшим деревьям я понял, что они могут совсем засохнуть, и тогда деревне придет конец. Нас вывезут отсюда, как старые пожитки, и нас поглотит чрево города.

Чужие в старом городском квартале. Я представила себе, как красные пески разевают свои пасти и проглатывают виноградники, безжалостно засыпают просторные зеленые пастбища. Как замирает движение жизни. И небесный свод, оберегающий нас по воле Творца, обрушивается на землю. Смех вокруг чашек с зеленым чаем замолкнет, сила духа моего отца иссякнет — что за мысль! — и он превратится в некое подобие идола, забытого на могильном кургане. Что за сила духа? Я отогнала эти мысли, надеясь, что беды не произойдет, что зеленые пастбища сохранятся.

Вчера я рвала плоды, собирала урожай нашей щедрой земли. Кто-то проходил мимо — один из этих изнывающих от скуки, потерянных молодых людей, скитающихся между городом и деревней. Он взглянул на мои руки, исколотые колючими шипами, на мое загорелое лицо. Я ответила ему спокойным взглядом.

— Такова жизнь, — сказала я.

Он улыбнулся и воскликнул:

— Что это за жизнь! Все руки в крови!

— А в городе разве лучше? — спросила я. — Разве там вы не натыкаетесь постоянно на колючки?

Глядя куда-то вдаль, он сорвал сухой прутик с дерева и небрежно зажал его зубами.

— Бывает, — сказал он, — но здесь мы становимся похожи на старый хлам в дедовских сундуках. Наши лица, наши губы деревенеют. Мы не можем смеяться так, как нам хочется, ведь все мы здесь обречены на гибель.

Позже я вспомнила эти его слова. И вспомнила также про одно из преимуществ города: они называли его «школа». Но правда ли, что это жизнь? Мы хорошо знаем маленький школьный домик в деревне. Я надеялась, что там мне откроется новый мир. Я отправилась туда в одно погожее утро, овеваемая легким ветерком. Когда я вошла, сердце мое готово было выскочить из груди, глаза блестели. На полу сидела группа девочек в простых крестьянских платьях — все они смущенно улыбались. На их лицах читались любопытство и удивление — это и привело их сюда. Среди них была и она. В темном платье, на аккуратном носике — очки, а волосы коротко подстрижены по городской моде. Она спокойно беседовала с одной из девочек, в то время как остальные явно нервничали, наблюдая, как девочка ищет ответ. Мы чувствовали, что присутствуем при чем-то необычном. Мне вдруг показалось, что я здесь совсем чужая, захотелось скорее убежать.

Я никак не могла сосредоточиться, руки у меня напряженно сжимались. Она взглянула на меня, и сердце мое вновь забилось. Я улыбнулась, и волна нежности заполнила меня. Взглянув на нее, я опустила глаза и стала

слушать, как загипнотизированная. Словно капли дождя одна за другой падали на иссохшую землю, и постепенно передо мной начал вырисовываться волшебный мир.

Потом для меня стало привычкой бежать по утрам в школу. Здесь и впрямь нам наконец открылся другой мир. Его очарование проникало в нашу душу, будило ум, преображало нас. Но была ли это настоящая жизнь? У нас нет выбора, мы должны возвращаться к нашей работе. Снова поле, снова сбор урожая и ранящие руки шипы.

Часто по ночам я шепотом рассказываю луне обо всем, что люблю: о пальмовых деревьях, о маленьком источнике воды, о побегах виноградной лозы. Да, я люблю луну и, оставаясь с ней наедине, делюсь с ней тем, чем может поделиться женщина, которая любит. Отдаю свою любовь луне.

Ночное светило властвует надо всем, над каждым деревом, над каждым растением. Но жизнь ли это?

Возвращение на землю неизбежно, а я женщина, живущая на иссохшей, жаждущей влаги земле. Жизнь ли это?

Волшебный мир открылся ее близоруким глазам. Он там, за стеклами очков, он зовет нас, манит и остается для нас неведомым. Но жизнь ли это?

БАДРИЯ АЛЬ-БИШР

Школьная уборщица

Спящий квартал просыпается, когда Умм Сулейман идет открывать дверь своего дома, из которого тут же распространяется по всей улице аромат только что сваренного кофе с кардамоном и другими пряностями... Она выглядывает на улицу. Отсыревшие стены глиняного дома исцарапаны колючками кактусов.

Старик, опираясь на палку, выходит на улицу в поисках компании таких же стариков, чтобы скоротать с ними время...

Умм Сулейман повязывает легким платком голову у висков, затем опускает его на лоб и внимательным взглядом осматривает всю улицу. Поправляет края абайи, высвобождая свои длинные руки, и с усилием удерживает голову прямо, чтобы не уронить узел, набитый всякими мелочами, которые могут пригодиться школьницам.

В конце улицы, у заасфальтированной дороги, стоит желтый автобус, она направляется к нему. Выходя из дома, с такой силой толкает створки двери, что они с грохотом разлетаются в стороны... Девочки-школьницы отзываются на ее приветствие пожеланиями доброго утра. Умм Сулейман знает всех этих учениц: кто они, где живут и какие условия выдвинули их матери для замужества.

Абу Саад, водитель автобуса, кричит:

— Умм Сулейман, ты нашла мне порядочную девушку?

Он подмигивает, ждет ответа, открыв рот.

— Абу Саад! Школьницы не хотят выходить замуж за тех, у кого уже есть жена.

Водитель, рассердившись, кричит так, чтобы его могли услышать все сидящие в автобусе:

— Это не помеха, если есть деньги!

И стучит себя по нагрудному карману.

Девочки перестают смеяться и ждут, что на это ответит Умм Сулейман. Многих из них она уже сосватала и выдала замуж. Имена других записаны

в ее потрепанной тетради, в которую вложены листочки с пожеланиями, каким должен быть жених.

Одна из девушек, сидящих на заднем сидении автобуса, шепчет что-то про себя и принимается рассматривать через заднее стекло машину, которая следует за ними сегодня утром. От девочки исходит аромат жасмина, спрятанного между страницами ее ученической тетради... Из магнитофона в машине доносится песня о страстной любви с обязательными вздохами и охами...

* * *

Умм Сулейман сидит во дворе двухэтажного глиняного здания школы. Потолок его весь в трещинах, зимой сквозь них капает дождевая вода.

Она расстелила свой цветастый головной платок, который иногда использует как коврик для молитвы... Сейчас она разложила на нем сладости, разноцветные и просто белые ленточки, маленькие гребенки, тетрадки и линейки. Помаду она спрятала в карман платья до тех пор, пока какая-нибудь школьница, возомнившая себя взрослой, не шепнет ей на ухо заветный пароль.

Умм Сулейман... Благодаря ей вышла замуж и директриса школы. Это она ходила вокруг нее, приговаривая, что жизнь промелькнет как мгновенье... И что женщины, вовремя не вышедшие замуж, очень скоро перестают быть привлекательными, а их братья отрекаются от них, как только женятся... И что диплом — просто бумажка, которой не сравниться с радостью материнства и с возвращением домой мужа, приносящего с собой свежесть жизни после долгого летнего зноя...

Так Умм Сулейман завоевала расположение директрисы и три летних дня, в течение которых длилась брачная церемония, была ее официальной компаньонкой.

* * *

Во время молитвы Хисса сидит рядом с Умм Сулейман во дворе школы. Девочка ненавидит большинство школьных предметов и крошки от мела, не любит делать уроки, когда надо мыть посуду, убираться в доме, готовить ужин и угощение для братьев... Умм Сулейман сжимает губы и пальцем наносит на них крем, обнажая при этом желтые зубы, затем, вздыхая, говорит:

— Доченька, будешь много читать, не заметишь, как молодость пройдет!

Хисса, чьи дни тянутся однообразно, без всяких важных событий, спрашивает:

— А что нам делать, если не учиться?

— Замуж выходить!

Умм Сулейман подвигается ближе и шепчет что-то ей на ухо, затем открывает свою тетрадь и говорит:

— Запиши здесь номер своего телефона.

...Мимо них проходит Мунира, не здороваясь и едва не разбросав по школьному двору разложенный товар, а ведь Умм Сулейман как-то и ей предлагала найти жениха...

* * *

Умм Сулейман разглядывает себя в зеркале: ее губы, смазанные кремом, подсохли, на ней красное платье с золотой вышивкой, а тонкую талию

обвивает завязанный сзади поясок. Она вспоминает молодость... Открывает шкатулку, достает из нее золотое ожерелье, осторожно надевает его на шею и вставляет в правую ноздрю украшение, завинчивая изнутри кончиком пальца. От ее волос пахнет хной... Она поднимается и идет к двери... Старик спит, завернувшись в свою абайю... Она открывает дверь и спешит к дому невесты.

* * *

Умм Сулейман теперь первая госпожа в доме невесты, она больше не школьная уборщица. Мать невесты с беспокойством ожидает ее прихода, чтобы в десятый раз расспросить о семье жениха. Все ли их устраивает?

Они стоят в дверях дома, пока другие женщины из школы окуривают благовониями дом, готовя его к приходу родственниц жениха.

Умм Сулейман убедилась, что к приему все готово: стол накрыт, чайники и чашки расставлены... Она шепчет заветные слова маленьким девочкам, которые пробегают мимо нее, желая им счастливой судьбы. Затем идет в комнату невесты дать последние наставления...

— Хисса, доченька, не поднимай глаз от пола, чтобы не говорили, что ты бесстыдница... Если он заговорит с тобой, сразу не отвечай, подожди немного... и не позволяй дотрагиваться до твоего платья или покрывала. — Она подходит к невесте еще ближе и шепчет ей на ухо слова, от которых у той дрожат колени.

Входит жених. Умм Сулейман горячо приветствует его:

— Поздравляю, Мухаммед!

Жених сияет от радости, слушая, как Умм Сулейман повторяет ему уже в третий раз:

— Хисса — достойная девушка... Ты заслуживаешь ее.

Она расхваливает невесту и жениха до тех пор, пока Мухаммед не достает из кармана тысячу реалов. Счастливая Умм Сулейман хватает деньги и прячет в карман.

* * *

Утром она снимает свое красное платье, убирает ожерелье в деревянную шкатулку, надевает свое обычное платье... Она садится в автобус и рассказывает девочкам о том, как прошел вечер.

В школьном дворе она раскладывает свой товар и, когда мимо нее проходит Мунира, кричит:

— Хисса шлет тебе поклон. Она просила передать тебе, что покончила с учебой!

ХАМЗА МУХАММЕД БОГАРИ

Темный переулок

В один из зимних вечеров Хасан сидел на полу в коридорчике, соединявшем две комнаты их дома. Он прижимал к груди книгу так, словно боялся, что она убежит. Возле него на деревянном табурете стояла принесенная сестрой лампа, которая освещала обе комнаты.

Он открыл книгу и, скользнув взглядом по страницам, отложил ее, уставившись на лестницу, которая вела на крышу дома. Полчаса назад, когда наступили сумерки, он спустился с крыши, чтобы не забирать с собой единственную лампу и не оставлять сестру в пугающей темноте, и занял свое обычное место на полу коридора, поближе к лампе. А сестра, вооружившись метлой, принялась за уборку, переходя из одной комнаты в другую, боролась с покрывавшей ковер пылью.

Взгляд его упал на книгу, и он принялся читать, увлекаясь все больше и больше. Он даже не замечал, что поднятая сестрой пыль забивается ему в нос и что лицо стало серым от этой пыли.

Он читал, и на лице его отражались все чувства, которые он испытывал по воле автора. Он то хмурился, то улыбался. Его рука, лежавшая на каменном полу, время от времени сжималась в кулак, как будто он хотел ударить кого-то.

Он читал до тех пор, пока не проснулась сестра, которая прилегла в комнате справа, утомленная дневными хлопотами. Девочка, чуть не плача, принялась бранить брата, увидев, что он не пошел в лавку к отцу, чтобы помочь ему подавать посетителям тарелки с бобами.

Обычно он ходил туда два раза в день: рано утром до школы и вечером, во время ужина. Увидев в этот час брата дома, девочка удивилась, ведь она знала, чего он лишает себя...

— Чтение для меня важнее ужина! — сказал Хасан.

Конечно, она не поняла, что он имеет в виду, только покачала головой и сказала:

— Как хочешь!

Книга, которую он читал, была из серии ежемесячных изданий под названием «Читай!». Их привозили в школьную библиотеку из Египта. Хасан, ученик выпускного класса, специально бегал к заведующему библиотекой, чтобы первым получить ее. По школьным правилам ученик мог брать эти издания только на один день, а как же Хасан вернет книгу, не дочитав ее до конца! Поэтому он был вынужден несколько раз в месяц (в зависимости от количества поступивших в библиотеку новых книг) уклоняться от походов в лавку отца.

Книга за этот месяц была посвящена Сократу. Описание жизни великого философа так увлекло мальчика, что он забыл обо всем на свете... о себе... об отце, который ждет его в лавке, о сестре, дремлющей в комнате рядом... об ужине, которого он лишается сегодня вечером... обо всем.

Он продолжал читать, не поднимая головы. Отвлекся только, когда сестра всхрапнула во сне и слабым со сна голосом спросила, собирается ли он идти в лавку.

Приближалось время возвращения отца... Хасан захлопнул было книгу, но вновь открыл ее и принялся перелистывать страницы, словно боялся забыть хоть одно слово из прочитанного.

Мальчик знал, что произойдет, если, вернувшись, отец застанет его дома... Значит, надо уходить и не возвращаться по крайней мере до тех пор, пока отец не ляжет спать.

Он открыл дверь и вышел. Скрип двери испугал его, словно он был воришкой, пробравшимся в чужой дом, а сильный порыв холодного ветра заставил пошатнуться. Преодолевая порывы ветра, он зашагал прочь от дома, пытаясь отогнать от себя мрачные мысли. Тем не менее перед глазами то и дело возникали безрадостные картины: отец, протягивающий посетителю выщербленную тарелку с бобами... спящая сестра... приглушенный свет лампы... расстеленный на полу ковер... лестница, ведущая на крышу... школа... Сократ и его жена, которая била его... чаша с ядом, которую философ сам поднес к своим губам...

Вдруг он почувствовал неприятную слабость внутри, о которой старался не думать, и ощутил острый голод, который усиливал холодный ветер. Хасан зашагал быстрее, не разбирая дороги.

Вскоре он оказался на хорошо освещенной улице, среди красивых высоких домов. Свет в их окнах горел так ярко, как это бывает только на свадьбах. Пройдя всего несколько шагов, он уловил запах еды, и ноги его сами остановились, словно он уже пришел в нужное место. Привлекаемый вкусным запахом, он поднялся по узкой улочке и в свете огней огромного дворца, освещавших всю улицу, увидел необыкновенную картину, которой никогда не видел ни у себя дома, ни в доме кого-либо из своих приятелей. О боже! Здесь был накрыт стол с восхитительным ужином! Он не стал размышлять о красоте, представшей его глазам, и о том, откуда все это взялось. Он сел за стол и стал набивать свой пустой желудок...

Рядом в темноте мелькнула чья-то тень. Сначала он испугался, но, поняв в чем дело, успокоился. Его охватило чувство, знакомое всем обездоленным и несчастным. Однако вступать в разговор ему не хотелось.

Наконец, облизав пальцы, он поднялся и пошел прочь. Глядя на искрящиеся светом окна великолепного дворца, он шептал слова молитвы и благодарности его хозяину, который накрыл такой роскошный обильный стол и накормил его и его товарища по несчастью.

САAД АД-ДУСРИ

Зеркало

Зеркала украшают все четыре стены комнаты. Если бы не деревянная дверь, она бы чувствовала себя здесь как в стеклянной тюрьме...

* * *

Ее все сильней бьет дрожь, взгляд прикован к двери... Только в ней она не видит своего отражения... Только дверь, открываясь, отражается сразу во всех зеркалах, создавая иллюзию, что пришли в движение какие-то темные непонятно откуда взявшиеся предметы.

* * *

От матраса пахнет свежечесаным хлопком... Почему постель такая большая?

Она прижимает колени к груди, еще больше вдавливаясь в мягкое углубление постели, заботливо расстеленной на полу...

Она не может различить запахи: они смешались с ароматом, исходящим из флаконов, которые она видела в сундуке свахи... Она стучит в дверь лишь по утрам и всегда неожиданно...

* * *

Она вспоминает то утро, когда украдкой выглянула в окно и увидела, как он выходит из своего дома...

— Он самый чистый юноша... и...
В горле у нее пересохло...
— И лучший из всех...

* * *

Детские голоса затихают... Смолкают и тихие девичьи голоса... Слышно лишь, как смеются старухи и как молятся в доме...

* * *

От тишины у нее звенит в ушах... Она пытается услышать, что происходит за стенами комнаты, у входной двери... Что, если он сейчас войдет?

* * *

Звук пластиковых сандалий подобен барабанному бою, которой раздается внутри ее. Она со всей силой прижимает руки к груди. Ее пересохшие губы дрожат...

Дверная ручка поворачивается, стонут ржавые дверные петли... У нее дрожат колени... Волоски, которые ее мать не смогла удалить с ее нежной кожи, встают дыбом...

Входит старуха...

* * *

— Что с тобой? На все воля Аллаха! У каждой из нас только один мужчина... Вспомни Аллаха... Не подводи ни меня, ни свою мать... Его родственники нахваливают и ее, и тебя... Если он подойдет к тебе близко, отодвинься от него... И поплотнее закутайся в одежду... Ни за что не улыбайся и не отвечай, если он начнет задавать вопросы... Каждый твой отказ заставит его уважать тебя еще больше... Так ты останешься для него загадкой...

* * *

Скрипит дверь, и снова наступает тишина...

* * *

Она слышит шаги нескольких человек... Быстро считает... «Четыре!»...

Дверь отворяется, входят двое. Один садится рядом с ней, здоровается. Она не отвечает... Старуха наливает ему кофе... Он берет чашку... пьет. Она наливает еще одну и подает ей...

— Кофе, доченька...

Она не отвечает...

Он улыбается, старуха тоже улыбается. Он просит подать ему еще чашку, выпивает кофе и возвращает ей обе чашки...

Он достает из кармана большой кожаный бумажник, снимает резинку, обмотанную вокруг него, открывает и достает из одного отделения две денежные купюры. Протягивает их старухе. Она берет их, делая вид, что смущена...

— Большое спасибо! Да благословит тебя Аллах! С тебя — деньги, а от нее — дети!

Она забирает узелок с вещами из угла в прихожей и уходит...

* * *

Он заканчивает вечернюю молитву... Снимает головной платок и ложится рядом. Он хочет дотронуться до ее лица, но она отстраняется... Взгляд ее наталкивается на отражение в зеркале: рядом с ней здоровенный противный мужчина, его рубашка мокра от пота, изо рта течет слюна...

Она отворачивается от зеркала и плачет...

ХАЛИЛЬ АЛЬ-ФУЗАЙ

Чужой

Я упивался розовыми мечтами о предстоящем возвращении в родную деревню и представлял, какая теплая встреча ожидает меня там. Нахлынувшие чувства переполняли меня, воспоминания охватили душу.

Моим ожиданиям не суждено было сбыться... Все пошло прахом и превратилось во вражду, в кровь, которая капает с рук, указывающих на вернувшегося вдруг чужака. Мои беспочвенные иллюзии исчезли без следа, мечты развеялись, натолкнувшись на непреодолимую стену неприятия.

Что заставляет чужака, который странствовал неизвестно где двадцать лет, вернуться?

Деревенская площадь, на которой вечерами собирались жители деревни. Мы рассказываем и пересказываем друг другу подробности всплывших в памяти историй... Суры «аль-Фатиха» и аят «аль-Курсий» оберегали нас, когда затемно мы расходились по домам, и дорогу нам освещали лишь луна или свет фонаря, который приносил с собой каждый из нас по очереди.

Мы были подростками... Мы упивались лунным светом... путешествовали по неведомым мирам... блуждали в лабиринтах бытия, пытаясь разгадать тайну жизни. И в конце концов обнаруживали, что находимся все на той же деревенской площади, а ночь уже на исходе...

Неужели время стирает все эти прекрасные воспоминания?!

Однажды я простился с родной деревней, покинул ее вместе с другими. Сначала я наведывался туда время от времени, потом переехал в еще более отдаленное место и перестал получать вести из деревни. Обо мне тоже никто ничего не знал.

Потерять духовную связь с родиной гораздо тяжелее, чем жить на чужбине.

Когда я вернулся, все уже было иным. Если бы изменились только вещи, это было бы понятно, но чтобы изменились души... Об этом я не подумал.

Не изменился лишь один человек. Он встретил меня с прежней улыбкой на лице, прошедшие годы не отразились на нем нисколько. Я заговорил первым:

— Ты еще жив?

— Я открыл тайну жизни. И теперь смерть не может приблизиться ко мне.

— Какую тайну?

— Если я скажу, это уже не будет тайной!

— Я хочу жить, как ты...

— Ты не сможешь...

— Почему?

— Потому что ваше поколение понимает жизнь не так, как мы...

— Что ты имеешь в виду?

— Я скажу, и пусть Аллах меня рассудит... Видишь, мне уже больше ста лет. За эти годы я узнал больше тысячи женщин, но не перестал желать их...

Я не был удивлен, так как еще двадцать лет тому назад знал, что он очень охоч до женщин. Тем не менее я не улавливал связи между его словами и упомянутой тайной жизни. Мне захотелось узнать больше:

— Но ты не сможешь...

— Это ты так думаешь! А я сгораю от страсти к женщинам! Знаешь, какой совет дал мне мой отец? Если хочешь жить долго, люби женщин...

Я понял, что он хочет сказать, и ответил:

— Это неверная теория!

— И ты скажешь это своим сыновьям?

— Они не послушают, а только высмеют меня. Один из моих сыновей сказал мне однажды смеясь, что где-то читал, что общение с женщиной способствует росту бороды, однако не продлевает жизнь. Я пытался убедить его, что коль скоро это продлевает рост бороды, значит, продлевает и все другое, и даже жизнь, но он не поверил.

Мне очень хотелось задать один вопрос, и я не удержался:

— Скажи, почему на меня смотрят как на врага?

— Почему ты сам не спросишь?

— Они не хотят говорить со мной...

— Когда ты уехал, они нуждались в тебе... Сейчас, когда ты вернулся, ты им уже не нужен...

— Зачем я был нужен им?

— После разрушительного наводнения деревне были нужны все ее жители... Все вернулись, кроме тебя...

— Я боролся на других фронтах...

— Любая борьба должна приносить пользу родной деревне...

Моя любовь к деревне не ослабла... Моя любовь — это моя жизнь... Как можно не жить? Как мне доказать, что я люблю эту землю и хочу сохранить ее богатство?!.. Я посыпаю землей свою голову...

Вокруг меня собрались мальчишки. Они смотрят на меня как на пришельца из другого мира. Я пытался заговорить с одним из них, но они разбежались, как напуганные жеребята. Кто-нибудь из них мог бы быть моим сыном, если бы я остался. Я мог бы по-дружески говорить с ними, если бы остался. Все могло бы быть, если бы я остался...

Стены деревенских домов дышат враждебностью... Ею пропитан даже воздух... Я чувствую это... Я почти ощущаю ее тяжесть... Но я ни за что не уеду снова...

АШИК ИСА АЛЬ-ГАЗАЛЬ

Продавец ослов

Когда отец позвал его на послеполуденную молитву, он, несмотря на свое угнетенное состояние, сразу же откликнулся:

— Я уже проснулся, отец! Сейчас встаю. Да вознаградит тебя Аллах!

Оторвав голову от подушки, он обвел сонным взглядом свою скромную комнату, дверь которой вела во двор... Напротив него лежит груда

книг вперемешку с журналами, как на асфальте перед уличным торговцем... одежда болтается на старой вешалке как попало... головной платок повешен на шнур, конец которого касается пола... рядом с ним пепельница, полная окурков с рассыпанным вокруг пеплом... пачка сигарет, на которой лежит коробок спичек, как ленивый часовой... Наконец взгляд его остановился на небольшом шкафчике: в нем хранятся вещи, самой дорогой из которых до недавнего времени были ее письма... Он сердито отвернулся и снова почувствовал боль. Чтобы избавиться от нее, он протянул руку и схватил радиоприемник, из которого тут же раздалось: «Мое сердце принадлежит тебе!» Еще больше рассердившись, он выключил его и встал, чтобы совершить омовение и помолиться... Увидел приготовленный для него чайник: он привык пить чай в одиночестве, чтобы не мешать родным своим курением. Налив в чашку чай, он сделал маленький глоток, потом закурил, лег и обхватил грудь руками, как будто сдерживая свой гнев перед лицом сильного противника...

Уставившись в потолок, он начал говорить вслух, как будто читая:

«Я мечтал... мечтал, что получу от жизни все что хочу, и обманулся... эх!.. Я совсем опустошен...» Он высвободил руку, ударил по радиоприемнику, затем плюнул на него и выругался... «И ты туда же! „Сердце мое принадлежит тебе!”... К черту! Тебя и тех, кто тебя изобрел... и певицу... ее тоже...» Он разозлился, встал, вытащил из шкафа своими худыми длинными пальцами письма и, разорвав их, бросил на пол...

Он смотрел на клочки бумаги и, чувствуя, что успокаивается, стал искать те, что покрупнее. Увидел достаточно большой кусок, край которого вызывающе торчал, собрался было разорвать его, но прочитал: «Что я могу сделать, любимый?» — и страстно прижал к груди этот клочок бумаги, а потом сунул его под подушку.

Он снова лег, полежав немного, встал. Кто в этом виноват? Ты скажешь, твой отец? Он смог убедить тебя и моего друга, твоего брата, что надо прогнать меня? А в чем причина? Деньги? Значит, это заставило его так перемениться ко мне. Он даже отказал мне каким-то странным издевательским способом: «Она не предназначена для тебя»... Как будто только твой отец может принимать решения и вершить судьбы... Кто ты такой? Неудачник... дурак. Ничего не можешь добиться. Деньги вскружили твою пустую голову? Босяк!.. Кем ты был? Продавцом ослов!»

Он услышал, что его зовут. «Идите к Авваду. Он напишет купчую для вас».

В дверь громко постучали. Ругаясь, он встал, чтобы открыть. Какой неприятный человек этот владелец конторы! Почему я должен всех обслуживать, в то время как его избалованный сын развлекается, разъезжая на своей новой машине?!

Он вышел и, испытывая отвращение, написал то, о чем попросил его маклер.

Порывы осеннего ветра наполняли энергией всех домочадцев лучше, чем тепло от электричества. Аввад сдерживал улыбку. Его мать смотрела на него с таким выражением, будто готовилась к серьезному разговору. Напротив сидела его старшая сестра. Она наматывала на свой единственный браслет прядь длинных черных волос, которые были ее единственным украшением и делали более миловидной. Младшие братья прятались за ее спиной, занятые своими детскими шалостями. Сильный порыв ветра опрокинул пластиковое ведро, и оно с шумом покатилось. Малыши громко засмеялись, а сестра сжала губы, давая им понять, что надо успокоиться.

Тяжело вздыхая, отец сказал:

— Ох уж эта осень! Помоги нам Аллах, чтобы все было хорошо и чтобы мы покинули этот мир истинными мусульманами!

— Милостью Аллаха ты проживешь долго! — откликнулся Аввад. Затем, засмеявшись, продолжил: — Если бы мать согласилась, мы бы тебя еще раз женили!

— Почему ты не женишься?! — громко спросила мать. — Сейчас твоя очередь, а мы даже не знаем, что у тебя на уме после того, как этот проклятый ослятник отказал тебе! Я могла бы найти тебе невесту гораздо лучше его дочери. Ну что ты молчишь?!

— Скажу, что со свадьбой лучше повременить.

Отец вскипел:

— И как долго? Тебе еще не надоела холостяцкая жизнь? Ведь ты всегда слушался наших советов, да вознаградит тебя Аллах!

— Отец, я ничего не делал против вашей воли и заслуживаю хотя бы благодарности.

Отец с трудом поднялся на вечернюю молитву, не сводя пристального взгляда с сына. Аввад тоже встал и не услышал, как сестра сказала тихонько матери:

— Говорят, что отец невесты в отъезде.

Вернувшись в свою комнату, Аввад бросился на кровать. В голове его роились вопросы, на которые он не находил ответа. Он достал клочок бумаги, перечитал написанное, затем свернул из него папироску и закурил.

Утром он пошел на работу, испытывая ломоту во всем теле. Сев за рабочий стол, принялся перелистывать бумаги. Мысли путались в голове. Так и сидел, пока не услышал голос посыльного, который сказал, что директор хочет его видеть.

— Ты почему опоздал, Аввад?

— Всего на четверть часа... транспорт...

— Да?! Четверть часа? Это, по-твоему, мало? Что-то ты мне не нравишься последнее время.

— Почему?

— Ты опаздываешь, стал невнимательным, безразличным... — директор жестом тощей руки очертил пространство вокруг.

— Странно. Ну что я могу сказать, бывает... Просто мне не везет...

— Меня не интересуют твои переживания!

Аввад вернулся в кабинет и спокойно сел на свое место.

После полуночи он шел по длинной улице, как будто желал, чтобы она успокоила его взволнованную душу. И вдруг на него снизошло озарение. Он гордо поднял голову и глядя на электрический фонарь, словно увидел ее лицо, которое то приближалось, то удалялось от него. Быстро зашагал к ее дому. Подойдя к двери, он услышал шум. За дверью ссорились. Мужской голос произнес:

— Послушай, я не могу допустить, чтобы мой сын женился на твоей дочери. Мой отец, его дед, был отважным всадником. Его все знают! Меня тоже знают! Разве дочь торговца ослами годится в жены моему сыну?!

УМАЙМА АЛЬ-ХАМИС

Сальма из Омана

Согласно древнему преданию, в стволе высохшей пальмы скрываются оманские красавицы.

Оман одной своей стороной обращен к темным водам океана, дно которого устлано бутылками с джиннами, запечатанными много веков тому назад.

В Омане смешивают сахар с кардамоном и готовят сладость круглой формы, как щечки Сальмы.

Девушки Омана, подобно запасенным на зиму финикам, излучают тепло, и от них исходит свет, как от серебряных рам зеркал в больших дворцах. Их покорность сравнима лишь с огнем лампы, гаснущей на восходе солнца. Поэтому торговцам рабами приходилось раскошеливаться, чтобы купить для оманки хотя бы ножной браслет.

Матери, имеющие маленьких дочерей, боялись Абу Дустайна, который жил в пещерах скалистых гор. Тощий, как гадюка, и осторожный, как африканский тушканчик, темными ночами он спускался по горным тропам, чтобы похитить девочек и увести их далеко-далеко, а быть может, и съесть. Пастухи рассказывали, что не раз видели в горах человеческие кости и разбросанные рядом браслеты и цветные бусинки.

Существует он на самом деле или нет, никто не знает, но все о нем говорят, сравнивая чуть ли не с шайтаном. В начале века достаточно было лишь упомянуть его имя, чтобы девочки бросались бежать и прятались по домам, а шум шагов в ночной тишине повергал их в ужас.

Горы в Омане величественные и тихие, как сама вечность.

Мать Сальмы выбрала песчаную косу у подножия горы, чтобы построить под кроной могучего дерева гаф лачугу и разводить здесь коз и кур. Ее дочери Сальма и Муза подолгу играли на берегу моря, весело прыгая в волнах. Над морской гладью виднелись флаги сотен судов под раздувшимися парусами, их отважные капитаны устремлялись вдаль, не боясь ни штормов, ни бурь.

Сальма, тоненькая, стройная, как горная козочка, опуская ведро в колодец, чтобы набрать воды, мечтала о волшебных городах за горами. Из колодца вылетали летучие мыши, прятавшиеся в его глубине. Наклонившись, Сальма видит далеко внизу свое отражение в обрамлении облаков, стоящих в высоком небе. Вокруг нее кудахчут и дерутся куры. Сальма с удивлением наблюдает, как облака непрерывно меняют свою форму.

Она осторожно наполняет глиняные кувшины молоком, чтобы выпить его вечером. Привычные вершины гор окружают ее, откликаются на звук ее шагов.

Жизнь бедуинов в пустыне сильно отличается от городской, и к городам они относятся с опаской. Если бедуин попадает в город, он сначала теряет связь со своим племенем в пустыне, а затем и самого себя. В начале века на границе неспокойно, часто вспыхивают волнения из-за того, что обычаи, по которым живут племена, не совпадают с конституцией, согласно которой живет государство.

Щечки Сальмы круглые, как сладость из сахара с кардамоном. До сих пор не известно, кто рассказал о ней Абу Дустайну. Может, это горы или перелетные птицы, или все произошло само собой.

Вечер вторника. Море тяжело дышит, выбрасывая на берег липкие теплые волны. Под ногами скрипят ракушки, а далекие звезды пристально смотрят на игру волн.

Мать Сальмы вздрагивает, слушая историю белуджийской девушки, которая пропала несколько дней тому назад. Вся деревня только и говорит об этом, передавая новость из уст в уста и дополняя ее все новыми подробностями, часто противоречивыми. Но все сходятся на одном — это связано с Абу Дустайном.

Воздух в лачуге сырой, удушливый. Три женщины вытащили свои циновки на воздух. Деревенские собаки охраняют их и овец в загоне с хорошо укрепленными воротами. Огни в деревне погасли. Сальма погружает руку в сырой теплый песок и лепит из него маленькие горки, обкладывая их камешками.

Он спустился по горной тропинке. Ракушки затрещали под его кожаными подошвами. Споткнувшись, он чуть не упал и схватился за тонкий ствол горного дерева самар. Дерево оцарапало ему руки. Сальма крепко спала. Он подошел ближе и увидел крупную фигуру матери. Значит, одна из маленьких фигур — это Сальма. Он встал прямо над ее головой, с трудом наклонился, сначала зажал рукой рот, а потом, быстро вытащив платок, засунул его в рот девочке. Он связал ее, как жертвенное животное, и, прежде чем новая волна успела удариться о берег, положил ее в большую корзину и торопливо зашагал в сторону гор.

Утром мать Сальмы обнаружила убитую собаку. Муза, поняв, что Сальма исчезла, задрожала от охватившего ее ужаса: теперь она знает, что оманские красавицы исчезают не только в стволах высохших пальм, но и в корзинах, в которых их уносят в горы.

По пути в Неджд, когда запах моря уже не чувствовался и началась бескрайняя пустыня, Сальма кричала и билась в истерике. Крик ее, поначалу громкий, стал ослабевать, как свист удаляющейся пули, наконец смолкнул совсем, но вдруг возобновился с прежней силой. Она замолчала, лишь когда увидела рядом с собой Фадду. Обняла ее и поцеловала, дала ей немного фиников. Фадда, напоминавшая ей Музу, шепнула, что несколько всадников выехали, чтобы спасти их и вернуть в Оман. Сальма молчала, прислушиваясь, но был слышен только топот верблюжьих копыт и крики слуг Абу Дустайна.

Так Сальма превратилась в золотые монеты, осевшие в потайном кармане на поясе Абу Дустайна. Первую свою ночь во дворце она провела в комнате черной рабыни, очень рослой, с обвисшей грудью. Она была кормилицей детей хозяев этого дворца и занимала особое положение. Когда Сальме сказали, что эта рабыня по имени Лувайлува будет отныне для нее матерью и она должна ее так называть, девочка снова закричала. Ее охватила злость, и она упорно не желала выполнять никакие приказания.

Больше она никогда не увидела моря, только мечтала о нем. Море убежало от нее волной, которая так и не вернулась.

Ее сердце ныло, когда она думала о матери: как сообщить ей о том, что она жива и что кости и бусинки в горах — не ее.

Сальма оставалась дикой и злой, и обитатели дворца прозвали ее скорпионом.

Много лет ее передавали из рук в руки. Рождавшиеся у нее дети почти сразу умирали, не помогали даже амулеты и талисманы, которые ей советовали носить другие женщины. Припадки страшной болезни становились все чаще. Во дворце это считалось плохим предзнаменованием, и там начали говорить, что она сумасшедшая.

Старость подкралась и к ней. Серебряные кольца на ее тонких пальцах почернели, а ее хозяйка стала искать способ избавиться от нее, чтобы выполнить обет дать Сальме свободу, если ее, хозяйки, сын вернется из Ирака. Лувайлува уже давно умерла, а припадки эпилепсии у Сальмы случались все чаще. Все смотрели на нее со страхом, не осмеливаясь приблизиться, чтобы вытереть белую пену у рта.

Когда Сальме исполнилось пятьдесят лет, она три дня не выходила из своей комнаты. Она болела, но никто так и не решился войти к ней. Тогда шофер Мубарек перевез ее и ее вещи в дом престарелых, охранником в котором долгие годы служил Сайф аль-Омани. Он давно покинул Оман и здесь встретил свою старость.

Утром она ждала, когда во дворе застучат подошвы его сандалий. Они разговаривали, вспоминая море Омана, его Волны и блеск мраморных гор, на вершинах которых лежат облака. Она так часто и подолгу простаивала у двери, беседуя с ним, что обитатели дома рассудили, что свадьба не за горами. Сайф

с воодушевлением готовился к ней, а Сальма плакала на его уже ненадежном плече и рассказывала, что ее маму зовут Сайда, а сестру — Муза.

Вечером Сайф пел ей старинную оманскую песню под аккомпанемент тамбурина. Сальма хлопала в такт музыке худыми руками, пальцы которых были унизаны почерневшими от времени серебряными кольцами, и вторила ему: «Он взял и увел ее...»

ХАЙРИЯ ИБРАХИМ АС-САКАФ

Наши пути разошлись

Когда рассветает и солнце освещает своими лучами землю, соловей отряхивает свои влажные от росы крылья, готовясь к новому дню, наполненному порханием и птичьим пением, когда раздается крик петуха, возвещающий начало нового погожего дня, она просыпается...

Обычно она встает первой, молится, затем ставит на огонь кофе, и в душе разгорается пламя ее безграничной любви. Отсветы пламени рисуют на стенах замысловатые рисунки...

«Я думаю, что всегда жила, ощущая его своей кожей, что моя кровь смешивалась с кровью, текущей в его жилах».

Она отрезает кусок хлеба, сыра, наливает чашку кофе и несет ему. Он привык так начинать свой полный борьбы день. Она видит в этом черты настоящей мужественности.

Его твердость... его уверенность... его преданность!

«Мужчина борется... я в этом не сомневаюсь».

Тем не менее его положение ничем не отличалось от положения других жителей бедного квартала в пригороде Джидды.

Она успокаивает себя и прячет тайны двух сердец от любопытных глаз соседей. «Все судачат о нас! — говорит она себе, не забывая сплюнуть через левое плечо и пробормотать: — Спаси, Аллах, от шайтана!»

Что касается Саида, то большую часть дня, а также час, а иногда и несколько часов вечером он работает.

Увидев, что он возвращается, она тут же забывает, о чем целый день собиралась его расспросить, что твердо решила узнать, как ему работалось, чем он занимался, с кем разговаривал. В чем состоит его работа?.. Ей так хотелось пережить вместе с ним все события этого дня, хотя бы слушая его рассказы, окунуться в окружающую его обстановку, хотя бы в воображении, увидеть себя вместе с ним, ощутить его каждой клеточкой своего тела. Но как только она видит, что он возвращается, тут же забывает о том, что хотела, оставляя это на следующий день, а потом еще на день и еще... и так без конца. «Его лицо заставляет меня забыть все мои вопросы... Его лицо — это мои мгновения, мои вечера, мои ночи и утра!»

Он приходит уставшим... а от зарплаты у него остается лишь дирхем или два... Она даже намеком не дает понять, что хотела бы попросить что-то для себя. Достаточно того, что она проводит день, готовясь к его возвращению и, едва увидев его, сразу забывает все свои огорчения. Даже когда порвется ее платье, она чинит его так, чтобы он ничего не заметил. Часто она надевает свою галабею и, босая, идет к сапожнику забрать обувь. Однажды он спросил, почему она ходит босая. Она, рассмеявшись, ответила, что слышала в городе, как это полезно для здоровья, и она уверена, что их деды и бабки ходили босиком.

Однажды, покачав головой, он сказал:

— Ты очень умна! У меня нет и четверти твоего ума!

Часто она проводила вечера рядом с ним... он говорил о своей усталости, вздыхал, и она боялась дотронуться до его головы. Она клала свою голову ему на грудь... «Я слушаю удары его сердца, созвучные биению моего сердца, моим ощущениям. Если бы я умела постигать смысл этого биения! Если бы я могла понять язык его сердца!»

Иногда, случалось, он смеялся, и все смеялись вокруг. Это же естественно, когда человек смеется. Когда он смеялся в день объявления дня их свадьбы, ее душа пела, потому что он был для нее всем миром! А все, что не он, — обыденность, не заслуживающая внимания. Она говорила об этом со всей непосредственностью, не задумываясь, как о чем-то вполне естественном.

Он — ее надежда. Он — ее уверенность, которая поддерживает ее, будто она — перышко, приземлившееся в расщелине горы.

Живя с ним, она продала все ценное, что у нее было: две золотые монеты, подаренные ей отцом в день свадьбы, серебряный браслет — подарок матери и другие вещи. Прах... все материальное — прах... все, что не он, — прах!!!

Ее вера в него только крепла. Она вознесла его в заоблачные выси. Поднялась вместе с ним на вершины гор, оставив внизу все унижения, слабость и уныние. Он преуспел во всем... он учился и стал образованным человеком! Получил должность и стал важным чиновником. А она сидела допоздна вместе с ним, молча подавала ему кофе и финики, отдавала ему свою любовь, не сводила с него глаз, в которых светились все чувства, столь необходимые человеку на трудном пути.

Саид первым в их бедном квартале получил диплом... Однажды она сидела, наблюдая, как он читает, и размышляла: «Я вижу буквы его глазами... я постигаю страницы книг его умом... я погружаюсь в глубины знаний и плыву вместе с его мыслями. О! Никого нет лучше тебя, Саид!.. Свет лампы в нашем доме превратился в электрический, а один-два дирхема — в десятки и сотни... и многое другое...»

Утром она проводила его как обычно: «Он вернется к обеду. Теперь он возвращается в другое время. Мы стали меньше времени проводить вместе. Вечерами он задерживается. Время сократилось... но наша жизнь превратилась в прекрасную розу, благоухающую на пышной зеленой ветке...»

Он вернется в обед. Она встретит его. Один миг... другой... несколько часов... время сжалось... Она вздрагивает, услышав его шаги.

— Аида... Аида...

— Здравствуй, Саид! Ты улыбаешься? Случилось что-то хорошее?

— Может, тебя это не так обрадует, как меня...

«Значит, то, о чем болтают кумушки в квартале, правда? Он уедет в город, где ему дают дом и машину с водителем...»

— Почему?

— Потому что ты не поймешь...

— Не пойму?! Чего?

— Того, что я уезжаю в город...

— Ты собираешься уезжать?

— Один...

— А мы? Наша жизнь? Наша семья? А почему без меня?

— Ты не сумеешь жить в городе...

В оставшиеся до отъезда несколько дней она не переставала плакать. «Глубокое течение уносит нас. Я плыла против течения. Я не знала, что у реки есть притоки, пока не увидела их своими глазами. Глубокое течение с его порогами и водопадами окружает нас, затягивает нас. Я плыла против течения».

Когда он уезжал от нее, она протянула руку, прощаясь...

— Ты должна вернуться в дом родителей, — сказал он.

Она плакала в доме родителей, даже кожа на руках ее потрескалась из-за пролитых горючих слез. Сердце ее ныло нестерпимо.

Она сидела, ожидая известий о нем... Отец протянул ей письмо. Она плакала и смеялась:

— Я не умею читать, отец!

— Если бы ты умела, если бы ты научилась плавать, ты бы не плыла против течения.

— Что он пишет? Он хочет меня видеть? Он приготовил для меня дом? Он ждет меня?

Отец вышел, закрыв за собой дверь. Глядя на его спину, она поняла, что это конец, что река высохла...

Она не понимала, что сама вырыла яму, поглотившую всю воду, которой было так много...

Отец не давал ей погибнуть в этом иссохшем русле... он ходил вокруг нее, то уговаривая, то сердясь. Позор! Чтобы девушка мечтала о мужчине, который бросил ее?! Какой стыд! Грешно думать о мужчине, которому ты не нужна.

Душевные страдания вконец измотали Аиду. А Саид в это время привыкал к городской жизни, к нравам горожан, к непрерывной борьбе за место под солнцем.

Дни проходили...

Однажды отец торопливо вошел и сказал:

— Аида, завтра ты выходишь замуж за Аввада!

Огни... Люди смеются, бьют в барабаны... Дети радостно кричат... Кто-то накрывает столы во дворе, кто-то борется с пылью, обрызгивая водой землю...

Частички влажной пыли смешались на ее щеках со слезами, лившимися из глаз.

После свадьбы Аввад завладел ее рукой, но не сердцем... Покидая дом отца, она подавила в себе последнюю бившуюся в ней частичку жизни.

Пыль, поднятая колесами их машины, забивалась отцу в нос. Аида обернулась, взгляд прирос к заднему стеклу машины.

Ей показалось, что она видит его...

Ей показалось, что он стоит, прямой, рядом с ее отцом... узнать бы, о чем они говорят... Ветер донес до нее его еле слышный голос... она вытянула шею... Машина уносила ее, заглушая звуки голоса... Видение исчезло...

Превратилось в призрак...

Она так и не узнала, действительно ли он вернулся...

ШУРФА ШАМЛАН

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ

Первый эпизод

Мне двадцать лет, я уверена. Моя мать умерла, когда мне было десять... Когда я приехала сюда, мне было семнадцать, я считала: каждый год я сажала по пальме. Здесь я провела три года. Я знаю это по приездам отца: каждый Рамадан он навещал меня, три раза...

Другой эпизод

Сегодня канун праздника. Праздник — завтра. Наше обиталище украшается, но не для праздника. Нас посетит инспектор...

Я попросила бумагу и ручку, хотела написать длинное письмо... маме и поздравительную открытку отцу. Мне отказали... Они боялись, что я напишу жалобу и отдам инспектору... Я долго смеялась, ведь я не умею писать...

Эпизод

Я долго смеялась, глядя на чиновника: он выглядел таким важным, надутым... Санитары выстроились по обе стороны от него... Когда он подошел ко мне, главный врач прошептал ему на ухо: «Она опасна!»... Я слышала!

Я хотела рукой дотронуться до его абайи... Он изобразил на лице улыбку и сказал:

— Чего ты хочешь?

— Я хочу потрогать твою абайю...

— Зачем?

Я попросила его подойти поближе и прошептала:

— Посмотрю, сколько она может стоить, если ее продать... Хватит ли денег на сладости ребятишкам из моей деревни?

Он рассмеялся и вышел... Главврач таращил глаза и дрожал от страха...

Последний эпизод

Главврач... Его вид смешит меня... Его лицо исцарапано... Это я сделала... ногтями... Он хотел сломить мою гордыню... Я захотела сломать ему нос... но не получилось... Только раскрасила его физиономию его же кровью...

Маленький эпизод

Санитарка принесла мне еду. Я ни о чем ее не спрашивала. Она сама сказала:

— Я отдала мясо соседской собаке... она голодная...

— Она заслужила это...

Показательный эпизод

Медсестра, как обычно, приходит делать укол... В руке ее шприц, но она не вонзает его мне в руку: она выливает содержимое в другой пузырек и прячет его у себя на груди... Мне все равно... Правда, после укола я уношусь в прекрасные, необъятные миры... но потом я возвращаюсь в темноту, меня мучает головная боль...

Я сказала сестре:

— Я хотела бы, чтобы ты принесла мне пальмовых колючек...

— Зачем? — безразличным голосом спросила она.

— Я сделаю из них ограду для моей постели, чтобы мой живот не округлился...

Я дотронулась до ее живота... Глубоко вздохнув, она встала, поправила свой халат и вышла...

Ранящий эпизод

Однажды отец купил мне браслеты. Я была очень рада, показывала их подружкам... Жена отца купила себе ожерелье, кольца, много браслетов... Мне все равно. Я рада, что отец разбогател...

Я сидела, любуясь, как переливаются на свету браслеты, отражая лучи солнца... Услышала страшный грохот: огромная машина уничтожает наш

сад, подбираясь к моим пальмам... Я закричала и бросилась бегом в сад, села перед колесами машины... Жена отца оттаскивала меня:

— Мы продали сад. Здесь будет улица...

Я вцепилась ей в волосы, исцарапала лицо...

— А ты не спросишь, откуда эти браслеты?!

Я бросила браслеты под машину... Потом... меня привезли сюда...

Последний эпизод

Уборщица сказала мне:

— О тебе написали в газетах...

— Зачем?

— Инспектор послал сладости детям твоей деревни...

— Они обрадовались?

— Да! Они отправили телеграмму с благодарностью... ему...

ХИССА МУХАММЕД АТ-ТУВАЙДЖИРИ

Мои волосы снова отрастут

Я посвящаю это каждой девушке нашей страны, которая представляет себе супружескую жизнь чем-то вроде дружбы, которую сопровождают любовь, сотрудничество, самопожертвование и взаимопомощь.

* * *

— Тебе что-то нужно?

— Нет, ничего...

— Что случилось? Ты сердишься на меня?

— Пока нет...

— А почему ты молчишь?

— Так лучше...

— Что ты имеешь в виду?

— Сам понимаешь...

— Я устал от этого. Что ты темнишь?

— Я не знала, что ты дурак...

— Дурак?! Кто это сказал?

— Никто...

— Ты сегодня не в духе?

— Нет, дело не в этом...

— А в чем? Ты не хочешь даже разговаривать.

— Возможно...

— Ладно, я пошел...

— Прощай...

Хлопнув дверью, он ушел. Я посмотрела на кресло, в котором он только что сидел, на дымящуюся в пепельнице сигарету — он всегда их оставляет. А когда злится, срывается с места и уходит из дома, забывая все на свете, даже важные документы. А через час возвращается за ними. Я стараюсь не встречаться с ним в такие моменты. Иногда он присылает шофера. Иногда не происходит ни того, ни другого...

Я продолжала смотреть, и взгляд мой упал на сложенную газету, до которой он так и не дотронулся. Интересно, что помешало ему прочитать сегодняшний номер, когда он пил чай? И вдруг вспомнила, что сегодня я не приготовила и не подала ему чай. Более того, я осознала, что случилось это впервые за время нашей совместной жизни, и почувствовала непреодолимое желание нарушить ход этой монотонной каждодневной жизни...

Я страдала из-за того, что наши чувства остыли. Надо, чтобы он понял, как это мучает меня. А может, он и сам испытывает нечто подобное, понимает, что нашим отношениям приходит конец.

Я встала, вышла из гостиной на балкон. Надо найти какой-то выход. Наша жизнь стала скучной и однообразной, наши взгляды на многое не совпадают. Мы, однако, не похожи на другие супружеские пары: мы не обсуждаем открыто наши проблемы, мы не ссоримся... мы просто молчим, и это молчание с каждым днем становится все тягостнее.

Он пытался пробить стену, разделившую нас, но не умеет это делать. А я все больше отдаляюсь от него. Поэтому совсем не стремлюсь что-то исправить, наладить наши отношения и не пытаюсь обсуждать с ним наши маленькие проблемы. Чаще всего стараюсь не сталкиваться с ним.

Он вернулся в полдень. Я слышала его шаги в гостиной, но не поспешила ему навстречу, как обычно. Не старалась изобразить на лице улыбку. Хватит этих спектаклей! Я подумала, что нельзя дольше изображать то, чего уже нет. Решила проявить смелость. А потом и сделала это... Услышала, как он остановился и робким голосом позвал меня. Но у меня не было желания отвечать... Я мысленно улыбнулась... Нет ничего хуже, чем жизнь без любви, это мучительней, чем жизнь с человеком, на которого нельзя положиться...

Он остановился у двери балкона. Я сидела спиной к нему в дальнем конце балкона, глядя на вьющийся по противоположной стене жасмин. Его взгляд жег мне спину: он рассматривал мои волосы, которые я отрезала сегодня утром по плечи. Он быстро подошел, встал передо мной. Я смотрела на его начищенные ботинки. Мне хотелось поднять глаза вверх, но для этого нужно было набраться еще большей смелости... Я вспомнила о принятом решении и с вызовом взглянула прямо ему в глаза — он был явно удивлен и ошарашен. Наклонился, взял прядь моих волос и, глядя на меня с беспокойством, тихо спросил:

— Что это?

— Ничего! Это мои волосы! — поспешно ответила я, делая вид, что не понимаю его вопроса. Затем встала, повернувшись к нему спиной, и перешла с балкона в гостиную. Я слышала его шаги за спиной. Но не успела дойти до дивана, как он схватил меня за плечи и повернул к себе лицом. Мои мягкие волосы разлетелись и закрыли мне лицо. Я тряхнула головой, чтобы волосы не мешали мне видеть. Наши взгляды встретились. Он сердито потряс меня и строгим голосом, в котором слышалось возмущение, сказал:

— Зачем ты это сделала?

Я дернула головой, высвобождаясь из его рук, и быстро села на диван. Мне стало трудно дышать. Потеряв свою уверенность, я опустила руку, не пытаясь больше поправлять волосы. Он подошел ко мне. Я думала, что он снова позволит себе грубость, поднимет на меня руку. Я знала, как он любил мои волосы, как восхищался ими. И все же без колебаний решила: будь что будет...

Он опустился передо мной на колени, в его глазах читалось отчаяние. Затем он сел на подлокотник дивана, закрыв лицо руками. Я ждала, что он скажет. Действительно, он поднял голову и печально, как будто говорил сам с собой, спросил:

— Зачем ты сделала это? Зачем остригла свои длинные волосы? Ты же знаешь, какими великолепными они были!

Я отодвинулась от него и с вызовом произнесла:

— Я буду делать что хочу! Мне надоело все время подчиняться тебе. Ты обращаешься со мной, как с куклой, которая нужна тебе только для того, чтобы играть с ней. Ты дурак, если думаешь, что у меня не может быть никаких чувств и желаний! Не понимаешь? Я возненавидела себя, ведь я выполняю все твои требования, даже не задумываясь, согласна ли я с ними... С этого дня все изменится! И волосы — мои! Я отрезала их, так как имею на это право! И вот еще что... Я пойду работать, продолжу учебу, и в этом доме у меня будет право высказывать свое мнение! Но задержусь ненадолго... Потом я уеду, так как хочу почувствовать, что полностью осуществила свои права!

Я встала и ушла в кабинет, как обычно делала, когда мне бывало плохо. Он знал это и не пошел за мной... И, как обычно, мы не стали выяснять отношения и искать выход из положения.

Прошла ночь... Мы продолжали молчать. Утром он отправился на работу. Я не вышла провожать его. Решила не делать то, чего не хочу... перестать притворяться... Вечером он вернулся, но меня уже не было... За это время я окончательно решила освободиться от оков моей ничтожной жизни. Жизнь слишком коротка, чтобы жить страдая. Жизнь дается один раз, так стоит ли продолжать эти мучения?! Счастье — в наших руках! Счастье — это не манна небесная, которая падает с неба, чтобы избавить нас от горечи отчаяния. Все в наших руках...

Он пытался вернуть меня к прежней, унизительной жизни, но я отказалась и сделала то, что хотела... Закончила учебу и пошла работать. А мои волосы снова отросли, и я больше не собиралась их стричь.

Перевод с арабского Александры СИМОНОВОЙ.



Дорога к мудрости

МУХАММЕД ХАСАН АВВАД

Секреты жизни и природы

Скажи, какой секрет таят в себе ветра,
что обжигают днем, но студят нас с утра?

Какой секрет лежит на темном дне озер?
На них — то тишь да гладь, то волны выше гор.

До наших дней ответ не найден человеком:
кто гонит шар земной вкруг Солнца век за веком?

Зачем и почему горят ночами звезды,
сменяет утро тьму, садятся птицы в гнезда?

Кому права даны вершить, когда придется,
затмения Луны, а иногда — и Солнца?

И сами мы, скажи, в угоду чьим кумирам
живем во зле и лжи и несогласье с миром?

И почему не жизнь, а смерть царит над нами,
владея и душой, и нашими умами?

Когда-нибудь опять дано ль науке с верой
для всех народов стать одной духовной мерой?

Кто нам подарит шанс вновь превратиться в зрячих,
чтобы изгнать того, кто правду жизни прячет?

Коль заповедь отцов мы отвергаем сами,
то так в конце концов поступят дети с нами.

Живи! Люби людей под ширью поднебесной.
Знай: без секретов — жизнь была б неинтересной!

МУХАММЕД САИД АЛЬ-АМУДИ

Рубаи

Неужто конец — это впрямь возвращение к прошлому?
Коль знать бы то раньше, я не был бы так удручен.
Но кто мне простит теперь глупую тягу к хорошему
и то, что стремленьем любить я был так увлечен?

Полжизни живем мы, скитаясь по роще отчаянья,
мечтая, что скоро созреют здесь чудо-плоды.
Но наши иллюзии — все безвозвратно отчалили,
и жизнь, точно море, давно их слизала следы.

Не верьте тому, кто возносит свободу как стяг.
Свобода — мираж. Разве жажду залить миражами?
Бесплоден Восток. Там лишь ветры на всех скоростях
гоняют песок. Ну а Запад — бандюга с ножами.

Разрушены оба — восточный и западный мир,
и их не спасет даже память о прошлой их славе.
Так будет со всеми, кому станет деспот — кумир
и кто страсть к наживе на первое место поставит.

Что силы нам даст, как не грезы о верной любви,
которыми мы ограждаем себя от злодеев,
что землю давно утопить бы хотели в крови,
вселенское зло этим самым планете содеяв?

Любовь — это сила, которую не одолеть.
А опыт и знания — к мудрости верной дорога.
Не бойтесь мечтать. Нас мечты подгоняют, как плеть,
и к цели ведут, опекая любовно и строго...

ХАШИМ АЛЬ-ДЖАХДАЛИ

Протокол свидетельских показаний

1
Начало

Юный поэт, сочиняя баллады,
в иве густой и дуплистой
прячет себя от докучливых взглядов,
будто бы в роще тенистой.
Я для себя
выбрал лучшие кущи:
место мое — было в розе цветущей.
Ах, как она мне блистала!
Но — моим небом не стала.

2
Песня

Подросток около моря,
глядя через туманы,
с прозрением в юном взоре
выстраивает свои планы.
Девочка на берегу —
завтрашняя невеста —
месит рукой загорелой
текучее «тесто» —
из горизонта, дождя
и песка золотого...
На пеликана при этом глядит молодого,
что возле берега
ветер легонько качает,
и — капли крови
на крыльях его замечает.
Там же, на море,
где чайки несут нам приветы,
смерти моей
вы отыщете скоро приметы.

3
История жизни

Уходит тишина в закат, сгорая.
Приходит к морю
человек в тоске,
и море — его душу забирает,
стирая след и имя на песке.
Тот, кто умрет, —
навек простится с болью,
став навсегда
водою, йодом, солью...
....
Но тем, кто жив, надежда греет кровь,
что всяк умерший — возродится вновь.

4
Одиночество

Я был один, забыт тобой,
я распростился уж с судьбой,
и в этот миг я обнаружил,
что я живу в системе той,
где сотни солнц по небу кружат,
чтоб каждый день был светел твой.
....
Куда ты от меня уйдешь?
Ведь ты — в крови моей живешь.

5
Акт творения

О, девочка моя! Ты — мой творец!
Из моего ребра ты в мир явилась,
где расцвела, как роза, сделав милость,
создав меня тем самым, наконец!..

ГАССАН АЛЬ-ХУНАЙЗИ

Льняная женщина

То ль это явь, то ль это сон,
то ль воплощение надежды —
ты нарядила мой балкон
в льняные, влажные одежды.
Тогда был час дневной жары,
когда все прячутся в покои,
и только легкие ковры
дорогу преграждают зною.
Потом упал закат,
и ты пришла раздвинуть ткань прилежно,
на фоне близкой темноты
порхая бабочкою нежной.
И вот опять — во мраке таешь,
как будто вправду — улетаешь...

Сила страсти

Красота — это гостья
из тех лучезарных высот,
что доступны не всяким,
но, если кому повезет —
надо быть начеку,
чтоб моя голова не слетела
от восторга, в каком
и душа цепенеет, и тело.
Вот рука, что я знаю
не хуже, чем знаю свою —
ту, что ныне скользит
по ногам твоим, бедрам и дальше...
Вот душа — вся, как плач, —
что противится сна забытью
и вхожденью в безумную явь,
что наполнена фальшью.
Что за странная близость!
Мы будто утратили вес,
ничего не осталось —
лишь наших объятий беспечность.
Слишком много дано нам сегодня
по воле небес,

этот день превращая
в сладчайшую жаркую Вечность.
Никакими словами
не выписать этот экстаз!
Никакими стихами
не спеть песню праздника тела,
когда влага любви
орошала, как дождиком, нас
и, все боли гася, как бальзам,
страсть струной в нас звенела!..
...Когда тело — ветшает,
наполнившись старческих мук,
нужно вновь возжелать
тех ночей, что дарили нам счастье.
Смерть — как раз и крадется
по пальцам дряхлеющих рук,
когда те забывают
объятья сжигающей страсти.

АХМЕД АЛЬ-МУЛЛА

Смысл движения

Мне Дух Пути сказал:
— Постой, мой друг,
коль ты не видишь ничего вокруг —
то для чего тебе вперед стремиться?
Слепой ходьбой — нет повода гордиться.

Дерево

Дерево, что в сумраке кричит, —
ранено смертельно одиночеством.
Бедное, ему давно не хочется
жить в своей тени, словно в ночи.
Кто прервет хоть на мгновенье путь
и под ним присядет отдохнуть?
Кто его своим теплом согреет?
Горько в одиночестве стареет
дерево, кричащее в ночи...

АБДАЛЛАХ САЛИХ АЛЬ-УСАЙМИН

В мире легенд

Когда я был маленьким, я был готов
всю ночь напролет слушать бабушки сказки
про псов двухголовых, крылатых котов,

про львов и про змей, обожающих пляски.
И все одногодки мои и друзья
внимали легендам таким же, как я,
под сердцем храня леденящую жуть...
Но разве нас кто-то хотел обмануть?..

* * *

И вот я прошел через долгую жизнь,
себе говоря то и дело: «Держись!»
Стал волос седым мой, стал старческим вид,
а мир — до сих пор из легенд состоит.
Все стали вокруг — мастера болтовни,
победу — в беду превращают они,
а об интервенции так говорят,
как будто то был лишь военный парад!
Мне раньше твердили: «Израиль — не прав»,
и я восставал ради попранных прав.
Но разве победу в сраженье найдешь,
когда командир в том сражении — ложь?..
И снова я слушал, как там или тут
лукавые люди легенды плетут,
из хода столетий творя миражи
при помощи горсточек правды — и лжи.
То скажут: «Измена!»
То скажут: «Беда!»
То скажут: «Да нет, все идет как всегда!»
И я уж не чувствую важность борьбы.
И я отхожу от народной судьбы —
пусть те, кто сильнее меня и умней,
родятся в отчизне и властвуют в ней...
Я вдоволь сражался. Я песни слагал
о том, как я в тяготах изнемогал.
Я стойкость, как символ, в стихах водрузил.
И тут — меня Киссинджер планом сразил.
Везде зазвучали о мире слова,
и сразу вскружилась у всех голова,
и тот, кто вчера был заклятым врагом,
глядишь — стал обласкан и принят кругом,
а те, кто к борьбе призывали вчера, —
уже компромисс воспевают с утра...
Я — песней тянул через годы свой путь.
Так что ж мне — всю жизнь теперь перечеркнуть?..

Все стало легендой.
Вчера все вокруг —
одно говорили.
Сегодня же вдруг —
твердят по-другому,
как годы назад,
дразня меня правд и неправд свистопляской,
да так, что я вновь, как в капкане, зажат
меж нынешним веком и бабкиной сказкой.

Но если я раньше легенды — любил,
то век нынче ложью любовь ту — убил.

Перевод с арабского Николая ПЕРЕЯСЛОВА.

АДНАН АС-СЕЙИД АЛЬ-АВВАМИ

Одежда

Ты даже в одежде раздета.
Не выручают тебя ни шелка, ни шифоны.
Другие, может, и не замечают этого, —
Из тела ж моего душа при этом — вон.
Когда бы был я посмелее,
Простер к тебе бы алчущие руки...
А так... И двинуться к тебе не смею —
Только любуюсь, укрощая сердца перестуки.
....
А мог бы и обнять
Манящее, волнующее тело...
А мог бы и сорвать с тебя обертки тканей.
Но черный твой бархат —
И в этом-то все дело! —
Сползает с тебя сам под моим взглядом
И обнажает черной ночью белое твое тело.
И стройность его, и красу.
Прочь все наряды!
(Завидуй мне любой!)
А объявившаяся тут как тут любовь —
«Иди! И ничего не бойся!» —
Легла нехоженой тропой
Сквозь ароматы роз
И звонкую
Росу.

Перевод с арабского Валерия ИСАЕВА.



ВЛАДИМИР ГНИЛОМЕДОВ

Где прожил жизнь — там Родина*

Никто пока что, кажется, не обратил внимание на один примечательный юбилей нынешнего, XXI века: исполняется тысяча лет белорусской, а вместе с ней и двум другим восточно-славянским литературам — русской и украинской, отсчитывающим свой исторический возраст с XI века. Корни у них общие, и государство было общее — Киевская Русь, после разрушения которого их пути разошлись, но связи не прекратились, не утратили своей глубины и продуктивности, хотя судьбы сложились по-разному и каждая из них достигла немалых успехов.

Исследованию взаимосвязей белорусской и русской литератур, белорусской и украинской посвящен ряд научных трудов, предпринятых и изданных в разное время[1]. Русская литература, как и украинская, — это корпус текстов, созданных соответственно в России и в Украине, но русскоязычные, как и украинскоязычные, не говоря уже о польскоязычных, создавались нередко различными авторами и в самой Беларуси, на белорусской земле, уроженцами которой они зачастую и были.

В чем природа этого явления, как оно связано с историей Беларуси и ее культурой, традициями, наличествуют ли в Беларуси соответствующие условия для развития русской литературы, можно ли, в конце концов, стать профессиональным литератором, живя в инонациональной и инокультурной среде? В сравнении с Москвой, Санкт-Петербургом, если говорить о русской литературе, Минск — провинция. Но это еще ровным счетом ничего не значит — у литературы, у поэзии свои законы, искусство обращено к «городу и миру» одновременно, и чего стоит город без мира?! Равно как и мир без города.

Речь наша — о поэзии. Сегодня русскоязычная литература Беларуси, в частности поэзия, в количественном отношении очень богата, о чем свидетельствует составленная и изданная А. Аврутиным антология, включающая произведения 222 авторов[2]. И это, разумеется, не все, а только наиболее приметные, известные. В антологии представлена лирика широкого общественного звучания и интимная, философские раздумья и непосредственный всплеск чувства, портретные зарисовки и впечатляющие пейзажи. Слышны голоса самой жизни, бесконечно разнообразной и изменчивой. Составитель представляет современных русских поэтов Беларуси как «продолжателей дела, начатого еще

---

* Продолжение разговора о современной поэзии, начатого в № 1, 3, 2012 г. статьями Г. Киселева, А. Тявловского.

[1] Перкин Н. С. В семье братских литератур. Мн., 1967; Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. М., 1973; Сравнительное изучение славянских литератур. Мн., 1973; Бярозкін Р. Звенні. Творчая індывідуальнасць і ўзаемадзеянне літаратур. Мн., 1976; Гапова В. И. Белорусско-русское поэтическое взаимодействие. Мн., 1979; Нарысы гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: У чатырох кнігах. Мн., 1993—1995; Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: культурна-гістарычны і літаратуразнаўчы аспект праблемы. Мн., 2002.

[2] Современная русская поэзия Беларуси. Антология. Сост. А. Ю. Аврутин. — Мн.: VII «Технопринт», 2003. – 200 с.

«отцом» русского символизма в поэзии Николаем Минским и его великим предшественником Симеоном Полоцким»[1].

Так это или не так? Белорусская и русская литература, как уже говорилось, относятся к давним, вековым литературам. За долгие годы и столетия они дали миру немало выдающихся писателей, судьба которых оказалась очень сложной и неоднолинейной. Некоторые из них вынуждены были распрощаться со своей Родиной, поменять, так сказать, пространство функционирования своего таланта. Чаще всего это случалось во время больших социально-общественных катаклизмов, революционных переворотов, кровавых войн. К таким деятелям русской литературы принадлежал, например, выдающийся писатель XX в. Владимир Набоков, состоявшийся — как признанный, большой художник — в инонациональной среде, в иноязычном и инокультурном пространстве. Он талантливо писал и по-русски, и по-английски, но сохранил языковую индивидуальность русского человека и писателя.

Симеон Полоцкий (1629—1680) — это век XVII. Это выдающийся белорусский поэт, русскоязычным мы бы его не назвали. Белорусскоязычным он, думается, оставался и в Москве, воспитывая детей царя Алексея Михайловича и честно служа делу просвещения современников, созданию гуманного и разумного гражданского общества, основанного, как он мыслил, на норме и мере. Покинуть Беларусь, родной Полоцк, и перебраться на жительство в Москву (1667) его, белоруса по рождению, вынудили недобрые исторические обстоятельства — поддержанная магнатами и шляхтой волна польской культурной экспансии, притеснявшая белорусскую городскую культуру той поры. Пройдет еще некоторое время, и будет издан закон (1697), по которому государственным языком в крае объявят польский, а белорусский язык будет запрещен.

Симеон Полоцкий, и здесь А. Аврутин прав, оставил глубокий след в истории белорусской и русской литератур как поэт барокко, основоположник поэтических и драматургических жанров, выдающийся просветитель и проповедник. Известный русский просветитель XVIII в. Н. И. Новиков видел в нем зачинателя русской силлабической поэзии и отмечал в его сочинениях «остроту разума, искусство и дух стихотворческий»[2].

Николай Минский (1855—1937) тоже родился в Беларуси, в местечке Глубокое на Витебщине, в небогатой еврейской семье. Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Петербургского университета, где получил степень кандидата права, но посвятил себя литературе, печататься начал с 1876 г. В России конца XIX — начала XX столетия высокого уровня достигла поэзия Серебряного века, в частности такие модернистские течения, как символизм, акмеизм, футуризм. Н. Минский — поэт Серебряного века. Поэзия этого периода является живым прошлым для современной русскоязычной поэзии Беларуси, однако сколько-нибудь ощутимые, конкретные связи между ней и творчеством Н. Минского обнаружить трудно. Н. Минский принадлежал к поколению символистов Владимира Соловьева, которого считал своим духовным отцом, и Константина Романова и сам являлся поэтом значительным, однако его творчество в основном, за редкими исключениями, не выходило за рамки этого литературно-художественного направления, устремленного за видимую реальность мира, взыскуя о мире ином. Символизм, находившийся в оппозиции к реализму, исходил из представлений о двух действительностях — внешней, реальной, доступной нам в ощущениях и опыте, и действительности духовных сущностей, потусторонней, открывающейся не опыту, а вере, откровению, интуиции. Лирический герой поэта часто выглядит некоммуникабельным, погруженным в себя, в свое одиночество, самосозерцание, отъединенным от окружающего мира:

Никого я не люблю,
Все мне чужды, чужд я всем,

[1] Там же. С. 2.
[2] Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. — СПб., 1772. С. 167.

Ни о ком я не скорблю
И не радуюсь ни с кем.
(«Никого я не люблю…»)

В таком своем качестве он вряд ли был близок белорусским поэтам 1980—1990-х годов и начала XXI века.

Назвать Симеона Полоцкого и Николая Минского «предтечами» современных русскоязычных поэтов Беларуси, на наш взгляд, нет достаточных оснований.

Белорусская и русская литературы начала XX века отличались уровнем развития, национальными особенностями художественного сознания и культуры, видением окружающего мира, тематикой и пр. У белорусов к этому времени во многом еще сохранился фольклорный тип культуры, направленной на обслуживание духовно-практических потребностей человека. Про белорусов, про их эмпирический гносис, говорят (и с этим отчасти можно согласиться), что они как народ не пережили эпохи Средневековья (в общеевропейском смысле) и что их дух, мышление, так сказать, не спиритуализировались, то есть не достигли достаточной степени абстрагированности, субстанциональности. Отсюда — наивная непосредственность мировосприятия, наглядность образов, предметность художественного мышления, некоторая приземленность представлений, скромный пока что интерес у писателей к внутреннему миру человека.

В начале XX века Беларусь оставалась окраинной провинцией большой Российской империи, культурная жизнь в которой была сосредоточена в столичных городах Петербурге и Москве. Туда и обращены были взоры молодых провинциальных поэтов, волей-неволей подражавших в своих стихах столичным мэтрам. В связи с этим вспоминается небезынтересный случай, относящийся к 1914 году. Николай Гумилев — даровитый поэт и авторитет в этой области — внимательно следил за новинками русской поэзии, появлявшимися на пространствах российской империи. В его известной книге «Письма о русской поэзии» есть короткий отзыв на сборник стихов молодого поэта из Бобруйска Иосифа Симановского под названием «Новый мир», изданный в 1910 году[1]. Стихи Симановского оказались слабыми, описательными, большей частью подражательными. Гумилев это, естественно, заметил, покритиковал. Покритиковал в своей манере — остро.

«Но — увы, — писал он, — образов в «Новом мире» нет совсем, их нельзя создать такими примитивными средствами, как — начиная существительные с большой буквы, а оригинального в этой книге, если оставить в стороне дурно понятого Андрея Белого, только — ее какая-то особенная дикая несуразность». В завершение автор отзыва пренебрежительно подчеркнул, что единственным оправданием И. Симановскому «может служить только то, что книга издана в Бобруйске»[2]. Гумилев безошибочно почувствовал, что стихи Симановского — провинциально-эпигонское, бездарное ответвление русской поэтической традиции, как она могла заявить о себе где-нибудь на окраине империи.

Неизвестно, то ли в связи с отзывом Н. Гумилева, то ли по какой-то иной причине, но Симановский бросил писать стихи и со временем стал ведущим белорусским библиографом. Позже, уже в советскую эпоху, работал директором Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина, которая сегодня известна как Национальная библиотека Беларуси. Отмечен званием заслуженного деятеля культуры БССР.

* * *

Литература, как известно, вырастает на национальной почве, и в этом ее тайная сила и притягательность. Истину эту открыли в свое время романтики, но она

[1] Симановский И. Новый мир. Стихотворения. — Бобруйск, 1910.
[2] Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. — М.: «Современник», 1990. С. 95.

и сегодня не утратила своего значения. Одно из свидетельств этому — история русской и белорусской литератур.

«Духовные ценности белорусов, — отмечает философ Я. С. Яскевич, — несомненно формировались в контексте восточнославянского менталитета, традиционно испытывая трудности существования между Востоком и Западом и осуществляя поиск собственного пути развития. Белорусская ментальность впитала в себя и униатскую склонность к компромиссам, и героику католицизма, и строгую воздержанность вместе с индивидуализмом протестантизма. Многие исследователи отмечают, что белорусы миролюбивы, для них нехарактерно чувство национального превосходства над другими национальностями. Говоря о толерантности белорусской нации, обычно выделяют такие черты, как рассудительность и поиск справедливости без насилия, стремление к разумному компромиссу, терпимости, чуткость, уважение людей с иным мировосприятием и стилем мышления»[1].

Наблюдения философа представляются нам верными.

Известный московский поэт-переводчик Яков Хелемский — знаток белорусской поэзии, постоянный ее переводчик на русский язык, — посвятил своим белорусским коллегам такие строки:

Люблю поэтов белорусских.
У них стихи — не белоручки,
А работяги-мастера.
За тихим шелестом пера —
Гул жерновов неутомимых,
И скрип колес, и посвист кос,
И эхо самодельной мины,
Врага пустившей под откос…[2]

В этих метафорах слышны отголоски нашей далекой и близкой истории и читается увиденная «со стороны» лаконичная образно-«типологическая» характеристика белорусской поэзии, ее содержательности и эстетической самобытности.

И здесь, может быть, самое время остановиться на национальном моменте, роль которого в поэтическом творчестве всегда была очень значительной. Впрочем, так считают не все. Известная поэтесса Вальжина Морт (в обычном миру О. Мартынова), пишущая по-белорусски, признается в интервью одной из газет: «Ненавижу, когда меня называют белорусской поэткой. Я всегда думала, что поэт — это само по себе национальность, которая не имеет нужды в дополнительных определениях. Нет такого понятия, как белорусский поэт, ямайский поэт… Есть хороший поэт либо плохой, и другой альтернативы не существует».

Нет, уважаемая Вальжина, национальные особенности — нечто реальное и несомненное, их не просто «подмять» под себя, нельзя игнорировать, их необходимо учитывать. Другое дело, что не просто и не легко почувствовать и охарактеризовать эти особенности, которые проявляют себя широко и многоаспектно, обращаясь решительно во всем. Возьмем, например, психологический аспект. В психологической науке отличаются два типа сознания — экстравертный и интровертный. С этой точки зрения русская поэзия более интровертная, белорусская — экстравертная, отдающая предпочтение объекту перед субъектом, которому отводится в общем и целом второстепенное значение. Русская поэзия в большей степени монологична, белорусская — описательная, вместо «Я» — «Он», то есть в стихах белорусских поэтов ощутимее эпическое, повествовательное начало. Они наполнены материальностью, плотевостью окружающего мира, его эмпирической реальностью, предметностью.

В старинной колядке, которая распевалась на Рождество во времена Великого Княжества Литовского и позднее, так рассказывалось о рождении Иисуса Христа:

[1] Яскевич Я. С. Время кризиса — время надежды и диалога. — Мн., 2009. С. 95—96.
[2] Хелемский Я. Из года в год. — Мн., 1973. С. 149.

У Бэтлееме, убогім доме,
У Іесіёвым і Давідовым,
Стварыцель ніне ляжыць на сене;
Вол і асляця грэюць дзіцяця.
Анёлы з неба ўсім даюць знаці,
Каб шлі пасполу Бога вітаці.
Самай паўночнай глухой гадзіны
Першы пастыры беглі к яскіні.
Кузьма з Дзям'янам прад Хрыстам Панам,
Пад самым дахам сталі са страхам.
Першы Мікіта рад Бога віта,
Пры яслях стаўшы, кучомку зняўшы.
Саўка з Яхімам, сваім братымам,
Скора прыспелі, зараз запелі.
Карусь з Тарасам гудзелі басам,
Бутрымка з Кантам пішчаць дашкантам.
Дзямід з Данілам загралі міла.
Барыс з Пратэсам спяшалі лесам,
Міхайла долам спяшаў з Антонам
Грысь з Маланнёю гналі раллёю…[1]

Вещь (по-белорусски вещь — рэч) — то, что говорит, к чему мы обращаемся и что обращается к нам. Она занимает большое место в художественном сознании белорусского поэта, в его выразительном образном мышлении. Красноречивый пример такого мышления находим в пародии на проповедь средневекового (конец XVII в.) священника (скорее всего униата) перед своими прихожанами. Речь в проповеди идет о Боге, который, «под небесы сотворыв птаки: вороны, сороки, круки, кавки, вороб'и и цецеры. На земли сотворыв свини, коровы, волы, медведи и вовчыска; также сотворыв лисицы, горностаи, коты, мышы и иншыя прэўцишные зверата. И побудовав им Господ рай, плотом моцным огородил и полацю его подперл. Тамжэ насеяв дубины, грабины, лешчыны, ольшыны, в огородах насеяв своклы, рэпы, рэдки, морхви, пастэрнаку и иншого хвасту и дэрэва. И ходит собе Господ, глядит, штоб якое порося не вылезло… Аж там свини морков выпопали, вороб'и просо выклювали, зайцы шчэпы поломали. Разсердился Господ и, не знаючы, што далей чыници, ходит соби от стины до стины, от кута до кута; аж надыбав глину и взявся тую глину як лепиць, так лепиць. Улепив руки, улепив ноги, улепив голову з очыма и, улепившы чоловека, крыкнет на него: Адаме, встань! ... Казав жэ им (Адаму и Еве. — ***В. Г.***) Господ у раю есци свеклу, рэпу, рэдку, морков, сливки, грушки, яблыка и померанчы; оно им одного дерева заказав есци. Што ж чынит Эва, сука незбожная: не выцерпила собе з лихом и заказу не слухала, шчоб ей тяжкое великое лихо порвало; урвала яблыко, з'ела и Адамови агрызак дала…»

Вещность, предметность, ощутимость, содержащие в себе внутренний духовный потенциал, — традиционные черты национального художественного сознания. А. Потебня справедливо видел в слове зародыш художественного произведения. Таким и было белорусское слово — образным, предметным, метафорическим, не потерявшим своей «внутренней формы». Оно, можно сказать, «гарантировало» поэзии своеобразную конкретность, предметность художественного изображения, что ее всегда и отличало. В своих «Письмах с Украины» известный белорусский поэт и критик С. Полуян когда-то сообщал: «Особенно удивляет украинцев свежесть и сила белорусской поэзии. Говорят, что народ, сумевший с самого начала своей национальной жизни создать такую поэзию, сумеет и победить все преграды на дороге своего развития, сможет догнать на историческом пути те народы, которые давно идут далеко впереди. Сможет многое взять у них и многое дать им. Сможет и свою дань положить в сокровищницу мировых культурных богатств»[2].

---

[1] Анталогія даўняй беларускай літаратуры: XI — першая палова XVIII стагоддзя. — Мн., 2003. С. 844—845.

[2] Наша ніва. 1910. № 11.

Современный исследователь считает «прирожденной» особенностью белорусского языка его «интонационную эпичность», которая «характерна, — пишет он, — даже нашей лирике. Возникает она из особенностей нашего языка, предметности нашего народного слова, в котором на первом смысловом плане стилистически закреплены конкретные, бытовые значения»[1]. В белорусском слове действительно ярко выражена художественная функция. Эта традиция жива и не утеряла своего идейно-стилевого значения в белорусской поэзии и в наше время, оказывая существенное влияние на эстетический облик слова и стиха, предметность и конкретность его образной структуры. Вот как выразительно она проявляет себя у Р. Бородулина в поэме «Кулина»:

Я давно задумал поэму
про материнские руки,
но так и не мог найти
строгой сюжетной линии.
Слова из строки выскальзывали,
как в детстве из рук лини.
И рифма-рыба,
блеснув, уходила с крючка, —
все созвучия глушила,
все краски топила родная река.
Зато
какая радость,
когда, зевая и задыхаясь,
рифма-рыба,
веселая, сильная, жадная,
Забьется,
бумагу царапая
алыми жабрами, —
удача! Мгновенье![2]
(Перевод И. Шкляревского)

Сочное, «росное», как говаривал А. Велюгин, снятое с народных уст слово всегда было по вкусу белорусским поэтам и писателям.

В русской литературе отразились самобытность и состоятельность России, характер народа, метафизические особенности ее судьбы, в белорусской, надо полагать, также. А в русскоязычной поэзии Беларуси? С ходу на этот вопрос не ответишь, это — проблема, приглашающая к размышлению. Ясно одно, что русскоязычная поэзия Беларуси испытывала и испытывает огромное воздействие русской поэзии.

Зачем ты, российская муза,
Когда день не стар и не нов,
Приходишь в предел белоруса
С космической песней без слов?[3] —

не без доли наивности вопрошал Ф. Мыслицкий — гомельский поэт. Эти нотки рефлексии у него, думается, от русской поэзии, поэзии Серебряного века, от боготворимого им Пастернака.

Исследование современной русскоязычной поэзии Беларуси, к сожалению, не ведется у нас с учетом развития белорусской поэзии, между тем у них было немало моментов соприкосновения и взаимных филиаций.

Массовая поэзия Беларуси периода революции и гражданской войны бытовала на двух языках — русском и белорусском. Эта поэзия отождествляла себя с идеологемами советского режима и сама становилась идеологией, так называемым «жизнетворчеством». Поэтов, особенно молодых, будоражила идея создания «пролетарской

---

[1] Яскевіч А. Грані майстэрства. — Мн.: Маст. літ., 1973. С. 93.
[2] Бородулин Р. Аист на крыше. Стихи. — М., 1966. С. 78—79.
[3] Мыслицкий Ф. Невыплаканный ветер. — Мн., 2008. С. 4—5.

культуры», предлагавшаяся взамен старой, якобы отжившей. Они воспевали машины, механизмы, славили заводы, пели гимны Космосу, выражая тем самым веру в бескрайние возможности человека. Одновременно с ревнителями «пролетарской культуры» существовали и другие писательские группировки, объединения, «артели», выступавшие со своими идеями и программами эстетических поисков.

В Беларуси в 1920-е годы наряду с такими известными белорусскими объединениями, как «Маладняк», «Узвышша», «Полымя», в Минске существовала организационно оформленная группа молодых русскоязычных писателей «Звенья», созданная из русской секции «Маладняка». Туда входили литераторы преимущественно рабочего, пролетарского происхождения — С. Пилитович, М. Гольдберг, Г. Лохматый (Г. Кобец), Е. Садовский, Б. Бендик-Веров и др. Издавался альманах «Звенья». Произведения писателей-«звеньевцев» печатались в газетах «Звязда», «Рабочий», «Чырвоная змена», журналах, издавались отдельными сборниками. Авторами их были, как правило, «ударники», спешно призванные в литературу с заводов и фабрик. Сколько-нибудь крупных поэтов среди них не было.

Во второй половине 1920-х годов в Беларусь неоднократно приезжал В. Маяковский. «Звеньевцы» встречались с ним. Поэт не забывал вспомнить при этом белорусских классиков, о которых отзывался высоко: «Великие мастера есть у вас в Белоруссии, — говорил он в один из своих приездов в Минск, — Янка Купала, Якуб Колас… Я помню переводы Брюсова… Вот еще раз приеду и научусь в оригинале читать…»

Поэзия — органическая часть литературы и по большому счету тоже, как и проза, является летописью времени. В поэзии 1920-х годов ценятся не столько ее художественно-изобразительные возможности, способность к всестороннему и полному охвату действительности, сколько коммуникативная функция — быть лозунгом, призывом, информацией, это значит способность донести до масс определенную идею. Индивидуальное бытие человека подчинялось единому алгоритму идейных ценностей и сублимировалось чаще всего в образе положительного героя-коммуниста, фигура которого была окружена ореолом революционного прометейства. Коммунист трактовался как особенный человек, подчиненный каким-то новым законам и измерениям. Для абстрактно-надуманной справедливости он мог жертвовать милосердием. Перефразируя Маяковского, можно сказать, что никто не видел, чтобы этот герой плакал. В некоторых произведениях 1920-х годов и позднее находим романтизацию смерти, наблюдаем репрессированность плоти.

В 1930-е годы на первом плане по-прежнему оставались ценности общественного порядка, прославлялась героика трудовых будней, производственные достижения, не учитывалась самоценность жизни, человеческая самоценность. Ужесточалась цензура, формировалась партийная бюрократия и усиливался идеологический нажим.

Поэзию называют человековедением. В отличие от науки, где есть широкая, так сказать, бессубъектная зона, поэзия подобных зон не знает. Наука из готового результата изгоняет все индивидуальное. В поэтическом творчестве не только сам процесс, но и его результат настоен на индивидуальном, отмечен личным. В 1930-е годы это отвергали, с человеком менее всего считались, политика вместе с идеологией побежали впереди экономики, утопия превращалась в действительность, в норму возводилось насилие. «Если враг не сдается, его уничтожают», — А. М. Горький. Предписывалось даже (с 1934 года) подвергать пыткам в застенках ГПУ детей от двенадцати лет для получения требуемых показаний. Сталинский гнет, репрессии деформировали развитие литературы, лишили писателей творческой свободы, ввели в состояние депрессии. Духовная жизнь обеднела, усилились подозрительность и недоверие. Очень пострадала за это время русскоязычная поэзия Беларуси, она почти исчезла, поэты, как правило, обратились к нелитературным профессиям и бросили писать.

Отдельный, напряженный период в истории советской поэзии — Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Есть выражение (чье оно, я уж и не помню):

«К штыку приравняли перо». Это — характеристика поэтов военной поры, и она правильная, но дело в том, что она распространялась на советскую поэзию всех периодов, на ее творческий метод, и признавалась критерием ее гражданственной активности. В военный период все было подчинено делу разгрома врага. Понятно, что это было крайне нелегкое, суровое время, но в нравственном смысле честнее, чище, чем предыдущий период. Меньше приходилось врать, голоса поэтов зазвучали более правдиво, открыто, убедительно. Некоторым белорусским поэтам, служившим в редакциях фронтовых газет (А. Кулешову, П. Панченко, К. Киреенко и др.), пришлось перейти на русский язык — язык межнационального общения.

В 1943 г. в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», вышел сборник стихов белорусских поэтов в переводе на русский язык «Беларусь в огне». Составителем и автором переводов был Б. Бендик-Веров, бывший член минской группы русскоязычных литераторов «Звенья». Книга оказалась широко востребованной, в том числе на оккупированной территории, самолетами она доставлялась в партизанские отряды, в которых воевали представители всех народов Советского Союза. В русскоязычных переводах белорусская поэзия сохраняла свойственный ей драматизм, раскованную эмоциональность, открытость темперамента, лиризм, обостренную ностальгию и тоску по родному краю.

Война разрушила демографию Беларуси, белорусских городов, особенно показателен в этом отношении Минск. После его освобождения в июле 1944 года в городе насчитывалось около сорока тысяч жителей. Примерно такое ж положение было и в других городах, увеличивалось количество приезжего населения, что, по-видимому, способствовало становлению русскоязычных тенденций.

В Бресте — это было в 1945-м, летом — по пути из Берлина в Москву остановился на некоторое время известный русский поэт Михаил Луконин. Общительный по характеру, он навестил редакцию областной газеты «Заря», познакомился с местными литераторами. Опубликовал в газете очерк «Мы победили»[1]. И подал мысль об организации при областной газете литературного объединения, в которое вошли поэты М. Засим и В. Лютова, прозаик А. Овечкин и др. Это были поэты из поколения, уцелевшего в войне. В их стихах находим много сообщений о событиях внешней жизни, о свершениях советских людей, много идеологической риторики, славословий Сталину. Для художника того времени трудно было сохранить свободу индивидуального решения — необходимо было подчиняться общим правилам. Простой строй стихотворной строки делал ее доходчивой, конкретной, но в содержательном отношении она была полностью зависимой от идеологических установок того времени.

В идеологической пропаганде и в литературе имел хождение так называемый «героический миф», согласно которому народ получит осуществление всех своих желаний не сразу, а после продолжительного периода борьбы и страданий. Решительно пресекалось изображение мрачных сторон социалистической действительности, признавалось только ее восхваление. В советской культуре все глубже утверждал себя конформизм, она лишалась художественного многообразия, обеднялась в своих художественных поисках, в интересе к человеку. Человека обязали быть таким, каким он нужен государству, — всего лишь винтиком в огромной государственной машине. Ценилась и учитывалась производственная, служебная роль человека, но не его личность. Личное растворилось в государственном. На первое место становились «принципы», а что касается жизни человека, его природы, желаний, то все это признавалось менее важным.

Когда литературное произведение превращается только в рупор установленных ценностей, оно неизбежно становится иллюстративным и дидактичным. Имевшее казенный характер слово не вело к истине. В послевоенную поэзию широко проникли мотивы самоуспокоенности, идеализации действительности, уменьшилось внимание к душевной жизни человека, сглаживались острые конфликты. Лирические герои разных поэтов были очень похожи друг на друга и казались выведен-

[1] Заря. 1945. 6 сентября.

ными в одном инкубаторе, при одинаковой температуре. В результате стали очевидными несомненные признаки того, что от литературы, и от поэзии в том числе, отвернулся читатель, бывший ранее массовым. Поэзия словно бы остановилась в своем становлении и развитии.

Положение спасла так называемая «оттепель» второй половины 50—60-х годов, вернувшая в литературу и искусство демократические нормы и тенденции, уважение к правде, совестливость, аналитическое, исследовательское начало. Гуманистические поиски стали пафосом советской литературы этого времени. Она приобретает второе дыхание, потому что реанимировалась сама социалистическая идея. «Шестидесятники» предложили свою систему общественно-политических взглядов и оценок: антисталинизм (под прикрытием XX съезда партии), либеральный марксизм, атеистический гуманизм, народолюбие, «социализм с человеческим лицом». Руководитель партии и государства Н. Хрущев пообещал даже, что нынешнее поколение доживет до коммунизма. Советский народ, после ослабления сталинской репрессивной политики, ощутил прилив творческий энергии, строительного энтузиазма. Возвращалась давно утерянная вера в социалистические идеалы. Литература в середине 50-х годов вступила в новую фазу своего развития. Появились новые темы, новые герои, новые конфликты, значительно повысился уровень художественного мастерства. Охваченная «оттепелью» советская литература второй половины 50—60-х гг. стремилась выразить и утвердить необходимые для того времени гуманистические ценности, моральные нормы человеческого общежития и общения, то, в чем очень нуждалось общество. Она осудила формулу «винтика» и стремилась отстаивать человеческое достоинство. Поэзия пыталась придать социализму «человеческий облик», что было заветной целью «шестидесятников». В права вступил «откровенный герой», как назвал героя литературы 60-х годов критик Л. Аннинский. Огромное значение поэты придавали личному опыту — пережитому, непридуманному, тому незаемному, что как раз и составляло личный опыт и испытания. Особый интерес и актуальность приобрела тема Великой Отечественной войны, героический и трагический опыт которой влиял на мировоззрение людей, определял и формировал современный взгляд на вещи.

По-новому написал, например, о войне, о человеке на войне, русскоязычный И. Бурсов:

Они белели сквозь пургу,
пронзая снеговые дали, —
босые ноги на снегу
ему покоя не давали.

Врываясь белой вспышкой в сны,
они в груди взрывались толом…
Рука былого старшины
искала тюбик с валидолом.

И с потом уходила жуть,
скрипел воспоминаний полоз —
в командном окрике:
«Разуть!»
он узнавал свой юный голос.

Он видел валенки на них
и бурые на ворсе пятна…
Разуть, чтобы согреть живых, —
Ведь это было так понятно.

Так почему же
в темноте
Сейчас приходят вместе с болью

не им спасенные,
а те,
разутые посмертно в поле?[1]

Стихи И. Бурсова впечатляют своей правдой, проникновением в нравственный мир современника, актуализацией недавнего прошлого.

Пробуждается и вступает в свои творческие, созидательные права память, воскрешая образы того, что нельзя забыть. Возникает чувство ответственности перед временем:

И словно бы упрек,
я непрестанно помню,
что некий свой урок
не весь еще исполнил.

Вот с этим и живу,
а если б вдруг забылся —
упал бы я в траву,
как стреляная гильза…[2]

Так, программно, писал Н. Кислик — поэт фронтовой формации, из того ряда, что и С. Гудзенко, А. Межиров, Е. Винокуров, Н. Старшинов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, А. Пысин, М. Аврамчик и др.

В поэзии второй половины 60 — начала 70-х гг. наблюдается расширение морально-этической проблематики, усиление нравственного пафоса, стремление пропагандировать доброту, чуткость, терпимость к человеческим слабостям, сочувствие человеку вообще, и в частности, человеку «рядовому». Искренность, открытость, непосредственность первого впечатления стали обязательным свойством лирического героя. Творческий процесс снова становится аналогом жизни, дающей ему и содержание, и форму, и направление; поэт непременно должен соприкасаться с ее течением, с тем, что называют природной стихией, обладающей жизнетворной способностью. В литературе начали ценить реализацию личности автора, живые подробности, а не только отражение общих социальных закономерностей. Поэт словно бы говорил: я высказываю эту истину не потому, что она правильная, а потому, что она моя.

Поэтические сборники стихов стали нарасхват, однако не все было благополучно. Возможности печатания для русскоязычных поэтов в Беларуси, как, впрочем, и для белорусских, были ограничены, свирепствовала идеологическая цензура, в журналах и издательствах процветала коррупция. Но поэты печатались, находили такие возможности. В Беларуси приметны были такие имена, как Константин Титов (1905—1972), Петр Волкодаев (1911—1973), Николай Горулев (1919—1980), Владимир Варно (1922—1978), Александр Дракохруст (1923—2008), Наум Кислик (1925—1997), Бронислав Спринчан (1928—2009), Давид Симанович (род. в 1932), рано ушедший в лучший мир Виктор Халипов и др. Критика, к сожалению, не уделяла им достаточного внимания. Талантливым, оригинальным, но не прочитанным до сих пор остается, например, поэт Юрий Фатнев (род. в 1938). У него есть замечательные стихи, излучающие романтическую устремленность и тонкую душевную эманацию:

Бесприютная музыка
на задворках сознания…
Бесприютная музыка
на туманном краю…

Как душа моя мечется
в веке бесчеловечности,
На задворках сознания
свои песни таю!

[1] Антология современной русской поэзии Беларуси… С. 39—40.
[2] Кислик Н. Лестница лет. Избранные стихотворения и поэмы. — Мн., 1985. С. 61.

И опять мне мерещится,
как любимая женщина,
Бесприютная музыка
на туманном краю.

Позабудется, вспомнится,
вновь исчезнет бездомница.
И однажды, соскучившись,
не застанет меня.
Так пустите же в горницу,
чтобы с ней познакомиться,
бесприютную музыку этого дня![1]

Силой своего воображения поэт соединяет слуховые и зрительные впечатления в одно, и возникает образ «бесприютной музыки», звучащей на «задворках сознания». «Бесприютная музыка» — это и есть поэт и его поэзия, которые не находят места в этом прозаическом, утилитарном мире с его «промышленными, — как сказал когда-то Е. Баратынский, — заботами». Поэзия Ю. Фатнева исходит из уважения к жизни, к нравственным устоям и чувствам человека, его правам, стремится обострить его духовные потребности, преодолеть материальную неподвижность, которая его окружает. Стихи этого поэта свидетельствуют о романтичности его натуры, способной воспринимать жизнь в ее целостности и диалектике противоречий. Наряду с современностью поэта Ю. Фатнева волновала и волнует история, а конкретнее — история южной России, где, надо полагать, он родился, с которой каким-то образом связан своей биографией. Может быть, поэтому судьбы исторические у него связаны с личным, с раздумьями о судьбах поэта и поэзии.

И всю ночь до зорьки-заряницы
Снится мне языческая рань.
И зегзицей мысль моя стремится
Поискати град Тмутаракань.

Меч да гусли — нет другого груза,
Я гляжу, гляжу во все глаза,
Как бежит по струнам вещих гуслей
С трав степных былинная роса.

Как сверкают серебром на черни
Шлемы воев ночью под луной.
Это все я вспомню в год вечерний
И окликну гибнувших со мной.

А пока никто не слышит зова,
Да и сам коня не поверну.
Только так родиться может слово,
Если кровь забрызгает струну…[2]

Поэтический романтизм Ю. Фатнева соединяет творчество и мифотворчество, повышая эмоционально-образную содержательность стиха. Его поэзия передает бесконечное движение времени, осмысливает историю как память, неразрывно связанную с сегодняшним днем, с героическими заветами предков. Но в дне сегодняшнем поэт чувствует себя очень неуютно: «Мне в этом веке не с кем говорить» — так назвал он недавнюю подборку своих стихов в журнале «Белая вежа». Он, признается, хотел бы поговорить с Кириллом Туровским. О чем? Хотел бы, как поясняет в одноименном стихотворении, рассказать о своей растерянности…

---

[1] Современная русская поэзия Беларуси… С. 172—173.
[2] Современная русская поэзия Беларуси… С. 169—170.

И я растерян. В думу погружен:
О чем тебе поведаю теперь я?
Как божьи лики пожирал огонь?
Как мало в нас теперь осталось веры?

Вот полюбуйся: к новым алтарям
Несут иуды лицемерно свечи.
Швырял свой гнев когда-то ты князьям!
Так почему сегодня не перечишь?..[1]

Перед нами поэт, остро и правдиво чувствующий современность.

Но вернемся в 60-е годы. Они характерны тем, что по сравнению с прошлыми периодами расширили сектор творческой свободы, предоставили поэтам больше самостоятельности. Один из типичных русских поэтов этого времени — Иосиф Василевский. Жил он в Минске, но родом был со Смоленщины. Родился в 1911 г. в селе Красное, что находится на границе Смоленщины и Беларуси. Молодость прошла в Смоленске. Как поэт формировался под влиянием М. Исаковского, особенно его песенного творчества, а также А. Твардовского. Оглядываясь на своих учителей, И. Василевский писал:

Я не чуждаюсь ритмов новых
И сложных форм, созвучных дню:
Но только песенному слову
Я все равно не изменю.

Живя в Беларуси, И. Василевский был очень неравнодушен, сочувствовал тому, что пережил белорусский народ. Это запечатлено на страницах его книг. Например, в стихотворении «Плакучие ивы Хатыни…»:

Мы знаем про пепел Помпеи —
Стихийную гибель людей.
Но это намного страшнее,
Здесь люди губили детей.

Прислушайся, стонут деревья,
Прислушайся, стонет стена.
А в стоне — названье деревни,
А в стоне — людей имена[2].

Углубляется социально-философская основа поэтического творчества, расширяется понятие современности, которая до этого чаще всего понималась как только то, что происходит в данное время, сегодня.

В начале 60-х из Москвы в Минск переселилась молодая русская поэтесса Светлана Евсеева, выйдя замуж за белорусского поэта Артура Вольского, с которым познакомилась в Литературном институте им. М. Горького. И в унисон со временем и очень лично звучали ее стихи, в которых соединились и свое, и общее:

Я с мужчиной рядом иду.
Век двадцатый с двадцатым веком.
Ты поверь в мою доброту
И со мною будь человеком[3].

Стихи С. Евсеевой исполнены доброжелательности по отношению к окружающему миру, к другим людям. Ее поэзия убеждает в том, что совсем не потеряли своего значения прозрачная ясность стиха, напевность и мелодичность, задушевность слова, выступающие как необходимые средства раскрытия характера

[1] Белая вежа. 2011. № 1. С. 108.
[2] Василевский И. Зимнее солнце: Стихи. — М., 1979. С. 55.
[3] Евсеева С. Женщина под яблоней: Первая книга стихов. М., 1962. С. 96.

лирической героини со свойственными ей свежестью наблюдений и верностью жизненных раздумий.

Эстетическое богатство поэзии — это богатство творческих индивидуальностей, появление новых генераций, новых поэтов. Среди поэтов немало было молодых. Каждый искал свою дорогу. Поэзия молодых запечатлела трепет ранних впечатлений, первые встречи авторов с неприкрашенной правдой жизни, с ее прозой. Ее отличительные черты — искренность, открытость, исповедальность, непосредственность чувств. Поэты делились самым сокровенным. Это нашло отражение в поэзии бардов. Новую волну обозначил своим творчеством талантливый поэт-бард А. Крупп (1937—1971), постигший художественные достоинства песенного сочинительства, простоту и непосредственность в выражении чувств, обаятельность искренности.

Мои песни неуместны
В городах, в концертных залах,
Потому что мои песни —
Для дорог и для привалов…[1]

Поэзия бардов двигалась по линии творческого раскрепощения — чувств, мыслей, поведения. Искренность была главным чувством авторской песни. Песенная поэзия А. Круппа развивалась под знаком утверждения простых истин человеческой жизни, уважения к человеку, чуткости и сердечности. Язык барда раскован и лаконичен, содержание до наивности просто, но за кажущейся прозрачностью кроются человеческие чувства и душевные переживания, подобные тем, которые испытывали герои популярного в те годы романа Ремарка «Три товарища». Сравнение, может быть, далекое, но, на наш взгляд, верное. Стихотворная речь в песнях А. Круппа сплошь из кратких фраз, без вводных и придаточных предложений, автор стремился избегать бардовских штампов. Ему открылся глубинный смысл рефренов, их роль в придании песне необходимого сюжетного единства и завершенности. «Аккомпанемент в песнях Круппа, — писал о нем И. Лученок, — так органичен их содержанию, что создается впечатление, что, уже сочиняя стихи, Арик чувствовал мелодию, на которую они будут положены, уже учитывал, в каком музыкальном ритме они будут звучать»[2].

Как нужны, Беларусь, твое небо нам
И песчаные кручи над Неманом,
Стены Бреста, огнем опаленные,
И леса твои, вечно зеленые.
Беларусь поросла обелисками,
Потому звезды стали нам близкими,
Не небесные звезды — солдатские,
В пять лучей над могилами братскими…[3]

Если ты поэт, то обязан быть не только талантливым, но и быть личностью, отстаивать свои принципы и позицию. В этом смысле наводят на раздумья песенные строки Г. Трестмана, отмеченные тонкостью и задушевностью интонации:

Между сердцем и сердцем
поднимутся бездна и бездна,
и у звука и звука
прорежутся по два крыла,
и меня потрясает
ремесла моего бесполезность,
и меня вознесет
дух святой моего ремесла.

---

[1] Крупп А. И женщины красивы, и мужчины… — М., 2002. С. 35.
[2] Неман. 1974. № 11. С. 121.
[3] Крупп А. И женщины красивы, и мужчины… — М., 2002. С. 273.

Я плечо поцелую твое
и дрожащие веки,
и тебя я сквозь ночь отлучу
ото сна твоего,
и вдохну твое имя…
Чего только нет в человеке,
ах, чего только нет,
когда нет у него ничего[1].

Отдельные стихи Г. Трестмана, с обращением к Богу, напоминают молитвы, способные, однако, многое сообщить о самом авторе.

Упаси меня, Боже,
от смеха средь гибельных мест,
Я — Иакова семя —
отведал его чечевицы.
Так избавь воспринять
от соблазна спасительный крест,
а посмертно со мною уже ничего не случится…
…Упаси меня, Боже,
от страшных пророчеств Твоих,
дай мне силы остаться превыше
и проще пророчеств…[2]

Поэзия бардов утверждает антиноменклатурное отношение к человеческой личности, стремится вызвать интерес к обычному, так называемому простому человеку. В бардовских песнях много соционаблюдений, касающихся всевозможных недостатков, негатива в разных сферах жизни, политики, быта.

Эпоха советской истории многими своими событиями, ситуациями и судьбами отразилась в стихах-песнях поэта-гитариста М. Мермана. «Авторская песня, — справедливо пишет Н. Пинигин в предисловии к его книге, — была формой сознания целого поколения, а не просто увлечением»[3].

Широкую популярность приобрела своими стихами-песнями Е. Казанцева. В ее песнях много непосредственных эмоциональных откликов на вопросы и запросы современников, правда жизни и быта, подчас в ироническом освещении.

У меня специальности нет.
Я пишу бестолковые песни,
я непризнанный русский поэт, —
и душа у меня не на месте.

Я не знаю, кто правильным был,
может, Пушкин да питерский Бродский.
Если б Пушкин меня полюбил,
я б не плакала так по-сиротски.

Ни работы, ни денег, ни дел,
да один кавалер полупьяный…
Если б Пушкин меня разглядел,
не Натальей была бы — Татьяной…

Пусть меня не осудит народ:
он — народ, он же все понимает!
Если песня моя не умрет —
это Пушкин меня обнимает[4].

[1] Современная русская поэзия Беларуси… С. 166.
[2] Там же. С. 166.
[3] Мерман М. Возвратная частица. Стихи. Мн.: «Ковчег», 1994. С. 3.
[4] Казанцева Е. На извозчике едет Алешенька: Стихи. — Мн., 2006. С. 12.

Сердечность песенного слова, естественность, задушевность интонации, искренность — общий эмоциональный ключ этой поэзии, оказавшей, думается, благотворное влияние на всю остальную поэзию.

* * *

70—80-е годы ставят новые задачи: поэты все чаще задумываются над состоянием современного мира, над связью времен, причин и следствий, над сложностью и многомерностью истории. Стало очевидно, что современность усложнилась в самой своей жизненной сущности, — человечество оказалось перед проблемой сохранения окружающей среды, природы, сбережения исторической памяти и всех ценностей, созданных народами. Это было грозное время весьма опасного балансирования на грани, на грани мира и войны. В глубокое уныние повергла политическая обстановка в стране: аресты диссидентов, интервенция в Афганистане, преследования и ссылка Сахарова, непредсказуемость кремлевских геронтократов. Таили опасность инертное течение жизни, застойные порядки, неподвижность. Коммунистические ценности неожиданно быстро девальвировались, ощущение кризисного состояния мира усиливалось. Ощущение душевного неуюта того времени передает стихотворение В. Халипова «Это ж надо такому случиться…». Это стихотворение — сон, приснившийся лирическому герою, который попал в положение современного Маугли, обретшего свободу не среди людей, а в волчьей стае. Но люди добираются и сюда, в лес.

Бригадиры — волчицы логово
обложили. И прет колхоз.
Будут падать к ногам их — локоны
наших спутанных синих волос.

И не спрятаться. Не укрыться.
Обложили. Собачий лай.
Это ж надо такому присниться
в растревоженный этот май[1].

Словом, ощущение неблагополучия было налицо. С середины 80-х гг. буквально на наших глазах разрушалась, казалось бы, весьма устойчивая социально-политическая и культурная общность, составившая эпоху авторитаризма и тоталитаризма, и на ее развалинах рождалась новая действительность. Поэзия все чаще углубляется в индивидуальное, собственное, пережитое, автобиографическое. Склонность что-то возвещать, к чему-то призывать, произносить речи, высказывать «передовые» сентенции — это все родимые черты «шестидесятников», но со временем их становится меньше. Высокопарный, «пророческий» тон вытесняется задушевной лирической интонацией, разговорной фразеологией, словом простым и трогательным.

В стихах Н. Кислика страна, в которой он живет, при ближайшем рассмотрении оказывается только «средой обитанья».

Ночами подкрадывается исподтишка
похолоданье…
Давай-ка подкинем в огонь сушняка,
среда обитанья.
И сучьев смолистых веселый пожар,
и пламя из кружек
озябшей ладонью приемлю как дар
за все твои стужи.
За век громогласный — часы тишины, —

[1] Современная русская поэзия Беларуси… С. 173—174.

не так уж и скудно!
И вздох облегченья за чувство вины,
томившей подспудно…

Диалог, спор с холодной «средой обитанья» очень личный и достаточно общезначимый, поэт воспринимает мир широко, объемно.

Я знаю, что должен земле бытия,
растеньям и водам…
Но правда ль, что больше я взял у тебя,
чем сам тебе отдал?
Мой долг очевиден, а я не слепой,
среда обитанья.
Но мы ведь взаимно друг другу с тобой
даны в испытанье…[1]

Умные, глубокие мысли!

Середина 80-х — начало так называемой «перестройки», отмеченной в литературе резким ростом ее познавательных возможностей, пафосом правдивости, борьбой за устранение так называемых «белых пятен», за полноту художественно-исторического воспроизведения прошлого, что в этот период поддержали уже новые поколения литераторов.

Эта сложная, противоречивая эпоха в Беларуси отмечена несколькими именами весьма крупных русскоязычных поэтов. Один из них — Алексей Жданов (1948—1993), чья Муза обладала своим, оригинальным «лица необщим выраженьем» (Е. Баратынский), неповторимым видением мира и отношением к нему. История XX века в его поэзии предстает как «эпоха крайностей»[2], жестоких экспериментов над человеком, испытанием на выживание. Лирика этого поэта настоена на нелегких перипетиях его судьбы, ее сложностях и драматизме, борьбе за духовную свободу. Это важно принимать во внимание, потому что первый вопрос, возникающий при знакомстве с поэтом, — не тот, как он пишет стихи, а вопрос, кто он такой.

В начале 70-х гг. А. Жданов учился на философском факультете БГУ. Доучиться не дали, исключили за «неправильную» трактовку некоторых философских проблем и за непокладистость характера. Недоучившийся студент — он уже тогда, в университете, писал стихи, рисовал — решил испытать себя жизненными трудностями и уехал на заработки на Колыму. Трудности не заставили себя долго ждать, и духовной опорой стала поэзия.

Замерло, запуржило жилье,
Снег ложится легко и не тая.
Вот и кончилось лето мое.
Вот и осень пришла золотая.

Вразумил нас прощания час.
А свела нас лихая година.
Слишком рано зима началась,
Хоть бы малость она погодила.

Как струится над сопками свет,
как все глухо и как нелюдимо.
Слишком поздно я понял, что нет
ничего, кроме неба и дыма.

Слишком злы здесь морозы зимой.
Слишком лето колымское люто.

---

[1] Кислик Н. Лестница лет… С. 138—139.

[2] Именно так — «Эпоха крайностей» — назвал свою книгу о XX в. английский историк Эрик Хобсбаум.

Слишком просто — вернуться домой,
оставаться нельзя ни минуты.

Отчего же так сердце болит?
Так тоска овладела душою?
Ничего мне зима не сулит —
ей за это спасибо большое.

Замело… Замело… Замело…
Скрылась заметью тропка крутая
Вот и красное лето прошло…
Вот и осень пришла золотая…[1]

«Я думаю, — пишет о поэзии критик В. Козлов, — что полноценный художественный мир — это главный критерий хорошего стихотворения»[2]. В стихах А. Жданова такой мир, как отражение мира реального, «колымского», есть. В нем живет его лирический герой. Долгое время на Колыме жил и сам поэт. Лирический герой А. Жданова — человек в общем обыкновенный, не претендующий на особый статус. Поэт говорит о нем: «слепым цыганским дождиком ударен». Это — двойник поэта, alter ego, романтический максимализм которого дал трещину. А. Жданов и его герой по характеру романтики, но их романтизм вошел в непримиримый конфликт с миром, они знают об этом и не ищут согласия, тем более компромисса. Поэт мыслит оппозициями: жизнь — смерть, свобода — тюрьма, небо — земля, герой — злодей. В его лирике слились поэтическое и философское начала, мировоззрение автора — мировоззрение стоика, не сдающего своих позиций.

Отчего так черны вечерами дворы,
не слыхать ни людей, ни собак?
Неужели собаки и люди добры?
И хочу — и не верю никак.

Расскажи, наблюдатель, как люди живут,
о любви, так и быть, — расскажи!
Что такое добро, обиход и уют?
Отчего вкруг меня ни души?

Укажи мне, приятель, на зыбкую грань,
ту черту между злом и добром.
Только лучше молчи, лучше душу не рань,
не тревожь на рассвете сыром[3].

А. Жданов и его герой, однако, не делают трагедии из своего одиночества. Любовь к жизни и деятельная, волевая натура помогают им преодолеть страх одиночества. Не убывает пытливый интерес к окружающему. «В юности преобладает интуиция, — считал Шопенгауэр, — в старости — мышление; вот почему первая — время для поэзии, вторая — более для философии»[4]. А. Жданов, к сожалению, не дождался старости, но из стихов видно его философское отношение к жизни. Раздумья, анализ, сомнения — все это в значительной мере определяло подход поэта к осмыслению действительности. Здесь проявились такие его качества, как реалистическая цепкость, социально-психологическая и нравственная зоркость. Еще со струденческой скамьи он сомневается в «истине передовиц», ему кажется, что уже не осталось таких ценностей, которые не были бы скомпрометированы злой волей или чудовищными заблуждениями предыдущих

[1] Современная русская поэзия Беларуси... С. 71.
[2] Вопросы литературы. Сентябрь–октябрь 2005. С. 68.
[3] Минская школа: Альманах поэзии. Выпуск 1. Мн.: «Новые мехи», 2009. С. 19.
[4] Шопенгауэр Артур. Свобода воли и нравственность. М.: Изд-во «Республика», 1992. С. 413.

эпох. Поэт видел подтверждение этому на каждом шагу, видно, что мир слишком подвижен и изменчив, произволен и своеволен, что его одолевают тенденции отчуждения. Чтобы передать эти ощущения убедительно, в поэтических образах, он обращается к мифологизации действительности, сгущает краски.

Болота по ночам в светляках,
в неоновом мерцаньи гнилух.
В избе у нас углы в пауках,
все беды в ней и горести вслух…[1]

Стихи этого, «колымского», периода в преизбытке населены колдунами, ведьмами, упырями, воплощающими в себе типы всевозможных «начальников», чиновников всех рангов, на которых держится вся бесчеловечная государственная система.

Всматриваясь в жизнь, он многое начинает понимать по-другому, глубже, приходит ощущение того, что, как говорили в конце 80-х, утеряна дорога к Храму.

Дорога к Храму… Значительно более гуманной по сравнению с предыдущей эпохой была хрущевская «оттепель», но, к сожалению, не вся она была позитивной, светлой. Вспомним волну воинствующего атеизма, разрушение храмов, в том числе древних памятников культуры, как, например, собор в Витебске…

Путь, прожитое, оказывается, завалены преступлениями и обманом. Здесь может помочь только правда. Поэт уверен, что правда очищает душу и ведет к истине. Он умеет думать по-своему, по правде, и его уже не могут запугать те, кто привык держать человека в страхе.

Время «перестойки» выявляется у А. Жданова и опосредованно, и непосредственно, через искренность самого поэта, для которого поэзия была и оставалась не только способом высказывания, но и без преувеличения можно сказать, способом жизни. «Писать — как жить», — таким было его «credo». Во многих случаях стихи его отмечены безнадежностью, отчаянием. Самосознание поэта и его лирического героя носит интровертный, исповедальный характер, ибо направлено на самоанализ, самопознание, соотношение знания о мире и знания о себе, своих желаний и намерений, своих моральных пределов. В памяти — сталинские времена. Лирический герой чувствует себя виновным и жаждет искупления вины и возмездия за проступки поколения отцов, нарушивших нравственные и правовые нормы.

Поэт много раздумывает о судьбах России, связывая эту тему с экономическим развалом и упадком нравов во второй половине 80—90-х годах.

…Эх, что-то с нами будет?
И будет ли? И бу…
Но никакой остуде
не вызлобить судьбу.

И жить ничуть не хуже,
а даже веселей.
Торжественные стужи
над родиной моей.

И труд еще по силе,
И слезы — солоней…
Страна моя, Россия, —
а что же будет с ней?

Но мы одно и то же.
И только оттого
с Отечеством не может
случиться ничего…[2]

[1] Жданов А. Западный полюс земной: Стихи и поэмы. — Мн., 2003. С. 34.
[2] Современная русская поэзия Беларуси… С. 67—68.

Для нас писатель ценен не только своим талантом, но и тем, что он всматривается в глубину явлений и процессов, в сущность человеческих отношений, в жизнь на земле. Тем, что им руководит внутренняя необходимость разобраться в сложной проблеме, найти истину, неотделимую от нравственности, добра и красоты в мире и душе человека. Таков был А. Жданов.

Вернувшись с Колымы, он жил в Минске, много писал, но его не печатали, он уже, казалось, и не рассчитывал на это, однако работал, писал «в стол». Как поэт и философ, он понимал, что жизнь немыслима без трагедии, но восславлял жизнь, земное бытие, бестрепетно всматривался в грозные противоречия действительности, особенно обнажившиеся в годы «перестройки».

В стихах А. Жданова присутствует сильно выраженное исповедальное начало, поэт ведет нелицеприятный диалог с сами собой, доходя до самобичевания. Он стремится выразить себя — живого и сложного, чувствуя при этом разлад с собой, тоску и безысходность. Страдает в житейских изломах душа, страдает, излучая неизбывную человечность. В поэзии звучат драматические мотивы, его героем овладевают трагические предчувствия. Лирический герой А. Жданова при всей философичности его мировоззрения не в состоянии объяснить логику жизни, логику бытия. Логика бытия оказывается утерянной.

Насколько способна хватать рука —
оборваны все плоды.
И леденящая, как тоска,
зеленая рябь воды.

Вокруг необъятный дремучий мир —
насколько хватает глаз.
Сквозные крапинки звездных дыр —
глаза неизвестных рас.

Все это — смотрит, и все молчит.
И ужас уже пророс.
Растет тяжелый древесный стыд.
И так не хватает слез.

Молчат эпохи. Молчат века.
Мрачны и безмолвны льды.
Насколько способна хватать рука —
оборваны все плоды[1].

А. Жданов добивается не только эффекта остановившегося времени, но и остановившейся жизни. Он предстает типичным «проклятым поэтом» (наподобие П. Верлена, А. Рембо и др.), певцом страха, отчаяния, беды и вины. В его стихах немало есенинских черт, алкогольного угара и следующего за ним протрезвления, но это поэт рубежа XX—XXI вв. Мир поэта — это мир-трясина, мир-западня, в котором он старается нащупать хоть какую-то точку опоры, чтобы понять, на каких координатах он находится.

Чаянья, в сущности, были сводимы
к дыму, который вставал над трубой,
к дому, где я бы являлся собой,
то есть — к тому же бездомному дыму.

К дыму, который встает над трубой,
к дому, куда еще путь не заказан.
Разновременье, смутившее разум,
разум и дым — становились судьбой.

И разрушали себя, становясь.
Но становленье и было разрухой…

[1] Современная русская поэзия Беларуси: Антология… С. 70.

или судьбою… И с привкусом духа —
дым вертикальный, спиралью виясь…[1]

Это стихотворение — выражение мироощущения автора, выражение времени, когда он жил, а оно не жаловало сладким, больше — острой горечью. Это уже не «щестидесятник», а человек семидесятых годов, с «подпольным» сознанием. Усиливается чувство горечи, и эта горечь становится поэтическим характером. Правда чувства и характера ощущается в самом дыхании строки, в его фонике и интонации, внешне довольно простой, незамысловатой, но внутренне очень напряженной, богатой эмоциональными оттенками, подтекст, коренящийся где-то в генной памяти.

Хочется повторить восклицание библейского пророка: «Велик Бог в своих небесных милостях!» И поэт выбирает главную ценность — оставаться человеком, любить жизнь, надеяться.

Тяжела земная ноша,
но мила земная чаша.
Богохульник и святоша
в общем круге польку пляшут[2].

А. Жданов творил всем своим существом, жил стихами, любил жизнь, любил с болью, бесшабашностью и нежностью. Развитие его поэтической концепции связано с познанием того, что когда-то Б. Пастернак называл «непреложностью общего хода вещей». Он — этот «общий ход вещей» — неостановим и в своем поступательном движении обладает могучими целебными свойствами — расширяет мировоззрение человека, одаривает мудростью. Отсюда излюбленное выражение Б. Пастернака, его философский вывод — «врачующая непреложность мира». К поэту пришло экзистенциальное понимание жизни, ощущение ее подлинности, присутствия надежды, он прослеживает тончайшую диалектику переливов жизненной энергетики.

Когда я роюсь в собственных стихах,
перебираю стихотворный хлам,
я понимаю: в них не только страх,
он с робкою надеждой пополам.

Еще мне брезжит свет над головой,
и сердце нужный производит стук.
Послушай, Смерть! ведь я еще живой,
твоих бесплатных не прошу услуг.

Я твердо знаю: я еще могу
(Ты в этом тоже убедишься, Смерть!)
платить по счету и не быть в долгу,
и милости ничьей просить не сметь.

Так начинайся, долгожданный бред!
Клянусь свободой, что не мой черед.
Ведь над головою брезжит свет,
жизнь мертвой хваткой за душу берет[3].

Весной 1986 г. Беларусь настигла трагедия — случилась авария на Чернобыльской АЭС. Радиоактивные осадки загрязнили почти треть Беларуси, некоторые районы Украины, России. Жизнь поделилась надвое: до Чернобыля и после Чернобыля. Чернобыльский апокалипсис явился испытанием для всех. Глубокие, раздумчивые, трагедийные стихи излились из-под пера Алексея Жданова, откликнувшегося на это несчастье:

---

[1] Жданов А. Западный полюс земной: Стихи и поэмы. — Мн., 2003. С. 34.
[2] Там же. С. 64.
[3] Там же. С. 128.

Помутились источники вод.
Закручинились речка и лес.
Утвержден православный народ
в трудном праве на массу и вес.

Наступает такая пора,
когда светом становится тьма.
И проходит граница добра
по околице дальней ума.

Только время — само по себе.
Да простят мне учительский слог,
есть высокое в каждой судьбе,
бескорыстная Истина — Бог.

Бог не может быть добрым и злым.
Он воистину только Един.
Каждый поровну солнцем палим
от рождения и до седин.

Одинаково мочит дождем
грешных, праведных, всех остальных…
Кто-то, зная, что будет потом,
полагается сердцем на них.

Разум бьется как рыба об лед.
Поминальною свечкой горит.
Но под верою скрыт обиход,
а за знанием — диавол стоит.

Помутились источники вод.
Темный лес опрокинулся в синь.
И до самых краев небосвод
затопило светило — Полынь[1].

Говорят, что поэт — это судьба. Борются — жизнь и судьба. А. Жданов над этим много думал. Борьба с миром и с самим собой не закончилась для него духовным саморазрушением. Он во многом сохранил свою индивидуальность. «Но кто знает, — писал он о своей поэзии, — нет ли в моих стихах крупицы объективной истины, я никого не кляну, не обвиняю ни в чем, но говорю лишь: вот моя жизнь, прочтите ее, она уродлива, она прекрасна. Каждый из нас волен по-своему видеть мир. Каждому дано неотторжимое право видеть мир по-своему и свое индивидуальное согласие или несогласие с ним. Поэтому стремления к единообразию я не понимал и не понимаю. В этом плане я верю в человека, в его жизненную мощь и силу ума»[2].

Это звучит как завещание.

* * *

После Чернобыля, после тех испытаний, что обрушились на страну, пришло осознание кризисного состояния мира. Оказалось, что мы беспомощны перед грядущим, не ведаем, что ждет впереди. После чернобыльского апокалипсиса люди и жизнь не могли оставаться такими, какими они были до этого.

В 1991-м развалился СССР, входившие в него союзные республики получили независимость, начался длительный процесс осмысления происшедшего.

---

[1] Современная русская поэзия Беларуси… С. 66.
[2] Жданов А. Западный полюс земной… С. 5.

Острокритическое отношение к советскому прошлому отразилось в стихотворении «Аврора» молодой поэтессы из Гродно Т. Обуховской:

Ах, «Аврора», «Аврора»!
Под тобой почернела Нева.
И взглянула с укором
Голова оскорбленного льва.

Поброди и развейся,
И поближе на все поглазей:
Исторический крейсер
Превратился в бесплатный музей.

Затянулась расплата
За все, что случилось и за
Прогремевший когда-то
Никому здесь ненадобный залп.

Ох и вышла потеха:
Шум и топот и крики «Ура!»
…А теперь не до смеха
В этом царственном граде Петра[1].

90-е годы — время развала и упадка, время углубления кризиса. Некоторые поэты не выдержали сложившейся ситуации: иные оставили творчество, ушли в бизнес, другие занялись творением доходных коммерческих опусов, третьи уехали.

По-своему откликнулась на происходящее Е. Казанцева:

Тяжелей тебе от моих стихов,
легче ли —
мне с тобой в стране дураков
делать нечего.
Глупая страна, бедная страна,
скушная.
Там яблоки еще не сорваны —
уже надкушены…[2]

В 90-е годы побеждает прагматика, установка на личный риск и ответственность. Это прибавляет поэтам смелости. Желая порвать с ложью соцреализма, приветствуя «открытость» и «гласность», поэзия, как и литература в целом, движимая жаждой познания, собирала «зерна правды», чтобы создать более реалистическую картину прожитого и пережитого. Но так продолжалось недолго. Поэзия 90-х годов уже не могла удовлетвориться «зернами правды», обаянием непосредственности. Эмпирическое усвоение новых явлений уступает место стремлению поэтов уловить сущность современных конфликтов. Раздумья, анализ, размышление — вот что начинало определять подход поэтов к явлениям жизни, от них требовалась реалистическая цепкость, социально-психологическая и нравственная зоркость. Поэзия, обращаясь к сложным проблемам, волнующим людей, осмысливает жизненный материал на более широкой идейно-философской основе, чем в предыдущий период: от «зерна правды» она устремляется к «правде зерна», к новой, мировоззренчески более глубокой концепции действительности. В поэзии устанавливается новый взгляд на лирического героя: теперь в нем стали искать духовное содержание, требовать, чтобы он чувствовал норму идеальности, без которой невозможно существование никакой морали.

Понятно, что панорама творческих поисков современной поэзии сложная и многообразная, однако хочется отметить два самых общих момента: поэзия расширила свою художественно-познавательную основу, стало возможным, во-пер-

[1] Кола. Зборнік вершаў. — Гродна, 1993. С. 57.
[2] Весь: книга стихов. — Рига: «Полярис», 1992. С. 55.

вых, обо всем говорить, и во-вторых, в поэзию вернулся Бог, в слово вернулось то глубинное, субстанциональное, что является антологической основой реальности мира. В эстетическом самовыражении лирического героя, как правило, верх берет нравственный позитив, призвание человека утверждать и творить добро. У добра много названий: любовь к ближнему, альтруизм, братство, человечность, сочувствие, сопереживание, помощь, милосердие, нежность, чувство общественного добра, патриотизма. Все это и составляет важнейший аспект нравственных устремлений лирического героя, открывающего в стихах себя, свою внутреннюю, душевную жизнь. Душевное связано с духовным, тем, что человек берет от мира, что разделяет с ним.

Духовность поэзии в том и заключается, что она живет субстанциональным — вопросами о мире, о человеке и человечестве, постоянно спрашивает: что с ними, куда они идут, что в мире происходит? Эти вопросы неизменно задавал себе и всем живший в Минске малоизвестный на то время широкой публике поэт и прозаик Вениамин Блаженный (1921—1999) — человек трудной и странной судьбы. Поэт Д. Строцев в своих воспоминаниях о нем сообщает:

«Поэт родился в местечке Копысь, на востоке Беларуси. Детские и юношеские годы провел в Витебске. Вскоре после войны обосновался в Минске. С середины сороковых почти ежедневно писал стихи… До второй половины 80-х — не печатался»[1]. Его настоящая фамилия — Айзенштадт. Вениамин Михайлович до войны окончил один курс учительского института, работал учителем истории (в эвакуации), чертежником, переплетчиком, фотографом-лаборантом в инвалидной артели.

Об отце своем В. Блаженный вспоминал в стихотворении «Родословная»:

Отец мой — Михл Айзенштадт — был всех глупей в местечке.
Он утверждал, что есть душа у волка и овечки.
Он утверждал, что есть душа у комара и мухи.
И надевал он не спеша потрепанные брюки.
Когда еврею в поле жаль подбитого галчонка,
Ему лавчонка не нужна, зачем ему лавчонка?..
И мой отец не торговал, не путал счета в сдаче…
Он черный хлеб свой добывал трудом рабочей клячи.
— О, эта черная страда бесценных хлебных крошек!..
…Отец стоит в углу двора и робко кормит кошек.
И незаметно он ногой выделывает танец.
И на него взирает гой, веселый оборванец.
— Ах, Мишка, «Михеле дер нар» — какой же ты убогий!
Отец имел особый дар быть избранным у Бога.
Отец имел во всех делах одну примету — Совесть.
……………………………………………………
… Вот так она и родилась,
моя святая повесть[2].

Это — портрет отца поэта Михла Айзенштадта, симпатичный образ еврея-праведника, дань сыновней любви. Нет, он, может быть, наивен, но не глуп, как грустно шутит сын. Он скорее мудр, веря, что душа, сознание, есть «у волка и овечки» и даже «у комара и мухи», т. е. сознание является свойством всего живого. Разве не склонялись к такой мысли, раздумывая над этой тайной, мыслители прошлого, в частности, например, Д. Дидро и др.? Впрочем, задолго до просветителя Дидро в человекоподобие природных существ и объектов верили наши предки. В какой-то степени не оставила эта вера и нашего современника. Духовная целостность человека, видимо, невозможна вне той природно-предметной реальности, с которой связана его жизнь. Критик В. Гусев, надо полагать, имел основания сказать следующее: «Сложность как раз в том, что мы уже всем

[1] Минская школа… С. 137.
[2] Современная русская поэзия Беларуси… С. 30—31.

своим существом, а не только умом, чувствуем, например, что дождь, дерево — не человек, не подобное нам существо, и тем не менее чувствуем — все же — какую-то глубокую душевную связь, взаимодействие с этим деревом, дождем»[1]. Но «избранный у Бога» Михл Айзенштадт чувствовал и нечто большее, что автору особенно дорого как родовая черта: «Отец имел во всех делах одну примету — Совесть». Эту примету он пишет с большой буквы.

Рядом с образом отца образ матери — «немеркнущей звезды». Ее поэт любил безмерно и бесконечно и посвятил много лирических воспоминаний. Она для него «мама», «матушка», «голубка», «ласточка», «травка-живица». Мы не знаем ее имени, но в этом образе много конкретики, воплощающей в себе общечеловеческое материнское начало, страдальческое и жертвенное.

В. Блаженный долгое время не публиковался, живя в забвении, писал «в стол». Надо ли говорить, как это было нелегко. Счастьем его, его призванием была поэзия, как бы ни складывалась жизнь, она давала ему возможность эстетического упорядочения действительности. Архетип поэта — дитя, ребенок, умудренный историческим опытом.

В. Блаженный состоял в переписке, встречался с Б. Пастернаком, А. Тарковским, В. Шкловским и др. Б. Пастернак помогал материально, очень ценил его творчество, впрочем, это было взаимно. Был знаком со многими московскими поэтами. «С Сельвинским, — вспоминал он, — я не встречался, только переписывался. Воспитатель целого поколения поэтических петушков, он и меня хотел приобщить к стае, научить профессиональному пению сомнительной бодрости. Культивируемые им поэты спешили откликнуться на злобу дня. Мне же нужно было откликнуться на тысячелетия человеческих страданий. С годами определились границы непонимания, и мы перестали переписываться»[2]. У В. Блаженного был выбор тоже опуститься до такого состояния или подняться до заоблачных высот духа. Он выбрал последнее.

Поэзия В. Блаженного пугала своей аполитичностью, отсутствием классовой, партийной идеологии, общечеловеческим нравственным началом. Публиковаться он начал поздно, в 1982 году. Стихи брали журналы «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Неман» и др. Выходили они и отдельными сборниками — «Возвращение к душе» (1989), «Слух сердца» (1990), «Сораспятье» (1995), «Скитальцы духа» (2000).

В 1956 году В. Блаженный написал стихотворение-воспоминание о времени и о себе, когда находился в эвакуации, в глубине России.

О, старая заветная сосна!..
Давным-давно уехал я из края,
Где вялым шагом, словно бы со сна,
От дома брел я к дому, побираясь…

В те дни была великая война,
А я с котомкой ночевал в сарае,
И голод, мой двойник, садился с краю
И пировал с бродягой допьяна…
А летом, когда душный падал зной,
Я ночевал под старою сосной…
Неспешно ночь всходила на пригорок…

Сгорал закат.
В вечерней тишине
Мне грезилось, что дорог я сосне —
И целый мир с сосною был мне дорог[3].

Автор, поэт-мудрец В. Блаженный, стремится к идеалу, гармонии, целостному постижению мира. Он, как и до него О. Мандельштам, находил, что все в этом

[1] Гусев В. В предчувствии нового. — М., 1974. С. 241.
[2] Монолог. Свободное творчество. — Мн., 2001. С. 5.
[3] Там же. С. 7.

мире необходимо и взаимообусловлено. Мир в стихах В. Блаженного оживает, одушевляется, подает голос…

В его поэзии немало автобиографического, через которое виден нравственный облик поэта.

Когда б я мертвых испросил у Смерти,
Я б матери, и брату, и отцу
Вложил бы в грудь мое живое сердце —
И ни о чем не плакался Творцу.

«Не плакался?..» О, нет, я был бы счастлив!
Ведь в нашей нищей жертвенной семье
Мы хлеб делили на четыре части…
— Зачем же сердце Бог оставил мне?..[1]

Лирический герой поэзии В. Блаженного (сам он не любил этот литературоведческий термин, полностью отождествляя свое поэтическое «Я» с самим собой) жаждет обрести полную меру человеческого: стыда и совести, долга и сострадания, проникнуться «почтением к бытию», «благоговением перед жизнью». Его поэзия — это непрерывное становление личности во всей ее духовной содержательности. Многие маститые поэты, как уже говорилось, восхищались его стихами:

Арсений Тарковский написал ему: «Ваши стихи опять потрясли меня. Ваши стихи читаю и перечитываю».

Виктор Шкловский: «Дорогой друг! Вы настоящий поэт. Это не орден. Это слова почти печальные. Настоящий поэт — одинокое существо. Но он нужен как птица. Люди и птицы проверяются полетом».

Поэзия, творчество были для В. Блаженного смыслом жизни. И еще — вера. Бог, божественное всегда оставались частью сознания этого поэта. В возрасте семидесяти пяти лет В. Блаженный принял крещение. О своем духовном пути рассказывал в стихах:

Нехорошо бродить так далеко от Бога,
Чтобы не видеть рук, простертых в высоте,
Когда под тенью их лежит твоя дорога,
И даже за предел уходят руки те…
Нехорошо уйти отшельником на гору,
Нехорошо забыть, как странствовал Христос…
Как листья на ветру, доверь себя простору,
Доверь семи ветрам росу недавних слез[2]…

В. Блаженный стремился осмыслить «себя в мире и мир в себе», как сказал по другому поводу М. Бахтин. Поэт создает стихотворные (и прозаические) тексты, которые по существу становятся средством познания мира в широком и целостном контексте. Ему было доступно то, что называют системностью Космоса и универсальностью его законов. «Обобщенность» суждений не переходит в «отвлеченность»; рассудочность уравновешивается правдой и искренностью.

Сколько лет нам, Господь?.. Век за веком с тобой мы стареем…
Помню, как на рассвете, на въезде в Иерусалим,
Я беседовал долго со странствующим иудеем,
А потом оказалось — беседовал с Богом самим.

Это было давно — я тогда был подростком безусым,
Был простым пастухом и овец по нагориям пас,
И таким мне казалось прекрасным лицо Иисуса,
Что не мог отвести от него я восторженных глаз.

---

[2] Монолог. Свободное творчество… С. 11.
[3] Современная русская поэзия Беларуси… С. 33.

А потом до меня доходили тревожные вести,
Что распят мой Господь, обучавший весь мир доброте,
Но из мертвых воскрес — и опять во вселенной мы вместе,
Те же камни и тропы, и овцы на взгорьях все те.

Вот и стали мы оба, мой Господь, стариками,
Мы познали судьбу, мы в гробу побывали не раз.
И устало садимся на тот же пастушеский камень,
И с тебя не свожу я, как прежде, восторженных глаз[1].

В. Блаженный витийствовал как современный библейский пророк, утверждая единство всего сущего, полный предчувствий и словно бы находясь на связи с какой-то высшей силой. Поэзия проявляется в его стихах не просто как часть человеческой души — в ней находят выражение вся его жизнь и судьба, представление о добре и зле, понятые в их социально-духовном, онтологическом содержании. Трудно, а скорее всего, невозможно примирить противоречия современного мира, но В. Блаженный ставил перед собой такую цель!

Он ставил перед собой сложные задачи нравственно-мировоззренческого, духовного характера. Глубина поэтического обобщения у него стремится соответствовать обобщению философскому. Поэт постоянно устремлен к вечным, повторяющимся ситуациям бытия, к человеку как представителю человеческого рода. Одиночество и изолированность человека, — утверждает В. Блаженный, — иллюзорны, потому что на самом деле каждый из людей принадлежен Богу как имманентно свойственной Вселенной креативной силе.

Блеснет господний свет во мраке преисподней…
— Господь, — я вопрошу, — не тот ли это свет,
Что всюду разлился по милости господней,
Которому нигде преграды в мире нет?..

Не тот ли это свет, что пронизает душу,
Всем горестным ее соблазнам вопреки,
И все ее грехи торчат в душе наружу,
Как у зверей торчат разбойные клыки[2]…

Здесь даже тему трудно определить, она выступает как нечто глубоко внутреннее, интимное. Поэт не просто фиксирует реальность, он создает ее заново — усилиями души, синтезируя физическое и метафизическое, все ближе подступая к тайнам бытия и человеческих отношений. «Тематически Вениамин Блаженный, безусловно, достаточно узок, — считает А. Аврутин, — Бог, Смерть, Женщина, родители, «братья наши меньшие», о которых также написано немало стихов. Вот, пожалуй, и все»[3]. Признаемся, суждение маститого поэта представляется нам излишне категоричным. Хотя фактов окружающей действительности в поэзии В. Блаженного не много, но это, не будем забывать, лирика, и пространство лирической, внутренней темы у поэта чрезвычайно широко. Тема у него не отражается, а выражается, и ее в сущности можно отождествить с понятием «проблема», которая выявляет себя концентрированно, всей совокупностью жизненного опыта поэта, его знаниями, памятью, ментальностью.

В. Блаженный по-своему глубоко ощущал кризисное состояние мира, он читал и перечитывал Библию. Библейские темы и мотивы — материя тонкая, требующая особого подхода. Этим подходом он владел. Библия повлияла на строй мышления поэта, на его мировосприятие, своеобразие религиозной метафизики, она для него — источник вдохновения и образности, позволяющей рас-

[1] Современная русская поэзия Беларуси… С. 30.
[2] Там же. С. 32.
[3] Аврутин А. И свеча… И музыка… И взгляд…: поэзия, переводы, проза, эссе. — Мн., 2008. С. 372.

ширить смысловую объемность высказываемого. Стихи его часто напоминают экзегетику, своеобразный комментарий к Священному Писанию — Библии или продолжение ее текста.

И. Бродский считал, что «существуют… три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки — посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготея ко второму и третьему), ибо все три даны в языке»[1]. Метод В. Блаженного тяготел к третьему — библейскому откровению, обретая свое стилевое воплощение во всех элементах поэтической формы, включая замедленный темп речи и даже знаки препинания. Его стихи часто похожи на евангельские притчи, в которых автор на основании своего жизненного опыта размышляет над тайнами Бытия, постигая его метафизическую глубину и создавая свою духовно-поэтическую реальность.

Творчество этого большого поэта, несомненно, влияет и будет влиять на русскоязычную поэзию Беларуси.

Не избежал его влияния, нам кажется, А. Аврутин, чья поэзия, кровно связанная с жизнью, с современностью, тоже обращена к вечности, пребывающему в этой вечности единству мира, до краев наполненного противоречиями. Сборник стихов «Суд богов» (2001) открывался своеобразной лирической трилогией (три стихотворения) под общим названием «Памяти Вениамина Блаженного». К последнему стихотворению этой трилогии предпослан эпиграф из В. Блаженного: «…Играет в саду ли, играет в аду ли…» Это — образец библейского стиля с присущей ему глубиной, неожиданностью и смелостью сопоставлений, схождение противоположностей. Нечто подобное, похожую амбивалентность, встречаем у Пастернака, ставившего знак равенства между победой и поражением, и у А. Аврутина, уравнивающего век и миг, мир «живой» и мир «потусторонний», которые находятся рядом («Когда по мраку первопутка…»). Он давно, как уже было сказано, заметил и уяснил себе: «От разнокожих тел // Черного цвета тень».

В. Блаженный оставил высказывание о поэзии Аврутина: «Поэзия Аврутина не просто загадочна — она и расшифровывает загадки — загадки мира и вселенной — достоверным языком метафор… И словно под невидимой палочкой дирижера, все обретает свой музыкальный голос — поют рассветы и закаты, звезды и камни, мертвые и живые…»

Про В. Блаженного А. Аврутин говорит стихами и с огромным пиететом, сердечной просветленностью:

Сквозь розовость небес ему вторили боги,
Вторила над цветком косматая пчела,
Вторила тишина…[2]

Д. Строцев высказал предположение, что «можно было просто, как на камне, на Вениамине (Блаженном. — ***В. Г.***) укоренить русскую поэзию Беларуси»[3]. Сравнение этого поэта с камнем, на наш взгляд, неудачно: на камне невозможно что-либо укоренить, для этого требуется более благодатная почва, каковою, несомненно, является творческое наследие В. Блаженного, очень тонкими и плодотворными филиациями связанное с современной поэзией и культурой в целом.

Заслуживающий внимания довольно странный случай: В. Блаженный прожил жизнь в Беларуси, ничего белорусского вокруг себя не замечая. Складывается впечатление (может, кто-то его развеет), что он оставался (сделался?), находясь в забвении, чем-то вроде «человека гетто» и что как будто это его устраивало.

О. Мандельштам говорил о себе: «Нет, никогда, ничей я не был современник, // Мне не с руки почет такой…» Вероятно, так думал о себе и В. Блаженный. В

[1] Книжное обозрение № 24. 1988. 10 июня. С. 9.
[2] Аврутин А. Наедине с молчанием. — Мн., 2007. С. 189.
[3] Материалы творческих встреч с писателями: Выпуск 2. С. 106.

его лирическом герое крепко сидело убеждение, что он живет не столько в истории, сколько в вечности, требующей от человека огромных духовных усилий. А между тем творчество В. Блаженного, как и О. Мандельштама, было по-настоящему современно! Оба поэта последовательно отстаивали человеческую личность, защищали человечность, «хлеб доброты», который не может заменить ни интеллектуальная мудрость, ни игра воображения. То обстоятельство, что «я» исчезнет, а мир останется, не страшило В. Блаженного, а словно бы добавляло смысла в его существование. Как завещание, остаются в памяти его строки:

Ну что я могу вам сказать на прощанье,
Старик сумасшедший, прохожий чудак?..
Глядите на кошек моими очами,
Моими руками ласкайте собак[1].

После смерти В. Блаженного «Литературная газета» включила его в список наиболее ярких поэтов XX века.

На гранитном камне, что установлен на его могиле, значится: «Вениамин Блаженный (Айзенштадт). Поэт».

«Если двое, — не шутя писал когда-то В. Белинский, — начнут объяснять один одному, что каждый из них имеет в виду под словом «поэзия», то и выходит на поверку, что один называет поэзией воду, а другой — огонь…» Определений поэзии много, в том числе определений образных. С одной стороны, поэзия — в жизни (или «в траве», как утверждал Б. Пастернак), с другой — она связана с состоянием человеческой души. Соединение объективного с субъективным. В эстетическом смысле поэзия — образное выявление сущности в коротком высказывании, отражение внутреннего мира человека.

«Поэзия, — утверждает известный чувашский поэт Геннадий Айги, — дает чувство значительности жизни. Ее конкретности. Вот листва шуршит, потом, у человека глаза сияют, сумерки, или вот эта весенняя погода за окном, она насыщена значительностью, каким-то… ожиданием, она указывает на значительность и серьезность жизни, превышающую нас, которую мы переживаем, не замечая. Мы просто идем в лес, гуляем, смотрим, вот он, мир, поле, дерево, а поэзия дает осмысление этому… Поэзия — это способ или средство, если хотите, коснуться каких-то сущностных вещей в мире»[2].

Эти свои родовые черты поэзия сохранила и к концу XX века. Самое главное впечатление от поэзии 80—90-х гг. — активизация мышления, углубленность в действительность. Переживание становится по-настоящему аналитическим, органически связанным со всем тем, что довелось испытать человеку на жизненных дорогах. Поэта волнует человек, его бытие и взаимоотношение с миром, направленность активности — именно эти мотивы составляют содержание напряженных раздумий. Поэзия этого времени стремилась к значительным, впечатляющим обобщениям.

Одна из самых значительных фигур среди современных поэтов — носителей волшебного лирического дара — Анатолий Аврутин (род. в 1948 году)[3].

* * *

Поэзия — это окружающий нас мир, но не только, это еще и наше отношение к окружающему миру, выраженное в слове поэта, в его менталитете и характере. Г. Лорка в своих заботах и мечтах о настоящей поэзии писал: «Чего поэзия не терпит ни под каким видом — это равнодушия. Равнодушие — трон дьявола, а

[1] Там же. С. 108.
[2] Новое литературное обозрение. № 62 (2003). С. 203.
[3] Статью В. Гниломедова об А. Аврутине читайте в № 7, 2008 г.

между тем именно оно выхваляется на всех перекрестках в крикливых одеждах «самодовольства и культуры».

Достойно порицания и равнодушие к национальному. Есть наивные высказывания такого рода, что, дескать, в культуре нечего делать с «национальным инстинктом», главным здесь является «общечеловеческий код». Речь идет, надо понимать, о национальном характере и общечеловеческом начале. Зачем их противопоставлять, если они сами одно без другого обойтись не могут. Поэт-бард М. Мерман, уехавший с неразлучной своей гитарой в Израиль, но одержимый незабываемым прошлым, пел, изливая к нему свои чувства:

В Ершалаимских далях евангельской местности
Спросят: «Кто здесь?» — на языке Соломона.
Я отвечу: «Солдатик российской словесности
Иностранного легиона»[1].

Стихотворение (песня) называется «Прощание с российским языком».
Не менее красноречиво звучала и другая его песня:

Лики святых невидимы,
Ангелы чуть заметны.
Русской тоски мне выдели.
Разве она запретна?[2]

Куда ее девать — русскую тоску? Ее только и можно сублимировать в песню, в стихи, прозу…

Споры о национальном не утихают, вопрос о национальном продолжает обсуждаться всеми на всех уровнях. «Я считаю, — говорил Д. Строцев в интервью 11 июля 2008 г., — что, скажем, русская поэзия Минска — во многом еврейская поэзия…»[3] Так это или не так, не будем спорить (скорее все-таки не так). Важно, что Д. Строцев не отказывается от национального при характеристике поэзии. Трагическое отчуждение человека в современном мире подрывает, аннигилирует и его менталитет, национальное самосознание. Пример тому — вышеупомянутый случай с Вальжиной Морт.

Каждый человек — уникум, и каждый поэт уникум тем более. Национальное содействует этой уникальности, обогащает и проясняет ее. Молодой минский русскоязычный литератор Г. Гриневич на вопрос «Вам ближе белорусская или русская культура?» — ответил: «Близость определяется, на мой взгляд, степенью открытости. Я открыт для любой культуры. Мне одинаково интересна и русская, и белорусская культура, а также культура Франции, Испании, Аргентины или Берега Слоновой Кости. Себя же я однозначно ощущаю белорусом, хотя во мне плещется и русская, и польско-литовская, и даже чуть-чуть французской крови. Фамилия Гриневич ко многому обязывает. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона посвятила фамилии Гриневич три статьи. Гриневичи — это ряд старинных белорусских родов шляхетского происхождения. Определенно, я ощущаю себя белорусом. Конкретнее, белорусом из Минска, чьи прадеды и прапрадеды покоятся в земле, по которой я хожу. Однако наиболее комфортно я чувствую себя именно в русскоязычном контексте»[4].

В рассуждениях Г. Гриневича «шмат слушнага» — как говорят белорусы. Выражение «русскоязычный поэт» появилось недавно, в 70—80-е гг. прошлого века. В настоящее время это понятие стало устойчивым, терминологическим. «Русскоязычными» поэтами предлагают считать поэтов не русских по этническому признаку, но пишущих на русском языке[5]. Известный писатель и ученый

---

[1] Мерман М. Возвратная частица: Стихи. — Мн., 1994. С. 60.
[2] Там же. С. 29.
[3] Материалы творческих встреч с писателями. Вып. 2. С. 136.
[4] См.: Новое литературное обозрение. 2003. № 62. С. 19.

А. Андреев на этот счет говорит следующее: «… мне представляется, что есть литература действительно русскоязычная, и эта литература — органическая часть литературы белорусской. А есть русская литература в Беларуси, т. е. она, с одной стороны, русская литература, но с другой стороны, она и в другую культурную парадигму тоже вписывается, ее оттуда не вытащишь никак»[1].

Мы полагаем, что правильнее всего считать эти понятия «русский» и «русскоязычный» применительно к поэзии синонимами, потому что в основе одного и другого лежит одна языковая сущность. Материал писателя — жизнь, действительность, которую он облекает, так сказать, в одежду слова. Осуществлять, развивать национальную культуру на чужом, пусть и близком, языке вряд ли возможно, по крайней мере, очень трудно. Язык — соавтор писателя, поэта, явление универсального порядка. В стихе отражается «языковое сознание» автора, «языковая картина мира личности» (выражения Л. Ю. Буяновой[2]). Никем не опровергнута и другая мысль, что поэт — орудие языка, что единственным средством познания, постижения жизни является слово и отдельный звук, связанный со смыслом.

А. Аврутин утверждает, «что язык всего лишь инструмент для настоящего художника»[3]. Утверждение, с нашей точки зрения, несколько легкомысленное. Ближе к истине, на наш взгляд, суждение П. Панченко. «Всей жизнью доказано, — считал этот белорусский поэт, — что язык не только средство сношения между людьми, но и душа каждой нации, основа ее мудрости, песен, сказок, литературы»[4]. Душа — не инструмент, а нечто большее.

Окончание следует.

[1] Материалы творческих встреч с писателями: Выпуск 2. — Мн., 2009. С. 36—37.

[2] Семантика языковых единиц: Доклады VI Междунар. конф.: В 2 т. / Моск. гос. откр. пед. ун-т; Отв. ред. Е. И. Диброва. — М.: Изд-во «СпортАкадем Пресс», 1998. — Т. 1. — 378 с.; Т. 2. — 428 с. — Т. 1. С. 19.

[3] Анатолий Аврутин: Штрихи к творческому портрету. — С.-Петербург, 2003. С. 21.

[4] Панчанка П. Высокі бераг. — Мн., 1993. С. 195.

ИОСИФ КАЛЮТА

Слуга двух богинь

Мы закрыли двери, чтобы в дом
не вошла ошибка, но как же туда
войдет истина?
Рабиндранат Тагор

I

Долгая дорога от Москвы до Бреста, а затем через пол-Европы, минуя таможни и границы с многочисленными пересадками на неуютных душных вокзалах, где в людской толчее слышался многоязыкий говор стариков, женщин с детьми, инвалидов, уцелевших всем смертям назло в кровавой мясорубке Второй мировой, но лишившихся крова и теперь куда-то спешивших в поисках оседлой жизни и крыши над головой, заняла несколько суток.

Догорало лето послевоенного 46-го года.

Поезд шел размеренно, нелепо раскачиваясь, извиваясь змеей на крутых поворотах. За вагонными окнами проплывали неброские пейзажи полей, лугов, лесов и перелесков сначала на территории Польши, затем — Германии, а вагонные колеса все наматывали и наматывали версты.

Гавриилу Вересову повезло: его попутчиками были члены советской шахматной делегации — Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Александр Котов, Исаак Болеславский, Сало Флор. С каждым гроссмейстером из этой пятерки Вересову доводилось встречаться и раньше, еще до этой поездки, но то были скоротечные встречи за шахматными столиками на довоенных турнирах и чемпионатах СССР. На сей раз все выглядело по-другому: будучи чиновником белорусского МИДа, он, Гавриил Николаевич Вересов, выступал в непривычной для себя ипостаси — руководителя советской спортивной делегации. Помимо вышеназванных шахматистов, в Голландию ехали жена Михаила Ботвинника Гаянэ и четырехлетняя дочка Оля — такое условие, учитывая статус турнира, выдвинул перед поездкой за границу советский чемпион, а Всесоюзный Комитет по физкультуре возражать не стал.

Десятки станций и полустанков остались позади, и вот, наконец, железнодорожный вокзал в Гааге. Но и это была еще не конечная остановка — предстоял марш-бросок на автомашинах на север Голландии и город Гронинген, где объявили полную готовность к открытию первого послевоенного международного турнира с участием сильнейших на то время шахматистов: пяти гроссмейстеров из Советского Союза и еще 16-ти из Старого и Нового Света — Макса Эйве (Голландия), Савелия Тартаковера (Франция), Ласло Сабо (Венгрия), Альберика О’Келли (Бельгия), Арнольда Денкера (США), Мигеля Найдорфа (Аргентина) и других. Но, как выяснилось, с заверением о «полной готовности» организаторы турнира явно поспешили. Отправляя приглашения в Гронинген аж 21 участнику, хозяева не учли, что все и приедут. Все бы ничего, однако сразу же после Гро-

нингена должен был стартовать уже запланированный и разрекламированный командный матч СССР—США, а значит, пятерым советским и двоим американским игрокам следовало вернуться в Москву без опозданий.

Перед жеребьевкой, чтобы укоротить регламент турнира и тем самым сэкономить один игровой день, организаторам предстояло решить отнюдь не шахматный этюд с одной лишней фигурой на доске и назвать фамилию одного лишнего участника гранингенского турнира. Кого?

Выбор пал на «хозяина поля» Лодевейка Принса. В самом деле, не отправлять же домой прилетевших из-за океана Мигеля Найдорфа или кого-то из американцев? Принс же заупрямился, несмотря на то, что ему за отказ пообещали экстра-гонорар.

— Почему за бортом турнира должен остаться именно я? — недоумевал Принс.

Чтобы спасти имидж организаторов соревнования, громкое заявление сделал экс-чемпион мира Макс Эйве:

— Выдвигаю на выбытие свою кандидатуру…

Самоотвод Эйве, естественно, поддержки не нашел.

— Ладно, придется покинуть турнир мне! — плеснул масла в огонь основной претендент на победу, чемпион СССР Михаил Ботвинник.

Наступила томительная минута ожидания: никто из прибывших не хотел уступать «место под солнцем турнира». И тогда «дипломатичный ход конем» сделал Гавриил Вересов:

— Гамлетовский вопрос — «быть или не быть» участником турнира? — волен решать сам господин Принс… Я же, как представитель советской делегации, уполномочен заявить следующее: «В случае отказа я даю господину Принсу гарантию, что в порядке компенсации он будет приглашен в Советский Союз на одно из международных соревнований шахматистов…»

Гавриил Николаевич, правда, не уточнил, от какой именно организации он давал такую гарантию Лодевейку Принсу, однако «ход конем» в той по сути патовой, т. е. тупиковой ситуации оказался единственно верным, убедительным, и голландцу ничего не оставалось, как принять условия, предложенные ему представителем Москвы…

Полыхнувшее было пламя скандала удалось погасить.

II

Турнир с участием теперь уже двадцати оставшихся шахматистов начался.

Иногда казалось, что в то лето шахматная лихорадка поразила весь Гронинген: в зале местной филармонии «Гармония» каждый вечер собиралось около тысячи (!) поклонников древней и мудрой игры.

Уже со старта, с первых поединков, как и предполагали, поочередно лидировали то Михаил Ботвинник, то Макс Эйве, а в середине турнира жребий свел их в очном поединке.

«Это была наша пятая партия (с 1934 года), — напишет позднее, возвращаясь к Гронингенскому турниру, Михаил Ботвинник. — *До этого счет был 3:1 в пользу голландца: две партии он выиграл, две закончились вничью. Играть с ним мне было трудно: я плохо понимал его игру. Он ловко менял ситуацию на доске, делал какие-то «длинные» ходы фигурами (я их просматривал). Нужно отдать ему должное — он начинал стремительное наступление при первой возможности, точно считал варианты и глубоко изучил эндшпиль…*

Поэтому и играть мне, логику и во многом фантазеру, было с ним нелегко. Наша встреча в Гронингене не была исключением. Сначала я получил хорошую игру (Эйве играл быстро, но несколько поверхностно), затем решил выжать из

позиции больше, чем это было возможно; Эйве немедленно перехватил инициативу, и я с трудом отбивался… Эйве доказал в этой партии, как тонко он изучил эндшпиль: к перерыву он ловко свел игру к ладейному окончанию, которое как две капли воды было похоже на эндшпиль Ласкер-Рубинштейн (Петербург, 1914 год) с переменой цвета фигур. Ладейный конец неизбежно переходил в проигранный пешечный эндшпиль; мне впору было сдаваться.

Прибежал в отель «Фрихе». Жена кормит обедом, я только отмахиваюсь. Заглянул в шведский справочник Кольина, где раздел эндшпиля был составлен самим Рубинштейном, и тупо уставился на доску… Стук в дверь, и входит Вересов.

«Как дела?» Я сначала горестно покачал головой, потом все объяснил. «Михаил Моисеевич, — Вересов в меня верил, — может, что-нибудь найдете?»

Вдруг меня осенило — в отложенной позиции еще у каждой стороны по пешке: может, здесь пешечный эндшпиль ничейный? Так оно и оказалось! Тут же мы с Гавриилом Николаевичем с аппетитом пообедали и договорились, что все держим в секрете — вдруг ошиблись, а если противник до доигрывания ничего не узнает о нашем анализе, то за доской и разобраться не успеет в новой ситуации.

С понурой головой появляюсь в зале. Две тысячи голландцев простояли полтора часа, не двигаясь: каждый боялся потерять свое место и не увидеть капитуляции советского чемпиона. Эйве покровительственно и сочувственно похлопывает меня по плечу; я с сокрушенным видом киваю в ответ: все, мол, понимаю… Начинается игра, делаю, казалось бы, бессмысленный ход (на самом деле он ведет к ничьей). Эйве удивлен, затем задумывается, бросает на меня испытующий взгляд и надолго углубляется в позицию. Значит, все в порядке, подмигиваю Гавриилу Николаевичу, и вскоре партия заканчивается мирным рукопожатием. Гробовая тишина — зрители онемели от изумления…»

Неожиданная, можно даже сказать, счастливая находка в начисто проигранной партии с Максом Эйве в дальнейшем чуть было не сыграла злую шутку в турнирной судьбе советского чемпиона — последовал психологический спад, Ботвинник занервничал, игра расклеилась: он проиграл две встречи подряд — Котову и Яновскому (в турнирной практике подобное встречалось с ним не часто), и к радости местной публики вперед снова вырвался Макс Эйве. Надо было что-то предпринимать. Но что? И тут роль палочки-выручалочки опять взял на себя Гавриил Вересов.

— Вы, Гаянэ, по вечерам сидите с Оленькой в номере отеля, томитесь, ждете — как там сыграл Михаил Моисеевич, — слегка заикаясь от волнения, заговорил при встрече Вересов. — Приходите лучше в «Гармонию». Ваше присутствие будет бальзамом на душу супругу, поверьте… О местах в зале я позабочусь…

— Спасибо за подсказку, Гавриил Николаевич! — обрадовалась Гаянэ. — Сегодня же мы и придем, непременно придем…

Как в воду глядел Вересов. Прогуливаясь по сцене после очередного хода, Михаил Ботвинник то и дело переводил взгляд на первый ряд зала, где сидели жена и дочка, всем своим видом показывавшие: «Мы здесь, рядом с тобой, все будет хорошо…» Он читал на родных лицах выражение поддержки, а это добавляло сил и вдохновения в игре. «Семейный подряд» не мог не дать свои плоды: три вечера, три поединка, три победы — и Ботвинник снова лидер…

Случилось то, что случилось: спасенная при непосредственном участии Гавриила Вересова половинка очка в трудной дуэли с экс-чемпионом мира Максом Эйве в итоге и решила исход «битвы под Гронингеном»: Михаил Ботвинник стал победителем турнира, третье призовое место досталось москвичу Василию Смыслову, и этот двойной успех еще выше поднял престиж советского шахматного искусства.

Четверть века спустя в книге воспоминаний Михаил Ботвинник нашел слова, адресованные и Гавриилу Вересову, — слова слегка ироничные, но в то же время не лишенные теплоты:

«Мастер Вересов всегда сидел в цейтнотах — был он тугодум, очень рассеянный, все время о чем-то думал. За время нашего путешествия через Европу всегда и всюду забывал свой служебный портфель (кстати, этот портфель он одолжил у Флора), где хранились денежные средства нашей делегации. Любимым развлечением маленькой Оли было находить этот портфель и возвращать его владельцу. Когда мы улетали из Гааги, Вересов все же ухитрился забыть портфель... в посольстве!

Родился он, однако, в счастливой рубашке, и все у него получалось удачно...»

III

Забежав в год послевоенный, 1946-й, перенесемся на воображаемой шахматной машине времени в пафосно-лозунговые двадцатые и тридцатые, в опаленные войной сороковые годы, чтобы потом, перекинув мостик памяти, оказаться с главным действующим лицом нашего повествования уже в середине XX века...

IV

Отличником Гавриил Вересов не был, в списках троечников не значился, зубрежку, не в пример некоторым одноклассницам, тоже не признавал, а вот задачки по математике и физике щелкал как орехи...

Уже не раз замечали: после звонка об окончании последнего урока он, схватив портфель, набитый тетрадками и книгами, пулей вылетал из класса. Глаза радостные, сияющие...

— Эй, Гаврилка, ты куда? — пытались перекрыть ему дорогу одноклассники.

— Куда-куда... На кудыкину гору! — на бегу отвечал Гаврила.

— Влюбился, что ли, Ромео? Спешишь на свидание?

— Ага, разбежался! Так все вам и скажи!.. — отбивался он от назойливых вопросов.

Минская школа, 8-й класс. Урок математики. Учитель вывел мелом на доске условие задачи и сказал:

— Стась Сташевский, к доске...

Гаврила внимательно посмотрел на классную доску, крутнул головой, такое движение по привычке он проделывал, когда решение было уже найдено, затем осторожно, чтобы не раздался скрип, приподнял крышку парты и опустил глаза долу...

Увлеченный, даже не заметил, как рядом с ним возникла фигура учителя, и последовал вопрос:

— Покажи-ка, что прячешь под партой?

Застигнутому врасплох Гавриле ничего не оставалось, как взять с колен книгу, обложка которой была разлинеена в черно-белую клетку, и передать ее учителю.

— Так, так... — произнес учитель и стал читать: — Александр Алехин. «Мои лучшие партии». Шахматный учебник, как я понимаю... А почему он так изрядно потрепан?

— Потому как экземпляр редкий, зачитанный, — робея, начал объяснение Гаврила, приняв стойку «смирно».

— Книга твоя?

— Не-а... Это дед мой взял ее на два дня у знакомого шахматиста.

— Сам-то играть умеешь?

— Умею, — обрадовался Гаврила. — Я шахматную секцию посещаю. Могу поставить «детский мат»... Есть такая комбинация в шахматах, «детский мат» называется...

— Хи-хи… Детский мат, — класс оживили смех и хохот.

— Тише, ребята! Тише! — повысил голос учитель математики. — Смешного тут ничего нет…

— Я взаправду могу дать мат черному королю в четыре хода, — окончательно поборов робость, похвастался Гаврила и не без гордости пояснил: — Причем буду двигать фигуры, не глядя на доску…

— На какую доску?

— Ну, на шахматную, конечно.

— Это как? Расскажи!.. — послышались голоса.

— А вот как… Объясняю. Мой первый ход белой пешкой — Елена два — Елена четыре. И если соперник пойдет черной пешкой на поле — Елена пять, я двину своего слона на поле с 4 (Цапля четыре). После ответа черных — Конь с 6 (Цапля шесть) я брошу ферзя на край доски, на поле — аш пять. Черные поставят своего Коня на ф 6 (Федор шесть), и тогда я «съем» черную пешку на поле ф 7 (Федор семь) и объявляю ферзем мат черному королю!..

— Во дает Гаврилка! Мат королю!.. — Класс загудел, как пчелиный рой.

— Молодец, Вересов! — похвалил учитель и вернул разговор в привычное русло: — Пешки, кони, короли, цапли… Это все забавно, не спорю. Но на уроке математики надо заниматься математикой… Продолжим урок… Так на чем мы остановились?..

— На решении задачи с двумя неизвестными, — отозвался одиноко стоявший у классной доски Стась Сташевский.

Тайное вскоре стало явным: Гаврила Вересов действительно влюбился — в четырнадцать мальчишеских лет такое случается часто. Вот только дамой сердца юного Гаврилки-Ромео была не Джульетта, а Каисса. Не все школьники знали тогда, что Каисса — это имя шахматной Богини.

V

Два года спустя выпускник минской средней школы Гаврила Вересов традиционным вопросом «Куда пойти учиться?» себя особенно не утруждал. Актуальнее был вопрос другой — «Куда пойти трудиться?» На выпускном вечере кто-то предложил: «Хлопцы, а не махнуть ли нам в Могилев? Там начали строить фабрику искусственного волокна. Это же — романтика!» — «Так и быть — махнем!.. В чем вопрос…»

Среди поддержавших тот юношеский порыв, как читатель уже догадался, был и легкий на подъем Гаврила Вересов.

Дела на стройке складывались как нельзя лучше, если бы не одно «но»: шахматы в жизни Гаврилы, освоившего профессию арматурщика, постепенно вытесняли все другие интересы, статус шахматиста-любителя он перерос, а в Могилеве серьезных партнеров не было, играть же «в поддавки», чтобы убивать свободное время, — занятие не в характере юного максималиста. И он вернулся в Минск.

Позднее, заполняя «Личный листок по учету кадров» Гаврила Вересов напишет, как год за годом менял одну профессию за другой в поисках той, самой главной:

«Арматурщик на стройке в Могилеве… Инструктор по арматуре на возведении «Дома печати» в Минске… Инспектор Белорусского республиканского совета физкультуры… Директор шахматной базы Московского Совета профсоюзов… Рабочий-станковой на Минском заводе стандартных домов… Студент физмата БГУ…»

Физико-математический факультет университета он выбрал не «с бухты-барахты», а потому что загорелся идеей «поверить алгебру гармонией», что было особенно актуальным для него как шахматиста. Зачеты и экзамены сдавал легко, с

беглого взгляда в тетрадки с конспектами и в учебники, оставляя в резерве время для штудирования учебников шахматных. Допоздна просиживал в Ленинке, там можно было взять свежие номера московских журналов «Шахматы», «Шахматный листок Петрогубкоммуны», «Библиотечку шахматиста», где публиковались лучшие партии советских и зарубежных мастеров древней игры. Молодой да ранний студент входил в когорту организованных шахматистов Минска, т. е. тех, кто регулярно участвовал в соревнованиях, возглавлял шахматную секцию университета. Многих своих партнеров по блицтурнирам и дружеским дуэлям знал по фамилиям — Иванов, Брейтман, Маневич, Настюшенок, Житкевич… Шахматная лихорадка, поразившая в середине 30-х годов страну Советов, не обошла стороной и Беларусь: в Минске, Бобруйске, Витебске, Орше, Полоцке, Борисове создавались «шахматна-шашачныя клюбы» (именно так тогда назывались спортивные клубы. — ***И. К.***). В белорусскую столицу зачастили визитеры-сеансеры из Ленинграда и Киева, а в феврале 1935 года по пути из Праги в Москву два дня в Минске гостил один из претендентов на титул чемпиона мира чехословацкий гроссмейстер Сало Флор, выступивший по многочисленным просьбам любителей шахмат с лекцией и сеансом одновременной игры на 50 досках с часами против игроков второй и третьей категории.

То было время, о котором один из корифеев шахмат международный гроссмейстер и литератор Давид Бронштейн напишет:

«Древняя игра тогда еще не превратилась в профессиональный спорт. А была просто частью человеческой культуры, частью жизни, а шахматистами больше владела тяга создать красивую, цельную партию, чем победить во что бы то ни стало…»

VI

Что правда, то правда: первокурсник физмата Гавриил Вересов уже тогда слыл самобытным творцом, ценившим красоту игры выше ее конечного результата. Сидя за шахматным столиком и будучи не в состоянии оторвать взгляд от «театра боевых действий» на черно-белых полях, Гавриил, как правило, уклонялся от предлагаемых соперниками ничьих, по крупицам выискивая мизерные шансы для усиления позиции своего войска и покидал поле боя только тогда, когда все ресурсы для победы были исчерпаны.

Упоение боем — так можно охарактеризовать игру Гавриила Вересова на чемпионате СССР 1934 года. Тогда в городе на Неве 22-летний белорусский дебютант-первокатегорник, то есть, перворазрядник, по всей турнирной дистанции прошел, не подписав ни одной (!) ничьей, — случай в соревнованиях столь высокого ранга просто уникальный, в наше время имя такого бескомпромиссного шахматного рыцаря без страха и упрека, игнорировавшего самое понятие «ничья», непременно занесли бы в Книгу рекордов Гиннесса.

В копилке Вересова набралось 9 (!) побед и 10 поражений, был дележ 13—14 мест при 20 участниках, и это при том, что в одной компании с дебютантом за звание чемпиона Советского Союза боролись признанные мастера шахматной сцены — Григорий Левенфиш, Владимир Алаторцев, Вячеслав Рагозин, Георгий Лисицын, Сергей Белавенец, Василий Панов и другие. «Матерые волки» поначалу видели в Гаврииле Вересове «мальчика для битья». Да не тут-то было: он сам с первых поединков дал понять именитым мастерам, что не «лыком шит», а молодо уже не зелено. Дебютанту, конечно же, недоставало турнирного опыта, практической игры, а он, руководя и белым, и черным воинством, шел в бой под девизом «пан или пропал», не признавая авторитетов, чередуя победы и поражения, как бы доказывая тем самым, что дважды два не всегда — четыре!.. По ходу игры он маскировал ловушки, да такие, что соперникам было над чем поломать голову…

Григорий Левенфиш, ставший чемпионом СССР, потерпел три поражения — одну из «пробоин» нанес ему Гавриил Вересов. Несложно было подсчитать: сведи тогда минский дебютант пару-тройку поединков к ничейному исходу, и он мог претендовать если не на одно из призовых мест, то на попадание в первую пятерку — точно. Но это уже был бы не «забияка» Гавриил Вересов, а другой шахматист…

Вернувшись из Ленинграда на «белом коне», Гавриил Вересов — «автор пусть не громкой, но заметной сенсации» (так, во всяком случае, оценили успех дебютанта шахматные аналитики) перво-наперво ликвидировал задолженность по зачетам и экзаменам (пока он целый месяц играл на чемпионате, однокурсники сдали сессию), а через полгода сделал неожиданную «рокировку»: отнес в деканат БГУ заявление с просьбой перевести его на заочное отделение и, получив «добро», оформился на работу шахматным обозревателем сразу двух газет — белорусской республиканской «Звязды» и польской — «Sztandar Wolnosci».

VII

Можно считать, что именно чемпионат Союза в Ленинграде — исходная позиция в шахматном творчестве Гавриила Вересова. Дело оставалось за малым — завоевать звание мастера спорта СССР.

Осенью 1937 года такой квалификационный матч и состоялся. В то время Всесоюзная шахматная секция придирчиво подбирала строгих экзаменаторов для соискателей мастерского звания. Гавриилу Вересову достался Василий Панов — победитель и призер чемпионатов Москвы, шахматист опытный, уже зарекомендовавший себя как теоретик и аналитик древней игры.

Первый тайм матча из 16 партий, если применить футбольную терминологию, проходил в Москве, второй — в Минске. Поединки проходили в острой борьбе с переменным успехом. Оба старались не изменять своим вкусам — в каждой партии делали акцент на атаку. Вересов знал, что его соперник на чемпионате Москвы 1929 года выиграл одиннадцать (!) партий подряд, и потому «держал ухо востро». Перед заключительной встречей минимальный перевес был на стороне белорусского шахматиста — 8:7. Заключительную партию игравший белыми Вересов провел в присущем ему атакующем стиле и одержал победу с общим счетом 9:7.

В тридцатые годы звание мастер спорта СССР по шахматам котировалось довольно высоко, его приравнивали к званию профессора или ученой степени кандидата наук, маститых мастеров именовали маэстро и считали небожителями. Шахматных маэстро в стране насчитывалось десятка два, а в Белорусской ССР Вересов был первым, кого удостоили столь высокого и почетного спортивного звания.

Итак, Гавриил Вересов покорил одну из шахматных вершин. Что и требовалось доказать!..

VIII

Удивлять Гавриил Вересов умел, удивлял часто, благо поводы для этого были разные, но удивляли и его самого.

В Оршу поезд прибыл с опозданием, правда, небольшим. Вересов и не волновался: до начала запланированной лекции «Шахматы и шашки в рабочем коллективе» в клубе местного депо и сеанса одновременной игры с подающими надежды молодыми железнодорожниками-шахматистами второй и третьей категории времени было предостаточно.

На перроне царила привычная суета среди приехавших, отъезжающих и провожающих. Вересов огляделся по сторонам и тут, как по мановению палочки невидимого дирижера духового оркестра, грянул бравурный марш.



Гавриил Вересов, 1940 г.

— Это кого так встречают? — не скрывая удивления, поинтересовался маэстро у подходивших навстречу чиновного вида мужчины и дамы с букетом цветов.

Вместо ответа последовал встречный вопрос:

— Вы и есть мастер Вересов?

— Да, я…

— Так вас и встречаем! С оркестром! — обрадовалась дама и преподнесла гостю букет полевых ромашек и васильков.

— Здравствуйте, Гавриил Николаевич! — чиновник подал руку для пожатия. — Рады видеть вас в нашем городе!..

Медные трубы, как видно из эпизода на оршанском вокзале, Гавриил Вересов прошел. Пройти сквозь огонь и воду ему еще предстояло…

IX

Осенью 1940 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского проходил XII чемпионат СССР. Новоиспеченного шахматного мастера Гавриила Вересова, приехавшего в столицу в ранге победителя первенства БССР, экзаменовали на зрелость гроссмейстеры и титулованные мастера Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Игорь Бондаревский, Исаак Болеславский, Пауль Керес, Александр Котов, Андрей Лилиенталь, Петр Дубинин, Вячеслав Рагозин… К немалому удивлению своих многочисленных поклонников, — да что там говорить, и к удивлению соперников! — Гавриил Вересов, «наступив на горло собственной песне», неожиданно повел игру в ином ключе, чередуя победы и поражения с ничьими, чего раньше на турнирах с ним не случалось.

Итоговый результат чемпионата страны Вересова не мог не радовать: в его активе было 8 единичек (за победы), 5 «половинок» очка (за ничьи) при 6 «баранках» (за поражения), а в турнирной таблице фамилия белорусского мастера соседствовала с фамилией неоднократного чемпиона Советского Союза, будущего чемпиона мира Михаила Ботвинника, который разделил 5—6-е места, а Гавриил Вересов — 7—9-е (при 20 участниках).

Чемпион БССР Г. Вересов не устоял в поединках с победителем И. Бондаревским, призерами — А. Лилиенталем и В. Смысловым, зато заставил капитулировать П. Дубинина, В. Микенаса, А. Котова, Г. Левенфиша, В. Панова…



Дорогого стоила красивая победа Гавриила Вересова, игравшего черными фигурами, над грозным соперником, победителем и призером крупных международных турниров Пауэлем Кересом, что отразилось в частушке и дружеском шарже:

Объяснить я вам берусь,
Как играет Беларусь.
Керес Вересу намедни
Молвил коротко:
«Сдаюсь!..»

Ни у одного из той двадцатки гроссмейстеров и мастеров, принимавших участие в

чемпионате СССР 1940 года, даже не возникало ни мысли, ни смутного предчувствия, что всего через год на смену азартным, яростно-мужским дуэлям на черно-белых полях шахматных досок придут кровопролитные сражения на полях битвы с коварным врагом, и многие из них наденут солдатские шинели…

X

Время стремительно летело не только на шахматных часах.

Кончалась осень сорок первого года. Над мирной еще недавно землей громыхала война. Оставляя кровавые следы, гитлеровские полчища рвались к Москве, сила крушила силу, и требовались выдержка, железная воля и мужество, чтобы не сломаться, не стать на колени, иначе ни устоять, ни выжить. По ночам в московском небе кружили аэростаты, а на земле, по обе стороны проселочных дорог, возводились оборонительные редуты — железобетонные надолбы, противотанковые «ежи» и рвы, и именно здесь, на подступах к столице, пролегла в ту осень невидимая граница между жизнью и смертью.

Рассказывая о фронтовых судьбах своих боевых спутников-однополчан, очевидец той тревожной осени 41-го редактор дивизионной газеты «Ворошиловский залп» Иван Стаднюк в мемуарах «Исповедь сталиниста» в подробностях поведал историю, пересказывать которую нет смысла, и я позволю себе частично процитировать автора.

«Вскоре появился у нас еще один сотрудник. Я буквально нашел его в лесу: случайно наткнулся на красноармейца, который сидел на пне и играл сам с собой… в шахматы. Увидев меня, он испуганно вскочил, поднял лежавший рядом карабин, повесил на плечо, заправил под ремень гимнастерку и виновато заулыбался.

— Кто такой? — спросил я, глядя в его широкое крестьянское лицо, настороженные серые глаза.

— Красноармеец Вересов! Посыльный медсанбата седьмой гвардейской!

Разговорились. Оказалось, что он известный белорусский шахматист мастер спорта или даже гроссмейстер.

Спросил его, смог бы он работать в дивизионной газете. Дело, мол, нехитрое: ходить на передовую, собирать «материал» о боевых событиях на фронте, писать заметки, репортажи, статьи… С ответом Вересов не торопился. Предложил мне сыграть партию в шахматы. Я сознался, что почти не умею играть, хотя знаю, как ходить каждой фигурой.

— Я буду подсказывать, — пообещал он. <…>

Начали играть. Мне приятно было вслушиваться в утонченно-интеллигентный говор Вересова. Временами он чуть заикался, употребляя слова, какие я встречал только в книгах русских классиков. Словом, я почувствовал, что передо мной образованнейший человек, мысленно поражаясь, что не нашли ему на фронте более серьезного дела, чем быть посыльным медсанбата. И очень удивился, что зовут его совсем просто Гаврилой (правда, он сказал — Гавриил). Вспомнился мне один сельский «зачуханный» мужичишка, пастух Гаврило — тощий, оборванный, всегда полупьяный. И я будто обрел больше уверенности: стал двигать фигуры активнее, пытаясь предугадать последующие ходы мастера. Вересов заметил это и начал умышленно, как я понял, «играть в поддавки». Увлекшись игрой, мы не заметили, как к нам подошли трое мужчин: двое со знаками различия военных врачей, а третий — хорошо мне знакомый комиссар медсанбата батальонный комиссар Михайлов.

Мы с Вересовым испуганно вскочили, приняв стойку «смирно». Михайлов тут же стал отчитывать своего посыльного, что он занят в «рабочее» время посторонним делом. Тогда я не без ехидства позволил себе выразить майору

Михайлову недоумение, что в политотделе дивизии не хватает людей, а он держит в роли посыльного известного гроссмейстера Белоруссии, образованнейшего человека. Один из врачей, всмотревшись в шахматную доску на пне, насмешливо сказал:

— Не вижу почерка гроссмейстера.

Тогда мы вновь присели к шахматам, и Вересов в семь ходов поставил мне мат.

Через несколько дней Гавриил Николаевич Вересов был назначен литсотрудником «Ворошиловского залпа». Он оказался довольно способным газетчиком, хотя в военном отношении не очень был подкован: не всегда мог отличить гаубицу от пушки, определить калибр миномета, прочитать топографическую карту. Зато отличался храбростью, граничившей с неосмотрительностью: в дневное время, бывало, ползал в боевое охранение, вызывая на себя огонь немецких снайперов и осуждающие окрики с наших наблюдательных пунктов.

Не помню, когда и куда отозвали Вересова из редакции или убыл он по ранению. Знаю только, что война пощадила его…»

Война действительно пощадила Гавриила Вересова, ушедшего на фронт добровольцем в первые недели второй мировой. После тяжелого ранения он несколько месяцев лечился в лазаретных палатах, затем снова фронт, Калининский, где за участие в боевых операциях вблизи города Холм Новгородской области ему вручили первую боевую награду. А еще была служба в редакции газеты 2-го стрелкового гвардейского корпуса «Советский гвардеец», в политотделе 39-й армии, и, наконец, курсы усовершенствования командного состава в г. Калинине.

Дороги фронтовых журналистов Ивана Стаднюка и Гавриила Вересова больше не пересекались, а вот легенда об «известном белорусском шахматисте Вересове» в среде армейских газетчиков и политработников нет-нет да и оживала, обрастая новыми подробностями, причем оживала при самых что ни на есть неожиданных обстоятельствах места и военного времени.

Предлагаю еще один фрагмент из мемуаров писателя Ивана Стаднюка:

«Редакцию газеты «Мужество» я разыскивал в лесу над Ловатью близ деревни Мануйлово, попав вначале в небольшое скопление машин с полиграфическим оборудованием… Мое появление с вещмешком за спиной заметил человек среднего роста, улыбчивый и чуть губастый, с проницательным взглядом серых глаз. Одет он был в красноармейскую форму, с интендантскими петлицами, в которых, если не изменяет память, было по две зеленые «шпалы». Расспросив меня, кто я, откуда, «с чем меня едят» и почему здесь оказался, он тут же объяснил, что типография редакции газеты «Мужество» располагается рядом, за лесной дорогой, но людьми пока не укомплектована. <…>

— А пока давай сыграем в шахматы, — предложил мне незнакомец (потом выяснилось, что это известный белорусский поэт Аркадий Александрович Кулешов).

Я заколебался.

— Что, не умеешь?

— Чуток умею… Однажды выиграл у чемпиона Белоруссии Вересова.

Кулешова будто ужалили. Он резко повернулся ко мне всем телом и посмотрел так, будто я сморозил невероятную глупость. <…>

— С Гавриилом Вересовым? — с недоверием прозвучал вопрос.

— Да, с Гавриилом Николаевичем.

— Где ты мог с ним встречаться?

— Работали вместе в редакции седьмой гвардейской дивизии. — И я обстоятельно рассказал все, что знал о Вересове.

— Значит, жив курилка! — обрадованно заключил Кулешов. — В Минске мы сражались с ним до посинения. Выиграть у него не так просто…

Через минуту мы сидели на расстеленной плащ-палатке и расставляли на шахматной доске фигуры. При розыгрыше первого хода Кулешову выпало играть белыми. А мне было все равно, кому начинать играть, ибо я и так не научился даже простейшим комбинациям, малейшему рассчитыванию ходов. И стал двигать фигуры, старательно копируя ходы Кулешова: сдвинет он пешку, я двигаю соответственно свою, возьмется он за коня, и я готов поставить своего коня так же. <...>

Сделав еще несколько ходов, он кинул на меня острый, озабоченный взгляд и надолго задумался, не отрывая глаз от шахматной доски. Я тоже напряженно пялил глаза на фигуры, не понимая, что озадачило моего партнера...

— Хитер, комиссар! Видна выучка Вересова. Ладно, давай сойдемся на ничьей и начнем новую партию.

Я обалдел до того, что казалось, лес надо мной качнулся: никак не мог понять, почему Кулешов прекращает игру. Потом меня начал душить дурной смех, но я многозначительно молчал, не выдавая своего непонимания ситуации на шахматной доске. Кулешов воспринял мое молчание как отказ от ничьей и, наконец, сказал:

— Ладно, сдаюсь, — и начал заново расставлять фигуры.

Вот тут я и допустил непростительную ошибку, согласившись продолжать игру. Кулешов был шахматистом высшего класса и то ли нарочно проиграл мне эту партию, то ли случайно сделал какой-то опрометчивый ход, который при понимании законов игры лишал его шансов на выигрыш. Но с моей стороны ничто не грозило моему партнеру. Это он понял уже при второй партии, сделав мне мат в несколько ходов. Потом мы играли «вслепую»: Кулешов, улегшись на спину, не смотрел на шахматную доску, диктовал мне свои ходы, я ему называл ответные и... неизменно проигрывал.

— Как же с тобой мог играть сам Вересов? — удивился Аркадий Кулешов.

— Он тренировался на мне...»

(Подозреваю, что с «Исповедью сталиниста» Ивана Стаднюка знакомы в основном любители мемуарной литературы, и потому спешу попросить прощения у читателей за две столь пространные цитаты. — ***И. К.***)

Война тем временем уже откатывалась к западным границам, страна становилась на мирные рельсы, и в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов, 21 мая 1944 года начался XIII чемпионат СССР по шахматам, собравший 17 гроссмейстеров и мастеров (для участия в соревнованиях некоторых из них откомандировали прямо с фронта, а гвардии капитана Гавриила Вересова вызвали из штаба партизанского движения, расквартированного в одном из освобожденных районов Беларуси).

То был, пожалуй, самый сильный по составу чемпионат, да и шахматы были совсем другого уровня, но разминочные, порой даже шутливые партии, сыгранные «на спор» в минуты затишья перед боями в походных редакционных палатках, в госпиталях, а уж в дуэлях с Иваном Стаднюком и Аркадием Кулешовым и подавно, хоть как-то помогали мастеру Гавриилу Вересову поддерживать так необходимую игровую практику, и в итоговой таблице чемпионата Союза он «оккупировал» места с 8-го по 10-е, опередив маститых участников — Александра Котова, Андрея Лилиенталя, Георгия Лисицына, Вячеслава Рагозина, Давида Бронштейна, Александра Ильина-Женевского…

Возвращение в привычный шахматный мир состоялось…

Война, которая, казалось, будет длиться бесконечно, заканчивалась. Летом сорок четвертого в освобожденном Минске жители города радостно приветствовали народных мстителей, прошагавших в колоннах знаменитого партизанского парада. Правда, от того Парада в Минске до Парада Победы на Красной площади Москвы было еще далеко — по календарю почти год.



Гавриил Вересов, 1958 г.

После возвращения из Москвы, с чемпионата СССР, Гавриил Вересов получил назначение на работу ответственным референтом политотдела Министерства иностранных дел БССР, а четыре месяца спустя, точнее, 21 октября 1944 года, ему вручили мандат, в котором значилось:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

«Предъявитель сего тов. Вересов Гавриил Николаевич является представителем Совета Народных Комиссаров Белорусской Советской Социалистической Республики и Народного Комиссариата Иностранных дел при Польском Комитете Национального Освобождения по вопросам эвакуации и репатриации».

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров БССР,

Нарком иностранных дел БССР

/К. Киселев/».

XI

На самом «экваторе» XX века (это был год 1950-й) слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС Гавриил Вересов с головой окунулся в научные дебри, готовился к защите диссертации, писал монографию «СССР и борьба народно-демократической Польши за западные земли». Эту тему он выбрал не случайно, историю старался изучать не только по учебникам — факты черпал из жизни.

Его цепкая память еще хранила эпизоды последних месяцев и недель войны: по дорогам освобожденных от немецких оккупантов регионов Беларуси и Польши на встречных курсах — с Востока на Запад и с Запада на Восток на попутном транспорте, а чаще пешим ходом с котомками за плечами, двигались люди. Война заканчивалась, и им оставалось одно — жить, а значит, искать пропавших без вести родных и близких еще при отступлении с боями Красной Армии в сорок первом и при наступлении уже Советской Армии в сорок четвертом. В этом водовороте военного лихолетья смешались чужие среди своих и свои среди чужих: были люди военные, гражданские; освобожденные из плена или фашистских концлагерей, а еще эмигранты — им предстояло получить в Белорусской ССР права советского гражданина… Вот сколько бед и несчастий натворила война…

И весь этот жуткий клубок людских судеб предстояло распутывать ему, фронтовику, капитану запаса Гавриилу Вересову, назначенному полпредом Совнаркома БССР по делам репатриации и эмиграции при Польском правительстве. Приходилось выезжать то в Брест, то в Гродно, то в Белосток, то в Люблин, то в Варшаву… За 8 месяцев, с октября 44-го по май 45-го, при непосредственном участии ведомства, которое он представлял, десятки тысяч соотечественников смогли вернуться из Польши в родную Беларусь и примерно столько же поляков из западных областей — Брестской и Гродненской — выехали на постоянное место жительства в Польскую Народную Республику.

И вот теперь, пять лет спустя, аспиранту кафедры международных отношений Академии общественных наук Гавриилу Вересову из всего увиденного и пережитого предстояло отобрать главное и, осмыслив и обобщив документы, положить их в основу будущей монографии…



На загородной прогулке писатель Максим Лужанин (слева) и Гавриил Вересов. Снимок сделан в конце 50-х годов.

А что шахматы? Они отошли на второй план, правда, расставание с любимой игрой длилось недолго. По решению ФИДЕ (Международной шахматной федерации) в том же 50-м году элите советских и зарубежных шахматистов были присвоены звания международных мастеров. Вместе с известными игроками — Владимиром Алаторцевым, Александром Константинопольским, Василием Пановым, Михаилом Юдовичем (все СССР), Светозаром Глигоричем (Югославия), Людеком Пахманом (ЧССР), Вольфгангом Унцикером (ФРГ), Куртом Рихтером (ГДР), Даниэлем Яновским (Канада), Геста Штольцем (Швеция) звания международного мастера был удостоен и белорус Гавриил Вересов.

В январе 1952 года создается Белорусское общество культурных связей с заграницей (БЕЛОКС), и председателем Правления общества становится вернувшийся после учебы в Москве кандидат исторических наук Гавриил Николаевич Вересов.

Осваивая специфику работы на новом посту, подбирая кадры, он радовался, если кто-то из новобранцев помимо знания иностранных языков еще увлекался его любимыми шахматами. И вот дилемма: какой из двух богинь отдать теперь предпочтение — богине шахмат Каиссе или богине истории Клио? Как человек неординарный, во многом даже непредсказуемый, а главное, как истинный джентльмен, решение он принял тоже неожиданное: «Буду служить двум богиням — Каиссе и Клио!» Ну, с Каиссой все понятно: Вересов — международный мастер, избранный к тому времени председателем республиканской шахматной секции (на общественных началах), а чтобы не «ревновала» богиня Клио, Гавриил Николаевич стал преподавать новую историю в республиканской партийной школе (по совместительству).

Каждодневная занятость, поездки по долгу службы по городам и весям Беларуси и за ее рубежи не позволяли Гавриилу Вересову как следует готовиться к тому или иному турниру, и в условиях жесткой спортивной борьбы доводилось играть с «чистого листа», потому он так и не смог подняться на ту высоту, на которую заслуженно претендовал, хотя спортивные достижения впечатляли — пять (!) раз он становился чемпионом БССР.

XII

Словно Земля спутниками, Гавриил Вересов был окружен делами общественными: депутат Верховного Совета БССР четвертого созыва, член комиссии по иностранным делам, член комиссии по делам ЮНЕСКО, председатель республиканской шахматной секции, член президиума Всесоюзной шахматной секции — это все о нем.

Гавриил Николаевич был окружен и интересными людьми: дружил с артистами, писателями, спортсменами, само собой — с шахматистами, его гостеприимный дом наведывали чемпион мира Михаил Ботвинник и междуна-



Международный матч ГДР—БССР. За доской международные мастера Вольфганг Малих (слева) и Гавриил Вересов.

родный гроссмейстер с мировой известностью Сало Флор, поэт Аркадий Кулешов, драматург Андрей Макаенок, писатели Максим Лужанин и Иван Шамякин.

«Это здорово, когда вокруг тебя много фигур!» — признавался Гавриил Вересов. Он и сам был фигурой заметной: коренастый, этакий мужичок-боровичок, крупная голова, высокий лоб, поредевшая с годами некогда пышная шевелюра, веер морщинок в уголках хитроватых глаз да неразлучная спутница — папироса «Казбек».

При любых обстоятельствах Гавриил Николаевич вел себя так, чтобы каждый, кто оказывался рядом, чувствовал себя комфортно и удобно, хотя сам он был собеседником неудобным. Правда, это неудобство было слегка наигранным, на самом деле он всегда умел расположить к себе: вышестоящее начальство ценило Вересова за ответственное отношение к порученному участку работы, подчиненные — за то, что не был злопамятным, не копил обид, друзья — за то, что у него не было ни черной, ни белой зависти, а шахматисты — за то, что, как говорится, был «своим в доску».

Наблюдать за игрой Вересова из зрительного зала тоже было любопытно: после десятка ходов, известных по дебюту, он первым сворачивал на нехоженые тропы в черно-белом лабиринте, погружался в глубокое раздумье, и тогда казалось, что «старый партизан», как называли его коллеги, задремал, убаюканный размеренным тиканьем «механического идиота». Обычно Вересов отдавал предпочтение атаке, проводил ее изобретательно и остроумно, то и дело нанося сопернику фехтовальные уколы, с виду «тихие», но на поверку смертельные; выстраивать же круговую оборону не любил, а возможно, глухая защита просто не входила в его стратегические замыслы. Когда выигрывал — его глаза радостно светились, на лице блуждала улыбка. Если же случался грубый просчет, а уж тем более «зевок» пешки или фигуры — игра есть игра, от ошибок никто не застрахован! — седой маэстро обеими руками хватался за голову: «Это — катастрофа!..»

С доктором биологических наук, главным научным сотрудником Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Валерием Гавриловичем мы отыскали в семейном архиве любопытную фотографию, которая многое объясняет в манере игры его отца. Фотокамера немецкого журналиста Герхарда Шмидта остановила мгновение товарищеского матча ГДР—БССР: на сцене, за шахматным столиком, международный мастер Вольфганг Малих (у него черных фигуры) склонился, чтобы записать на бланке очередной ход (свой) и ответный (Вересова), а международный мастер Гавриил Вересов в этот момент указательным пальцем правой руки нажимает кнопку шахматных часов, а в левой держит дымящую после затяжки «казбечину»… Подпись к снимку, сделанная самим Гавриилом Николаевичем, тоже лаконична и красноречива: «Дым Отечества».

Беру на себя смелость утверждать, что за кадром фотоснимка Герхарда Шмидта и за рамками регламента самого матча команд ГДР и БССР осталось событие, достойное пера австрийского писателя Стефана Цвейга — автора «Шахматной новеллы». Я имею в виду незапланированный, почти сенсационный марш-бросок белорусской команды в Западный Берлин.

Вот что мне рассказывал гроссмейстер Виктор Купрейчик — один из участников марш-броска и к тому же человек, не склонный к домыслам и преувеличениям. Короче, было тогда вот что.

— Еще по пути в Берлин на очередной товарищеский матч с командой ГДР шахматисты старшего поколения — Болеславский, Суэтин и Зворыкина, что называется, подзавели Гавриила Николаевича: «Мол, где это видано — быть в Берлине гэдээровском и не заглянуть за «железный занавес» Берлина Западного? Проведите переговоры, вы же — дипломат, владеете немецким...» Вересов выслушивал реплики, подбирал «камешки», брошенные в его «огород», выкуривал папиросу за папиросой, а когда пачка «Казбека» опустела, произнес «фирменную фразу»: «Э-эпп-с-с, есть у меня идейка!..» Все знали: если Гавриил Николаевич принял некое решение, всегда шел напролом, невзирая ни на какие преграды.

Мы отыграли в Берлине половину матча, по регламенту полагался выходной день. И вот новость: Вересов не появляется в отеле, где все мы тогда жили. Руководитель нашей делегации, инструктор ЦК КПБ Павел Владимирович Пиляк запаниковал не на шутку: «Где Вересов?..» Появился «без вести пропавший» лишь к исходу дня. И произнес дипломатический спич: «Завтра с утра к отелю подадут автобус, и всей командой поедем в... Западный Берлин! Сыграем на десяти досках с шахматистами, живущими в Западном Берлине. Все договорено. Нас ждут в офисе концерна «Доймлер-Бенц», где выпускают автомобили «Мерседес». Наша задача не уронить честь белорусской, простите, советской шахматной школы... Не уроним?..»

Молчание было знаком согласия.

Ту незапланированную встречу мы выиграли со счетом 7:3! Но победила, естественно, дружба... Игра — игрой, но мы и себя показали, и своими глазами посмотрели на загадочный «капиталистический рай», сравнили, пусть бегло, «два мира и две системы», каждый оценил увиденное по-своему и... оставил свое мнение при себе.

Такое было время — год 1967-й.

И только после возвращения на родину Гавриил Николаевич раскрыл... «карты». Оказывается, он навестил тогда посла СССР в ГДР Петра Андреевича Абрасимова, а у него были с ним давние, дружеские отношения еще по работе в белорусском МИДе, и тот по своим дипломатическим каналам посодействовал устроить поездку на игру с немецкими шахматистами по ту сторону «железного занавеса». По свежим следам того негромкого события в газете «Правда» появилась информация о том, как команда белорусских шахматистов «прорубила окно» в Западный Берлин.

XIII

Много интересного поведал в разговоре со мной старейшина белорусских шахмат, международный мастер, литератор Абрам Яковлевич Ройзман:

— Шахматная культура — это, если хотите, и культура общения людей. И в этом смысле мне, да и многим шахматистам моего поколения и более молодым повезло: у нас был наставник, умеющий поддерживать, проявить такт, деликатность, я бы сказал, отеческое понимание в той или иной сложной ситуации. Этим наставником был Гавриил Николаевич Вересов. Если возникала необходимость решить назревшие, а порой и перезревшие проблемы касательно

шахмат, мы знали: двери его служебного кабинета всегда открыты — «Заходи!» Не исключались и походы к нему домой, напоминаю об этом, так как в пору студенчества я сам гостил у Гавриила Николаевича.

В пятидесятые годы должность председателя Правления БЕЛОКСа приравнивалась к министерской, и чиновник высокого ранга Гавриил Вересов ездил на служебном лимузине ЗИЛ (в простонародье такой автомобиль называли «членовозкой»), в зимнюю пору ходил в пальто с каракулевым воротником, ну, ни дать ни взять — советский барин. И в то же время этот человек, занятой важными государственными делами (а приходилось ему встречать и провожать официальные делегации из-за рубежа, корректировать поездки туристических групп, налаживать культурные связи с представителями городов-побратимов, выезжать за границу самому, заседать в президиумах партийных собраний) выкраивал из плотного графика часок-другой, чтобы прийти на встречу с любителями шахмат, прочитать лекцию в ВУЗе или ремесленном училище, а после по многочисленным просьбам давать сеансы одновременной игры. Изыскивал Гавриил Николаевич время и для участия в чемпионатах республики и товарищеских матчах команды БССР с шахматистами Украины, Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, ГДР. Забегая вперед, скажу: после включения шахмат в программу Спартакиад народов СССР фамилия Вересова постоянно была в заявочном списке сборной команды Беларуси. На третьей по счету Спартакиаде мы завоевали бронзовые медали, пропустив вперед лишь сильные команды РСФСР и Москвы, а в порядке досок значились вот эти десять фамилий: Болеславский, Вересов, Суэтин, Ройзман, Сайгин, Литвинов, Капенгут, Зворыкина, Арчакова, Головей…

В игровых видах спорта — футболе, хоккее, теннисе есть такое понятие — «играющий тренер». А вот в белорусских шахматах в роли «играющего тренера» выступал «играющий чиновник» Гавриил Вересов. Чиновник и он же — действующий шахматист. Случай уникальный, я, например, ничего подобного не припоминаю.

Это благодаря Гавриилу Вересову, возглавившему в начале пятидесятых годов республиканскую шахматную секцию, в жизнь поклонников древней игры ворвались свежие ветры перемен. В учебных заведениях, на предприятиях, в Домах пионеров создавали секции и кружки, где к шахматной культуре приобщались тысячи людей, на страницах газет и журналов появились шахматные отделы и рубрики. Не осталось в стороне от пропаганды шахматного искусства и Белорусское телевидение: итоги турниров разного уровня — международных, всесоюзных и местного значения — комментировали гроссмейстеры Болеславский и Суэтин, нередко и сам Вересов. Международный мастер Кира Зворыкина начала вести на телевидении цикл передач для школьников «О шахматах и шахматистах». И как результат — рос интерес к древней игре, росло число перворазрядников, кандидатов в мастера, а со временем мастеров и гроссмейстеров.

Все складывалось как нельзя лучше, да вот незадача: мы, шахматисты, попрежнему, как цыгане, кочевали по Минску в поисках крыши над головой. Поначалу собирались, чтобы поиграть в домике барачного типа у Ботанического сада, затем городские власти «отжалели» комнатку в цокольном этаже здания рядом с парком Горького, а на время чемпионатов республики нам предоставляли зал Дома офицеров. Наконец мечта стала явью: «наш неугомонный маэстро», как мы называли Гавриила Николаевича, после многочисленных визитов в «высокие кабинеты» отвоевал у минторга первый этаж здания, которое предназначалось под многопрофильный магазин. Так мы обрели просторное помещение по улице Змитрока Бядули, дом 6, где вывесили табличку: «Республиканский шахматно-шашечный клуб».

Итак, улица Змитрока Бядули, дом 6. В судьбах двух шахматистов этот клуб сродни «Вокзалу для двоих» в фильме Эльдара Рязанова. Уютный клуб в центре Минска и почти бесснежный январь 1978 года с особой теплотой не раз вспоми-

нал Гарик Каспаров, которому довелось дебютировать и сенсационно победить на Мемориале известного белорусского мастера и теоретика Алексея Сокольского. Еще бы: то было «боевое крещение» для ученика 8-го класса, приехавшего на взрослый турнир из Баку вместе с… мамой Кларой Шагеновной. Маститые участники Мемориала поначалу скептически посматривали на щуплого паренька, но стоило Гарику сесть за шахматный столик, и он превращался в рыцаря без страха и упрека. Обойдя на финише Мемориала гроссмейстера из Молдавии Анатолия Лутикова и пятнадцать мастеров, дебютант завоевал первый приз и выполнил мастерский норматив, что дало ему повод пошутить: «Как шахматный мастер я родом из Минска…» Семь лет спустя автор «минской сенсации» Гарик Каспаров станет автором еще одной сенсации уже на мировом уровне: он взойдет на шахматный Олимп.

И уже совсем невероятное совпадение: в ту зиму 78-го болеть за восьмиклассника Гарика приходил в минский клуб в сопровождении отца чернявый мальчуган с горящими глазами, ученик 3-го класса Боря Гельфанд — вот оно школярское братство! Пройдут годы, Боря подрастет, его зачислят слушателем знаменитой «Школы Михаила Ботвинника», в 1983-м выиграет очередной Мемориал Алексея Сокольского, как когда-то это сделал Гарик, станет чемпионом СССР и Европы среди юношей. Завоюет звание международного гроссмейстера, ворвется в элиту мировых шахмат и… уедет с семьей в Израиль…

В Москве, в мае 2012 года, воспитанник белорусской шахматной школы Борис Гельфанд и действующий чемпион планеты Виши Ананд (Индия) будут оспаривать право владеть мировой короной…

XIV

Гавриил Вересов слыл человеком азартным: в учебе, работе, настольном теннисе, шахматах, вполне возможно, что игру в карты он обожал ничуть не меньше, она была для него как бы приложением к шахматам, где переплетаются мастерство, везение, случай, риск, улыбка Фортуны.

Преферанс неожиданно объединил разных по профессиям, характеру и увлечениям людей: драматурга Андрея Макаенка, актера купаловского театра богемного Романа Филиппова, философа и журналиста Александра Ратайко, ну и, понятное дело, самого Гавриила Вересова, чья квартира по улице Захарова стала в шестидесятые годы культовым местом этих четырех картежников.

Сборы обычно были недолгими. Первым приходил Александр Ратайко. Как шахматист-любитель, он в амбициях замечен не был и, появившись в квартире Вересовых, заранее, не стесняясь, ставил условие: «Без форы я не играю…» Щедрый Гавриил Николаевич соглашался без раздумий, снимал с доски коня черной масти, а чаще — ладью и говорил: «Белые начинают. Твой ход, Саша. Выигрывай!..»

Легко сказать «выигрывай», если твой соперник международный мастер, тут хотя бы ничейку добыть, и то хлеб…

В будние дни, не занятый в спектакле Роман Филиппов ждать себя тоже не заставлял, появлялся в назначенное время и уже с порога голосом шулера Сатина из пьесы Горького «На дне» вещал: «Чур, сегодня я играю белым цветом!..» После быстрого перемирия в поединке с Александром Ратайко фигуры на доске снова были расставлены в начальной позиции и готовы к бою. За доской вечно неунывающий балагур Филиппов преображался, становился сосредоточенным, а играл в силу, если не кандидата в мастера, то крепкого перворазрядника — уж точно и в дуэли с ним «пойти на поддавки» не решался даже Вересов.

Пока актер размышлял над очередным ходом, Гавриил Николаевич выходил в прихожую, набирал номер телефона и произносил короткую фразу: «Альле-о-о… Ждем-с!..» Это был пароль. И Андрей Егорович Макаенок, живший этажом ниже, уже через пару минут появлялся у соседа:

— Я так и знал — они опять в шахмотья режутся!..

Проигравший и жаждущий реванша Филиппов настаивал:

— Продолжим?!. Потерпите, вот мы создадим с маэстро еще одну партию и тогда…

— Полноте, господа! Партия у нас одна! — иронизировал Андрей Егорович, подразумевая партию коммунистическую, действительно единственную на то время…

— Ладно, одна так одна, — соглашался Филиппов и нехотя вставал из-за шахматного столика…

Начиналось другое действо — преферанс…

Для разминки-разогрева принимали по рюмашке, правда, не часто, а лишь по какому-нибудь поводу, под сальце и хрустящую капусточку хлебосольной хозяйки Таисии Кузьминичны.

Когда очередь хода доходила до Гавриилы Николаевича, он, подобно экстрасенсу буравил глазами веер карт, для него, профессионального шахматиста, туз ассоциировался с королем, дама — с королевой, валет с офицером, и, группируясь, карточные персонажи в игре воображения являли собой некую, ведомую только ему замысловатую комбинацию…

Нетерпеливый и импульсивный Макаенок равнодушный к шахматам, зато обожавший игру в карты, не выдерживал и поторапливал:

— Очнись, Гаврила!... Ты корову проигрываешь, что ли?!.

— …а в прикуп еще и бычка! — вставлял свои «пять копеек» Филиппов.

Игра захватывала, и вся четверка вскоре погружалась в густые облака сигаретно-папиросного дыма…

— Ну что — еще пулечку?! — заводился Вересов.

Возражений не поступало и кто-то снова начинал тасовать карты…

Расходились по домам, бывало, за полночь, а единственного из этой четверки, равнодушного к табаку Александра Ратайко мать всякий раз встречала словами: «Опять, Саша, тебя обкуривали у Вересова…»

Карточные забавы полуночников со временем пошли на убыль. Роман Филиппов переехал в Москву, играл на сцене Малого театра, снимался в комедийных фильмах — «Чародеи», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука» и других. У Александра Ратайко, занятого научной работой в Институте философии Академии наук БССР, свободного времени тоже поубавилось.

Дружный, наигранный квартет распался.

Были у Вересова попытки «обкатать» дублирующий состав, но не сложилось. Андрей Макаенок по неделе просиживал на даче, писал пьесы, в городе бывал наездами и заглядывал на огонек к соседям все реже, в основном, чтобы апробировать диалоги и сцены из будущих пьес «Затюканный апостол» и «Трибунал» на первом слушателе Вересове, чье мнение, как строгого критика, всегда ценил. Гавриил Николаевич в свою очередь давал на рецензию соседу куски своих рукописей на шахматную тему, и маститый драматург, пробежав наметанным глазом страницу-другую, не скупился на похвалу:

— Я в серьезных шахматах ни бум-бум… Но ты пиши, старина. У тебя получится…

Подсказка Андрея Макаенка была ко времени и дорога, как ложка к обеду, напутствие мастера слова грело самолюбие, и Вересов понял: час пробил…

XV

Доцент Минского пединститута иностранных языков Г. Н. Вересов после присвоения ему звания «Заслуженный работник культуры Белорусской ССР» в семьдесят четвертом году станет персональным пенсионером. Отойдет от практической игры и все свободное время, а будет его предостаточно, посвятит анали-

тической работе, которая увлечет настолько, что постепенно вытеснит все другие интересы. Он ждал этой поры давно, еще с конца довоенных тридцатых годов, уже тогда молодой мастер каждый дебют (начальную стадию игры) обогащал новыми идеями, много работал, углубляясь и уточняя собственное, вересовское понимание законов позиционной борьбы в середине партии.

Не будучи шахматным аналитиком, не беру на себя смелость давать оценки Вересову-теоретику, а сошлюсь на авторитетное мнение гроссмейстеров и теоретиков Александра Котова и Михаила Юдовича, испытавших на себе нокаутирующие удары белорусского мастера. Вот как оценивали они инициативно-оптимистический вересовский стиль игры: *«Глубоко и своеобразно разыгрываю дебютную стадию борьбы, имея много своих исследований в сицилианской защите, ферзевом гамбите, защите Немцовича, Вересов очень сильно и точно ведет нападение в середине игры, умеет вовремя наметить и осуществить острую контратаку…»*

Чуткий ко всем новым веяниям, Гавриил Николаевич баловал и собственными новинками, а итогом его поисков и наработок стал дебют, который в скором времени назовут «Дебют Вересова»: 1. d4 d5 2. Кc3 Кf6 3. e4 с подготовкой хода Cg5 и т. д.

Следуя задумке, в своих исследованиях по дебютной теории, тактике и стратегии в середине игры (миттельшпиле) искатель истины Г. Н. Вересов на очередном витке возраста и опыта брал из «кладовой памяти» самый надежный материал — собственные партии, сыгранные на чемпионатах СССР, международных турнирах и товарищеских матчах с гроссмейстерами и мастерами Венгрии, Польши, ГДР (а таковых были сотни!), высказывал свою точку зрения на творческое наследие маэстро, стоявших у истоков шахматного искусства, а попутно и на древнюю, на стареющую с веками игру, как таковую, ставшую верной спутницей его жизни.

Скрупулезный анализ, с почти «рентгеновским просвечиванием» партий, сыгранных в разные годы выдающимися гроссмейстерами и мастерами, доставляли ему, искателю, творческое удовлетворение, он это не скрывал, как и не скрывал надежду, что и будущие читатели — шахматисты-профессионалы, и читатели-любители шахмат найдут в его комментариях и аналитике не только психологию борьбы, но и многие нюансы шахматных драм. А первой главе «О закономерностях “равных позиций”» в качестве эпиграфа он предпослал слова французского мыслителя и неслабого шахматиста XVIII века Жан-Жака Руссо: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине только один». И заходит из далека, написав: *«В отличии от времен Филидора, Стейница, Тарраша в наш век ослаб вкус к открытию общих закономерностей шахмат. Современная теория шахмат, безразмерно раздавшаяся вширь, представляет собой гигантский нарастающий поток частных истин (и, к сожалению, лжеистин). Гигантский материал давно пора бы обобщить… Предлагаемые анализы, таить не буду, доставили мне творческое удовлетворение. Надеюсь, что и читатели найдут в них поучительное и полезное…»*

Непростую работу аналитика Гавриил Вересов сравнивает с трудом старателя, просевающего в лотке песок в поисках крупиц драгоценного золота: *«Он не сеятель, а отсеиватель, его мышление чем-то сродни творчеству скульптора, о котором Огюст Роден сказал: «Я беру глыбу и отсекаю все лишнее». Классный шахматист, особенно современный, почти всегда профессионал или полупрофессионал. Он отсеивает с легкой душой: «Это опасно, это неясно, это сомнительно». Не столь важно, что может быть, как раз в отсеянной породе осталась золотинка истины…»*

Кому как не Гавриилу Вересову, международному мастеру, сыгравшему не одну партию с именитыми гроссмейстерами СССР, Европы, в том числе и с буду-

щими чемпионами мира Михаилом Ботвинником и Василием Смысловым, убедиться в правоте вывода еще одного француза — Мигеля Сервантеса, который вложил в уста своего героя Дон Кихота слова: «Жизнь — это шахматная партия». Кто бы спорил: на шахматном поле, как на поле боя, выстраиваются армии двух держав, и два полководца — два короля, бросают своих подданных в атаку, а в театре боевых действий не обходится без дипломатических уловок, тактических замыслов, набегов белых войск против черных и наоборот… Чем не жизнь?

Не без трепета взялся он за аналитику, это была не механическая работа, то был труд ученого, исследователя с божьей искрой в душе, он доподлинно знал то, о чем хотел поведать читателю.

Мосты между прошлым и будущим мира шахмат Вересов перебрасывает легко, играючи, развивая мысль о закономерностях памяти автоматической и логической: *«Цепкая память, как говорят, дар Божий, но дар и опасный, если вровень с ним не стоит творческая сила. Тогда память убивает в человеке индивидуальность, растворяет личность в потоке чужих истин. Идеалом гармоничного человека не может быть эрудит типа ходячей энциклопедии или запоминающего устройства электронной машины».*

И далее:

«Для доказательства приведу пример из своего опыта. Мне посчастливилось в дни молодости встретиться с Эм. Ласкером и участвовать в совместном анализе (27—28 февраля 1936 года Минск посетил второй в истории шахмат чемпион мира, доктор философии и математики Эммануил Ласкер, отметивший, что «минские шахматисты первой категории не уступают в силе игрокам первой категории Москвы». — ***И. К.***). *Рассматривалось, как помню, одно из типичных положений ферзевого начала, где черным удается разменять своего коня на слона, расположенного на поле е3, после чего у белых образуется пешечная группа — d4, е4… Мне тогда был известен вывод теории: «размен выгоден черным», и потому меня крайне удивила ласкеровская оценка — «неясно, проблемно». В моем сознании даже мелькнула неуважительная мысль о Ласкере: «Неужели он не знает выводов теории?» Лишь позднее, когда я сам стал взрослым, до меня дошло, что в ту давнюю пору встречались, с одной стороны, юный идолопоклонник печатного слова, принимающий каждое слово теории как истину в последней инстанции, и с другой стороны — зрелый мыслитель».*

«Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок…» — эта стихотворная строка к Гавриилу Николаевичу имеет отношение лишь по касательной. Дорог он прошел, проехал как раз очень много, ошибки тоже были, в основном на шахматном поприще. За доской максималист Вересов в поисках истины напрочь забывал о существовании шахматных часов, монотонно тикающих на столе, «заводил» себя в жуткий цейтнот, делал торопливые ходы «на висячем флажке», упуская, бывало, сначала победу, потом — ничью и… сдавал партию. «Ну разве можно так неразумно разбазаривать время!» — урезонивали его коллеги по команде, когда даже половинка очка в копилке ценилась на вес золота. Гавриил Вересов только разводил руками, оправдываясь строкой Пушкина: «Учусь овладевать вниманьем долгих дум…»

Ох уж эти ошибки — будь они неладны! «Ну кто, скажите мне, не ошибается?» — так и подмывало возразить своим оппонентам, но публичным спорщиком Гавриил Николаевич не был, предпочитал спорить с… самим собой. И когда пришло время выплеснуть спор об ошибках, допущенных в поисках все той же истины, на чистые листы бумаги, он стал предаваться увлекательнейшему занятию — «работе над ошибками» в партиях, которые сыграл сам или, скажем, такие авторитеты, как Роберт Фишер (США), Бент Ларсен (Дания), Марк Тайманов (СССР), Вольфганг Ульман (ГДР)…

В статьях Гавриила Вересова — шахматиста-практика и шахматиста-аналитика, ставшего комментатором, подкупали объективность, глубина и точность

анализа, причем без лукавства и лести, а еще и образный, слегка ироничный стиль письма. Вот образчики (в лучшем смысле этого слова) его ремарок и замечаний, взятые мною наугад.

После XIX Всемирной Олимпиады партия Б. Ларсен (Дания) — Л. Кавалек (Чехия) решением жюри конкурса «Шахматного информатора» была удостоена приза среди лучших партий полугодия (1970 г.). Гавриил Вересов пишет: *«...И вот в результате слабой игры Кавалека и сильной партнера возникает позиция... проигранная для Ларсена! А жюри верит на слово Ларсену... Ах, до чего же шаловлива Фемида!..»*

Или:

«Вторая партия матча Ларсен—Фишер... В связи с ходом — 23. Ле3 вывод о решающем перевесе белых получил все права гражданства. Но, как говорил Тарас Бульба: «Я тебя породил, я тебя и убью!»

И еще: *«Ответы у черных есть, а будущего нет...»*

Всякая плодотворная идея, «идейка», как любил повторять Гавриил Николаевич, как бы подстегивала еще одну, возникала цепная реакция, открывавшая простор для дальнейшего поиска истины.

Страница за страницей в главе «Когда ошибаются гроссмейстеры» Г. Н. Вересов развивает мысли о характере и природе ошибок в игре шахматистов экстра-класса, чтобы затем сделать вывод: *«Быть может, будет создана наука о природе ошибок вообще — важная отрасль человековедения. И тогда шахматы станут опытным полигоном для испытаний научных гипотез об истоках, природе ошибок, их общих и индивидуальных законополярностей. Она не будет предавать ошибки анафеме, но воздаст и причитающуюся им хвалу. Ведь ошибки бывают разные. В борьбе они нередко более верное средство к победе, чем праведные, но плоские, анемичные истины... Поэтому исследовать шахматы с общечеловеческих позиций и использовать их как окно в мир человеческого сознания — вот многообещающая область и метод исследования, пока мало используемый. Шахматы, стоящие на грани между конечным и бесконечным, — удобная модель для всестороннего исследования психологов и философов».*

Понимаю всю дерзость такого вересовского прогноза. И все-таки — принимаю его на веру. Согласитесь и вы: подсказки и выводы шахматного мастера и ученого-историка важны и ценны для педагогов средней и высшей школ, шахматных тренеров, работающих с молодежью. Если, конечно, ум ищет и находит пищу, а не только упаковку для этой самой пищи.

XVI

В один из вечеров на излете осени 79-го после записи телепрограммы «Гамбит» ее автор и ведущий Виктор Купрейчик (тогда еще международный мастер) и главный редактор редакции пропаганды Гостелерадио БССР Юрий Новиков (фанат шахмат, сам, кстати, игравший на уровне кандидата в мастера) замыслили проведать Гавриила Вересова, жившего в минутах двадцати ходьбы от телецентра на улице Коммунистической, 6.

Дверь открыла Таисия Кузьминична, супруга Гавриила Николаевича, сам же хозяин сидел за массивным шахматным столиком, на котором лежали пухлые папки с рукописями, рядом маячили острые пики отточенных цветных карандашей, ну и само собой — расставленные невпопад фигурки, горка окурков в пепельнице, пачка «Казбека» и коробок спичек.

Услышав в прихожей знакомые голоса, Гавриил Николаевич погасил папиросу и, обрадованный, вышел встречать гостей.

После привычного рукопожатия и обмена свежими новостями Гавриил Николаевич поинтересовался у Виктора Купрейчика:

— Скоро в Минске Чемпионат Союза. Понятно, ты будешь играть... А кто еще?

— Приедут Таль, Геллер, Балашов, Цешковский, — начал перечислять знакомые фамилии Виктор и добавил: — Будут молодые и амбициозные — Каспаров, Юсупов, Долматов…

Гавриил Николаевич оживился:

— О, целое созвездие… Жаль, я вышел в тираж… Ну, ничего — буду болеть! Кстати… — и без перехода, в своей манере, перевел разговор в иное русло: — Я недавно Белокаменную наведал. Так вот: мой давний друг еще со времен студенчества — Константинов (Федор Трофимович Константинов до войны редактировал белорусскую комсомольскую газету «Знамя юности», профессор, доктор философии, заслуженный деятель науки РСФСР, в 70—80-е годы возглавлял Шахматную федерацию Москвы. — ***И. К.***) подсобил пройти еще одно обследование в Кремлевке…

— И что доктора? — заподозрив недоброе, спросил Юрий Новиков.

— Ну, в общем… Это уже не первое обследование, прошел я и курс лучевой терапии... Поначалу состояние было более-менее, потом — менее-более… Вердикт докторов такой: «Операция. Но ее исход неясен…» Я подумал и ответил: «От операции отказываюсь. Как Бог даст — так и будет…»

Повисла тягостная тишина. В одно мгновение и Новиков, и Купрейчик испытали леденящий душу шок: надо же — человек смертельно болен, знает, что дни его сочтены, а сей прискорбный факт преподносит буднично, спокойно, словно речь идет не о болезни, а об осеннем дожде за окном…

Первым нарушил молчание сам Вересов:

— Не будем о грустном, други мои… Все рано или поздно заканчивается… Давайте-ка лучше поблицуем, на высадку…

Сказал так и начал расставлять фигуры на доске…

Тот вечерний шахматный блиц закончился во втором часу ночи.

Через три недели Гавриила Николаевича не стало…

P. S. Минуло тридцать три лета, как писали в старинных романах.

Летом этого года Г. Н. Вересову исполнилось бы 100 лет…

К 100-летию маэстро шахмат его ученики подготовили, а издательство «Белпринт» дало путевку в жизнь книге «Самобытность Гариила Вересова».

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 11 при Мингорисполкоме уже на протяжении десяти лет проводятся Мемориалы Вересова. Будет и очередной, одиннадцатый.

Этим летом в Минске пройдет международный турнир памяти пятикратного чемпиона Беларуси, видного теоретика и пропагандиста шахматного искусства Гавриила Николаевича.

Дебют же Вересова — помните? — 1. d4 Kf6 2. Kc3 d5 3. Cg5 Kd7 4. Kf3 и так далее, где белые предпочитают фигурную игру в центре и на королевском фланге, взят на вооружение и пользуется популярностью в творческом репертуаре маститых и молодых да ранних гроссмейстеров и мастеров. Свое видение дебюта Г. Н. Вересова есть и у 12-го в истории шахмат чемпиона мира Анатолия Карпова: «В чем прелесть системы Вересова? Что делает ее привлекательной не только для шахматных историков, но и для практиков, причем даже гроссмейстерского уровня? Ответ уместится в одном слове — **самобытность**».

Стало быть, дебютная система, носящая имя патриарха белорусских шахмат, будет жить еще многие лета.

«Неба колокол бьет надо мной...»

Последний по времени выхода сборник поэзии Т. И. Красновой-Гусаченко «У света тени нет» (2011) достаточно объемен, составляет по существу трехтомник под одной обложкой и включает несколько сотен стихов. Масштабность и структура книги не помешали ей стать цельной, со своим внутренним лирическим сюжетом и сквозными темами, а поскольку она создана поэтом с большой и сложной судьбой, поэтом, которому есть чем поделиться с людьми, оставаясь верной классическим традициям, то отсюда и объем, отсюда и традиционное аристотелевское деление на три части.

В первой из них «Поставьте памятник деревне» центральный композиционный стержень — календарный, одновременно и возрастной: его героиня — девочка из обычной русской деревни, ее духовное становление, условия формирования как поэта — с рождения и самого раннего детства. «Я в храме выросла березово-ржаном, // Я родилась под куполом апреля…» Родилась днем вешним, радостным, в разгар, как говорил Михаил Пришвин, «весны света». Свет — и в смысле творческого горения, и в смысле высоты духовности, ясности миропонимания, и в смысле сакральности — пронизывает стихи поэтессы, давая название всему сборнику.

Как побеждает свет — тьму, народившееся и растущее солнце — мрак и холод, начиная от дня зимнего солнцестояния, так и автор начинает свой поэтический венок с исключительно важной для людей точки отсчета — первого дня года, и, следуя далее по календарю, предваряет каждое стихотворение цикла маленьким прозаическим предисловием-пояснением. Например, к «1 января»: «Жизнь в деревне с самого раннего детства являла нам народные приметы, пословицы, поговорки. Они сопровождали все праздники. Особенно много их было зимой. В первый день Нового года говорили…» А далее идут собственно стихотворные строки — зарифмованные в катренах жизненные установки, отлитые в конкретные, прямые и ясные слова народной мудрости: «Первый весь январский день // Веселись, и не ленись, // Будет год потом счастливым, // Утром встань и улыбнись!»

Далее идет «Рождество», «Колядное», «Морозные коляды» («коляды» — по-белорусски, а по-русски — «святки»), «Старый Новый год». В последнем из упомянутых автор пишет: «Люб нам Старый Новый год — // Перелом и поворот // На весну…» И тут же, с какой-то даже гордостью за свое, родное, уникальное: «Праздник только наш! Мы рады: // Продолжаются Коляды!»

Кажется, непритязательно, просто, но ведь весь цикл сознательно выдержан в духе фольклорном: по лексике, ритмике, рифме. Перед нами искусная стилизация. Эти стихи хорошо учить вместе с детьми. Собственно, и учить их не нужно: они легко, как бы сами собой, укладываются в памяти и могут послужить прекрасной альтернативой пошлым телевизионно-рекламным слоганам, замусоривающим речь детей и подростков. Поэтесса не скрывает эту мнемоническую цель. Например, к стихотворению «Февраль зиму завершает» она дает свое маленькое авторское разъяснение: «Народные пословицы февраля уложены

в стихи, чтоб было легче запоминать». А далее следуют стихотворные приметы, например: «В феврале как кликнется, // Так осенью откликнется».

Календарные даты, годовые праздники — нить, на которую нанизывается жемчуг народного мудрословия: тут в лаконичных, но живописных, строфах заключены и научно-этнографическая информация, и мораль, и образ жизни. Так, перед стихотворением «Масленица» автор пишет: «Каждый день Масленицы имел значение, праздновался по-своему. Я хорошо помню, как это было, потому что мы, детвора, принимали во всех игрищах активное участие». Любовно воссоздавая народные обычаи, приметы, пословицы, имена языческих божеств (Ярило, Весновей, Моряна) в чеканных, запоминающихся строках, поэтесса помогает читателю извлекать из небытия, возрождать родовую память — юнговское коллективное бессознательное, говорит с читателем на нашем исконном — природно-мифологическом — языке. И сюда же вплетает собственные — яркие, небанальные, незатертые — метафоры и эпитеты: «Много снега — много хлеба! // На Руси — богатый снег!»; «Всюду море красок, света, // Май ведет за ручку лето».

Пейзажных стихотворений множество во всей книге, но это, так сказать, поэзия рафинированная, а в календарном цикле царит народный дух и язык, причем все то характерное из разнородных явлений, что в наибольшей степени объединяет белорусский и русский народы. Именно от общей — белорусско-русской народной стихии — легкость и напевность ритма, точность мысли, рельефная очерченность рисунка и при этом акварельная нежность общего фона.

Откуда же у русской поэтессы знание белорусского фольклора, да и профессиональной поэзии (встречаются в текстах стихов аллюзии из произведений белорусских классиков)?

Тамара Ивановна Краснова-Гусаченко считает Беларусь своей второй родиной. Трудно найти в современной литературе славян писателя, который бы так органично связывал две братские культуры. В аннотации к книге «У света тени нет» о Тамаре Ивановне читаем: «Член Союзов писателей Беларуси, России и Союзного государства, автор пятнадцати книг. Лауреат Международной литературной премии им. Симеона Полоцкого, Всероссийской литературной премии им. Ф. Тютчева, обладатель почетного знака «Золотое перо “Тютчевъ”», литературной премии им. В. Короткевича, неоднократный победитель международных и республиканских литературных конкурсов представляет новые и уже известные читателям произведения, в разные годы публиковавшиеся в «Литературной газете», журналах «Наш современник», «Нева», «Лад», «Нёман», «Белая вежа», «Всерусский соборъ», «Южная звезда», «Московский Парнас», «Братина», «Пересвет», «Полымя», «Немига литературная», антологиях «Современное русское зарубежье», «Современная русская поэзия Беларуси», альманахах «Двина», «Брянск литературный», «Созвучье слов живых», «Междуречье», сборнике «Исповедь» издательства «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки» серии «Школьная библиотека. Русскоязычная поэзия Беларуси, конец XX — начало XXI века» и др.».

Уроженка Брянской области, Тамара Ивановна уже давно живет в Беларуси, в Витебске, возглавляет областное отделение Союза писателей Беларуси. Возглавляет отнюдь не формально. Все силы души отдает она пропаганде поэтического слова. Люди, общавшиеся с ней, знают ее преданность делу, отзывчивость, знают, как охотно, с подлинным энтузиазмом, не жалея собственного времени и здоровья, передает она и опыт мастерства, и опыт человеческой доброты. Сама она пишет, имея в виду также родню из Украины: «Три родины во мне живут, // Да как же им не жить? // Моя любовь и там, и тут, // Ее не разделить». Но, кроме того, автор приведенных строк очень хорошо осознает, где ее корни *как поэта*, где вообще корни *поэзии* и по большому счету — *родины*. Они — в *деревне*. В программном для первой части книги стихотворении «Поставьте памятник деревне…» (строка поэта Николая Мельникова) есть слова: «Там — мир

врывался радостью в окно». Там — в родной деревне Щепятино, от которой ныне не осталось ничего… Но цепкая память поэта, соединенная с любовью, сохранила ощущение именно радости, полнокровности жизни — возможно, это ощущение и дает силы жить, сопротивляться трудностям и преодолевать невзгоды. Ведь так и белорусско-русская деревня в своей истории:

Не гневалась она и не роптала,
В отчаянье не падала, стояла.
Не просто встать старалась, а идти,
И с честью долю крестную нести —
Покорно, приняв все и всех прощая,
И ни упрека, даже умирая.

Для поэтессы «Русская деревня —// Чудо из чудес».

Краснова-Гусаченко удивительно пластично, картинно, ярко, но и лаконично, часто одним ритмом и образом, умеет передать бытие деревни — так, что у всех читателей, кто вырос на лоне природы, мгновенно, из самых заповедных уголков памяти, пробуждаются видения собственного детства:

Река,
мелея, млела под мостом.
Тугое месиво — подход
к воде…
Навоз,
следы копыт…
И к водопою в полдень скот
идет,
ревет,
пыхтит,
сопит.
Ноздрями фыркает…
И пьет…
А солнце все встает, встает…
Как голубой
гигантский зонт
накрыл деревню
небосвод.

(«В деревне»)

Картины, воссозданные дочерней памятью, — чистая ностальгия. Такой полнокровной, наполненной движением, звуками, красками, запахами, жизни в русской деревне, пожалуй, уж и нет. «Деревня на пригорке умерла… // Деревня защищалась, как могла: // Она звала, цвела, дарила хлебом, // И — нет ее теперь под этим небом…»

Потеря родного пространства невозвратима, как потеря лучшего в жизни времени — детства: «Я поеду, поеду домой этим летом, // Поеду, мне б только дорогу найти, // Только стежки засыпаны снегом и светом, // И в детство мое мне никак не войти». Однако чем дальше *во времени* идешь по дороге жизни, тем яснее осознание, что «…не нашла ничего до сих пор // Я — драгоценнее детства». Но и *пространственно*: оттуда, из деревни, «я, судьба, и все мое…»

В общей глубокой тоске поэтов, выходцев из села, по ушедшей деревенской цивилизации — именно полноценной цивилизации — голос Тамары Красновой-Гусаченко звучит по-особому лирично-пронзительно, потому что нет в ее стихах громкого пафоса, у иных нередко заглушающего мысль, а есть щемящая грусть и ощущение присутствия Высшей Силы, которая только и дарует надежду:

Не все еще села
Разрушены до пепелища.
Их что-то же держит,
И в зареве зорном плывет
Какое-то чудо…

В поисках ускользающего чуда поэтесса продолжает возвращаться к милым пределам. В предисловии ко второй книге сборника — «Там» — составитель книги пишет: «“Там” — это ностальгия по прошлому и призыв любить жизнь во всех ее проявлениях, несмотря на трагизм и неизбежность потерь». Отбирая стихи, соединяя их в книгу, автор стремилась вычленить лирический сюжет, положить его в основу всего сборника, сделать той линией, на которой задержится внимание искушенного читателя. В открывающем второй раздел стихотворении «Сильнее» есть многозначительная строка: «Сильнее смерти перед жизнью долг». Истинно по-христиански и очень по-женски… Много пережившая, потерявшая родителей и старшего сына, погибшего в автокатастрофе, Тамара Ивановна не может избыть тоску по ушедшим. Глубина переживаний, нежность дочерней и материнской души удивительно сочетается в поэзии Тамары Красновой-Гусаченко с философским мироощуще-

нием: «Там мамы живы все, смертям назло // Отцы вернулись! Кто не верит в это?! // И все предельно ясно: зло там — зло, // Добро — добро, а зависти там нету» («Там»).

О зависти — не случайно. Как человек тонкий и ранимый, Тамара Ивановна испытала на себе это воистину разрушительное чувство со стороны коллег по перу. Но она готова простить всем, поскольку совершенно другое волнует ее — ускользающее бытие:

Вот даже не заметила, как стала
И матерью, и бабушкой, легка —
Во снах своих еще вчера летала,
Да и летаю, только — жжет тоска…
Предчувствие беды меня тревожит,
Все тихо и спокойно, а — тоска,
Огнем горит, горит и сердце гложет,
Неведома, черна и глубока.

Вообще, как у каждого большого поэта, у Т. Красновой-Гусаченко даже простые и на первый взгляд незамысловатые строки таят «многоярусность» — уводящие и в философию, и в религию, и в литературные традиции разнообразные смыслы.

Поэтесса заслуженно удостоена почетного знака «Золотое перо “Тютчевъ”» — она унаследовала трагическую напряженность тютчевской лирики.

Существует в ее творчестве мир тревоги, тоски, мятежных дум и ощущение неотвратимости смерти. Но над всем этим, выше, стоит то, что должно быть истинным содержанием жизни любого человека: понимание закономерностей бытия, потребность в мирной жизни, счастье, простых бытовых радостях. Она находит в себе силы сопротивляться тоске, потому что не верит в богооставленность безгрешных душ («*У Бога живы все*, я знаю»), уверена, что Высшие Силы все время подают знаки, а задача человека, прежде всего поэта, — уловить их, найти скрытую сущность явлений, воплотить эту жгучую тайну в слове.

Высшие Силы автор называет Светом. Значение этого слова в творчестве поэтессы, как уже говорилось, самое разное, в том числе — высвечивание памяти: «*Свете мой белый*! И нет — забвенью! // Рано, ох, рано себя хоронить. // Еду и еду сквозь сны в деревню — // В детство вернуться и молодость пить!» В завершающих книгу прозаических новеллах (скорее, притчах) Тамара Ивановна пишет: «И все вокруг наполнено светом, причем не светом — в смысле освещения, а Светом — пронизывающим, наполняющим блаженством все мое существо, исцеляющим, благостным».

Стихотворения книги — одно за другим — дают картину мечущейся в экзистенциальных противоречиях умной и душевной женщины, которая то впадает в тоску, не в силах забыть любимых и простить себе, что не уберегла, то вновь и вновь оживает, радуясь многоцветью жизни, и воспаряет в жажде узнать высшее, большее, чем сам человек («…как дорасти до того совершенства, // До явленного нам природой блаженства?»). Светом называл себя Христос. Название книги, а также третьего ее раздела, — удивительно точное и поразительно глубокое. В чем-то полемичное. Ведь нас приучили, что зло нужно в мире, чтобы высветить добро, что одно не существует без другого. Поэтесса утверждает, что есть Добро абсолютное, и совсем не нужно зла, чтобы Его увидеть и понять, как не нужна тень, тьма, чтобы наслаждаться светом. Нравственные традиции русской и белорусской классики, включающие в себя четкое разграничение добра и зла, света и тьмы, вдохновляют поэтессу в отстаивании своих идеалов. Она ведет читателя к Высшему Смыслу через смысл поэтический. Вот почему в стихах Тамары Ивановны черного фона не бывает, но очень много света, огня, сияния — по существу ни одна картина, ни одно чувство, ни одна мысль не обходится без соответствующей лексики. Особенно ликующ свет солнца: «Солнце вставало над милой землей, // С первым лучом посылало нам счастье // Жизни, горящей янтарной зарей». Однако светится, сияет не только солнце: «Земля летела через май, // И все — сияло»; «…встречный прохожий так смотрит светло». В представлении автора сияет всегда любовь, нежность, лучшие человеческие чувства: «Дух молчаливый природы, // Тайные думы

твои, // Смотрятся в тихие воды // Ясного света любви»; «Дома ты окутан // Такою негой, светлой и простой»; «Невозможно — // Все видеть и не передать // Из ароматов, звука, света — // Без дна и края благодать…»: «Вот за околицу выйду — пойду, // Свет понесу по всей жизни»; «Я под небом костры разложила // Из своей бесконечной любви». Поэтесса в душе надеется, что энергия ее любви — любви в широком смысле слова — к близким людям, природе, творчеству — не может пропасть втуне: «Ночь озари лучом заветным, // Наполни Белый Свет собой, // И дай любви такой ответной, // Как в сердце у меня любовь».

Одна из важных тем сборника — тема материнской любви. Она раскрывается многопланово: и через воспоминания о родной маме, и в своей собственной материнской любви, особенно к погибшему сыну. В «Маленькой поэме», перечисляя все, что узнала в своей жизни, и горькое, и радостное, во многом разочаровавшись, поэтесса делает окончательный и точный вывод: «Узнала, что лишь матери // На свете настоящие // и вечно бескорыстные // источники любви».

Неоднократно на страницах книги возникает — в самых разных ситуациях и обликах — образ мамы:

Моя мама идет
по дороге из ясного света,
Над садами вишневыми,
пеной кипящими сплошь,
Моя мама восходит
по этому белому свету
Далеко, высоко!
И — зови, не зови — не вернешь.

Чем ближе собственный возраст к возрасту ушедшей матери, тем глубже понимание ее и осознание своего непонимания тогда, когда родная нуждалась в этом при жизни. Потому в «Страстях по маме» «Прощения просить пришла пора, // И вот копаюсь в каждом бывшем дне». Во многих произведениях продолжается, так и не оконченный на земле, потому что он не может быть окончен никогда, разговор с умершей матерью: «Что-то сердце все чаще болит и болит, // Соучастия, отдыха просит… // Тихо мама со мною с небес говорит // Сквозь горящую золотом осень…» Тоскующее сердце жаждет поделиться всем, что волнует, с самым близким человеком. Но «моя мама молчит». Невозможность диалога с ушедшими близкими наиболее трагично воспринимается поэтессой, как и каждым человеком. Правда, остаются сны. Близкие люди очень часто возникают в снах («Откуда та радость берется // После каждого сна, // где мы — за руку, с мамой вдвоем?»). Сны даруются людям, глубоко и тонко чувствующим, — явно как награда, потому что сон, особенно тот, где видишь родных, мобилизует наши духовные силы. Несомненно, что у поэта сознание, переходя в новое качество, как бы обостряет все ранее пережитое и переводит его на уровень вдохновения. Когда-нибудь биофизики будут изучать сны поэтов, познавая в них ту информацию, которую не выдаст ни один прибор («Во сне // предстала перед Богом»). Во сне возможно и предстать перед Богом, и вернуться в милое детство:

Замело вишневым цветом
Стежечки-пути.
Засыпает снегом лето,
В детство не войти…
Будет в сердце снова литься
Материнский свет,
Но я знаю — это снится,
А дороги — нет…

Поэзия Красновой-Гусаченко исповедальна и потому глубоко искренна. Она привлекает доверительностью интонации, чего очень часто не хватает нынешним модным рассудочным поэтам, играющими словами, как жонглер мячиками (вот именно на уровне технологии). Стремление к возвышенному душевному строю, внимание ко всем потаенным движениям сердца — вот главное, что определяет творчество поэтессы.

В предисловии к третьей части книги составитель сборника отмечает: «Постоянно углубляющийся самоанализ, от частного — к общему, от собственного жизненного опыта — через познание опыта поколений, делает поэзию финала все более плотной, подводит к новым и новым откровениям». Не случайно третий раздел открывает стихотворение «Останься тих…», посвященное пониманию автором книги Нагорной проповеди. Совершенно ясно,

что объяснение всегда бывших камнем преткновения толкователей слов о «нищих духом» — это одновременно жизненное кредо самой поэтессы: «Нищие духом, — говорится в сноске к стихотворению, — полагающиеся не на свои только силы, а верующие в помощь Бога». Отсюда — и оптимизм искренней веры: «Смерть — не забвенье, душам // Вечный обещан свет» («Духов день»).

В третьей части автор вновь возвращается к календарному циклу («Май», «Духов день», «Солнцеворот», «Венок седмиц», «Радуница»), но на более высоком — не фольклорном, а философском — уровне, славя вечный круговорот жизни в ее драматизме, но и в изумительной красоте. Многие стихотворения выявляют некие вневременные ценности, отталкиваясь от реальности, прежде всего реальности душевного мира поэтессы. Все, что просит человек у Бога, таит в себе внутреннее противоречие, ибо сам человек противоречив. И автор приходит к единственно правильному выводу: «Господи! // Пошли мне разум, Боже, // Чтобы все, что дал, // перенести…» («Молитва»).

Вообще противоречия жизни предстают в разных вариациях, в разных поворотах: мы встречаем мысли, уже как будто знакомые по более ранним произведениям поэтессы, но в ином ракурсе, по-новому ощущая, постигая те грани, которые раньше не замечали. Вот о постоянно волнующей проблеме связи поколений и вечных загадках бытия: «Как пережить, как перебыть? // Спроси у тех, кого отпели. // Они все знали, может быть? // А может, тоже, не сумели…»

Не раз возникает и тема уныния, неподчинения ему:

Не унывай:
В унынии нет смысла,
А гнева боль,
Бурлящую в крови,
Уйми. И радуйся.
Твори и мысли.
И созидай добро,
И вновь живи!

В стихах Тамары Красновой-Гусаченко нет искусственной усложненности формы, неясности выражения мысли. А минорный тон некоторых лирических сюжетов создан трезвым пониманием действительности и природы человека. Так, вовсе не случайна в стихах третьей части тема пошлости современной жизни. При этом поэт не скрывает, насколько тяжело воспринимает страшные, без преувеличения, современные реалии: «…Пошлый бред // Звенит и день, и ночь у нас в эфире…» Ведь уход в детство, в деревню, в воспоминания, даже в сны — не случаен, это единственная возможность защиты души, защиты ее от всепроникающей массмедийной обывательщины победившего общества потребления. Утрачено государство, в котором родилась, и что осталось? «Все отнято — вера, мечта, // Где наша страна золотая? // Решили за нас, что не та, // И кто так решил, мы не знаем».

Не случайны и рассуждения о нынешней роли поэта и поэзии в обществе: «Кому нужны в наш век — стихи, слова…» Безусловно, тема традиционна, но в наше время она приобрела воистину трагические черты. Поэт высказывает то, «что на сердце лежит», он отвечает не только за себя, но и за связь миров, неба и земли. Но это никому не интересно. Современный человек утратил внимание к другому человеку, даже к самому себе, а тем более к вечным проблемам. И потому любые излияния, психологический анализ, поиск истины воспринимаются новыми поколениями с трудом. Не случайно одно из стихотворений начинается словами: «Поэты пишут для поэтов». Поэты всегда клялись, что пишут для народа. Нынче народ (даже слово «народ» редко упоминается, скорее, «публика») все меньше поэта понимает. Да и в среде самих поэтов… Тамара Ивановна рисует довольно неприглядную картину нравов. Она изнемогает от зависти коллег, равнодушия общества к искусству и порой отчаивается от невозможности поэзии изменить мир. Но момент уныния проходит: «Света, света! // Я жажду света нажила». А свет неизбежно побеждает тьму. Она убеждает: «Я знаю, нет вернее средства, // Когда тоска подступит к сердцу — // Прочесть, как с ней другие жили, // Как из нее стихи сложили…»

Автор называет поэзию: «то — злая мачеха, то — мать», однако ясно, что жить без поэзии она не может, считает, что ей «дарован праздник этот», и ему она не изменит никогда («я не сбегу с корабля»). У нее немало строк, полных страстного публицистического накала, в том числе и относительно судьбы поэзии. Но все же стиль Красновой-Гусаченко в целом иной, его отличает особая поэтическая пристальность, которая распространяется на все окружающее, на мир — в его радостях и горестях. Отсюда — афористичность, художественная новизна, скульптурность многих поэтических строк:

«Я — червь. Но ведь Отец мой — Бог!»;
«Неба колокол бьет надо мной…»;
«… вывернули время, как рубашку»;
«Разрезы в памяти моей, // Как пропасти, где мир так тесен»;
«Любить куда труднее, чем влюбиться»;
«Секрет Победы прост: // Перед огнем вставали в рост»;
«Высшая поэзия — молитва»;
«Жизнь течет по Божьим планам, // И не нам о них судить»;
«Внутри тебя // Все царства, // Всей любви и красоты…»;
«Всё дома — дар и дань, // Всё — сень и благодать!»;
«Даже самая широкая дорога // Начинается от Отчего порога…»;
«…когда смотреть // Больше некуда — // Смотрите на небо!»;
«… закон суровый, // Такой простой: жива? Держись».

Многие стихи хочется цитировать бесконечно, настолько они метрически красивы и точны в передаче ощущения драматизма и чуда бытия, каждой конкретной ситуации:

Вся наша жизнь, как на одном дыханьи:
На вдохе — детство, юность и любовь.
На выдохе — болезни и страданья.
Но — в наших детях
Повторимся вновь.

Трогательна забота поэтессы, прекрасного знатока русского языка, о судьбе языка белорусского — мовы, которая «была беззащитна, // Не для битв рождена, а для светлой молитвы! // Мягкий звук для того, чтобы нежно *назваці* // Мог ребенок родимых *і тату, і маці». Памяркоўных* белорусов, особенно тех, кто не хранит, не бережет свой родной язык, Тамара Ивановна призывает: «Материнский язык пусть для всех будет свят, // Мой и твой, на котором учила нас мать // Говорить... А — важнее всего — понимать».

Стих Т. Красновой-Гусаченко ритмически чрезвычайно разнообразен, а в стилевом плане — графичен; встречаются у нее и белые стихи. Помещенные в конце сборника притчи — свидетельство незаурядного таланта прозаика.

Книга «У света тени нет» лирическая, раздумчивая, душевная, с явным мемуарным уклоном, когда жизнь служит основой и поводом для серьезных обобщений и афористических выводов. Но главное — истина, постигнутая на жизненной дороге. Она в том, что гармония в земном мире, как и Небесная благодать, достигаются душевным усилием, неустанным трудом и твердой верой.

В своем творчестве Тамара Краснова-Гусаченко сумела прикоснуться к таким глубинам души, где таятся и воспоминания, и предчувствия Небесной Гармонии. И в этом — исключительная ценность ее поэзии.

Татьяна ШАМЯКИНА



Исследование, которого ждали давно

Книгу известного литературоведа Николая Микулича (Мікуліч, М. У. Паэзія Заходняй Беларусі (1921—1939) / М. У. Мікуліч. — Мінск: Бел. навука, 2010. — 462 с.) можно назвать этапной в исследовании поэзии Западной Беларуси 1921—1939 годов. Первооткрывателем этого своеобразного литературного материка был В. Колесник. Это он разрушил догматические схемы и упрощения социологических трактовок развития западнобелорусской поэзии. Он представил читателям таких ярких и неординарных поэтов, как М. Василек, А. Сологуб, М. Засим, В. Жилка, литературное наследие Грамады — А. Милютя, Ф. Коровацкого, Н. Жальбы. Однако при всей уникальности своего таланта, великий ученый был все же несколько ограничен своим историческим временем и той идеологией, в рамках которой ему пришлось заниматься научной работой.

Можно вспомнить и более поздние попытки обзора западнобелорусской поэзии, но они носят скорее локальный характер (Р. Березкин, а также И. Богданович, А. Воробей, Л. Савик, Я. Чиквин и др.). Кроме того, исследования советского периода касались в первую очередь ее радикально-революционного или прокоммунистического сегмента, когда выявлялась культурно-общественная деятельность и художественные искания прежде всего М. Танка, П. Пестрака, В. Тавлая, реже — М. Василька, М. Засима и др. Совсем мало внимания уделялось демократическим, общегуманистическим течениям и тем более «чисто» эстетическим, творчеству клириков-католиков, которые тем не менее оставили заметный след в развитии поэзии этого края.

Н. Микулич представляет нам западнобелорусскую поэзию 20—30-х годов прошлого столетия как явление сложное и противоречивое. И это правильно. По сравнению с литературой Советской Беларуси, это был совершенно иной художественный мир. Мир, который жил по своим идейно-эстетическим законам — в соответствии с общественно-политическими и историческими реалиями Западной Беларуси того времени. Это был, утверждает Н. Микулич, «*вельмі складаны перыяд грамадска-гістарычнага развіцця, багаты на значныя сацыяльна-палітычныя падзеі і факты, яркія, каларытныя і ў той жа час драматычныя і трагічныя асобы і лёсы, цікавыя і арыгінальныя ідэйна-мастацкія пошукі і адкрыцці*»[1]. Сложности и противоречия общественно-политической жизни породили различные формы народно-освободительного движения, в котором огромное значение придавалось печатному слову, слову писателя, поэтическому слову. Творчество писателя, в первую очередь стихотворные произведения, воспринималось как неотъемлемая общественная деятельность автора. Поэзия как вид искусства развивалась в контексте общественно-политической жизни и была тесно связана с задачами партийно-идеологической борьбы и идейного противостояния.

Автор дает глубокий срез общественной жизни края, выявляя ее характерные особенности, а вместе с тем и

[1] Мікуліч, М. У. Паэзія Заходняй Беларусі (1921—1939) / М. У. Мікуліч. — Мінск: Бел. навука, 2010. – С. 3. (Далее ссылки на это издание даются в тексте.)

ее роль в развитии эстетической мысли Западной Беларуси. Он глубоко и доказательно формулирует положение о том, что западнобелорусская поэзия «*па-першае, была адным з асноўных сродкаў раскрыцця грамадскай свядомасці «забранага краю», а па-другое, яе развіццё ажыццяўлялася ў шырокім спектры грамадска-культурнага ўзаемадзеяння, ва ўмовах жорсткай партыйна-ідэалагічнай і палітычнай барацьбы»*. Вместе с тем, ученый подчеркивает, что «*гэта была паэзія актыўнага пошуку новых тэм і вобразаў, спосабаў мастацкага адлюстравання жыцця і чалавека, тыпаў творчасці, эстэтычна-выяўленчых сродкаў і кампанентаў*», она характеризовалась «*падкрэсленай зместавай і фармальнай неаднароднасцю, шматколернасцю і поліфанічнасцю, спалучэннем розных мастацкіх напрамкаў і творчых метадаў, тэндэнцый і школ, стылявых плыняў, ліній і арыентацый, жанравых структур*» (25).

Кроме того, порожденная конкретно-историческими реалиями жизни, западнобелорусская поэзия была тесно связана с традициями национальной, а также европейских (особенно славянских) литератур.

Исходя из теоретико-методологических и историко-литературных достижений и наработок современного литературоведения, Н.Микулич поставил перед собой задачу типологического изучения западнобелорусской поэзии, акцентировав при этом внимание на понятии стиля. Он пытается отобразить генетику и характерологические особенности ведущих стилевых течений, связав их в единый поток движения поэзии Западной Беларуси. Это — новаторское решение изучения поэзии края. В этом одно из главных новшеств научного труда исследователя.

Н. Микулич не случайно избрал для себя такой принцип исследования. Стилевой аспект, по мысли автора, является одним из наиболее продуктивных в исследовательском процессе, более того, он «*з'яўляецца адным з асноватворных і вызначальных у сістэме пазнавальнай дзейнасці чалавека*» (40).

В теории литературы, в том числе и в отечественном литературоведении, отмечены различные определения стиля. Это достаточно разработанное категориальное понятие. Однако и здесь ученый стремится быть оригинальным. Он утверждает, что стиль как понятие «*складанае і супярэчлівае, валявое і дынамічнае, цэльнае і характарыстычнае. Сваім зместам яно звернута да адзінства і ўзаемадзеяння асобнага, індывідуальна адметнага і непаўторнага і агульнага, калектыўнага, гістарычна і сацыяльна абумоўленага і заканамернага ў чалавечым вопыце і грамадскім быцці*» (41). Н. Микулич рассматривает стиль «*не толькі як падпарадкаванасць творчасці пісьменніка пэўнай эстэтычнай характэрнасці, мастацкай заканамернасці, але і як падпарадкаванасць самога пісьменніка асаблівасцям грамадскага жыцця, рэчаіснасці, якая выстаўляе яму свае патрабаванні, абумоўлівае змест і напрамак ідэйна-эстэтычных пошукаў*» (41). «*Стыль,* — убеждает нас ученый, — *раскрывае ўнутраную логіку творчага акта, пэўным чынам цэнтралізуе і дынамізуе яго. Асобнае, частку, прыватнае ён рэалізуе ў агульным мастацкім цэлым і, наадварот, агульнае мастацкае цэлае выяўляе ў асобным, частцы, прыватным*» (48). В понимании автора, «*стыль абавязкова прадугледжвае пэўную логіку, мастацкі сэнс, эстэтычную дамінанту…*» (42).

Ученый вводит в систему исследования понятия индивидуального стиля, стиля художественного направления, творческого метода, стилевого течения, национального и региональных стилей, стиля эпохи. Исходным в его работе является индивидуальный стиль писателя. Автор определяет его многообразно, «*як своеасаблівы вобраз мастацкага быцця чалавека, яго паяднання са знешнім светам падзей і фактаў*», который «*абумоўліваецца не толькі характэрнымі асаблівасцямі прыродна-чалавечага кода аўтара. Ён паўстае да жыцця ў пэўнай мастацка-сацыяльнай прасторы, на глебе нейкай стылявой традыцыі ці традыцый* — «*стылявой памяці*» *ці* «*стылявога коду*» (46).

Н. Микулич внимательно следит за формированием индивидуальных стилей — основы всякой стилевой общности. Здесь он особенно конкретен и

despite деталeн. Индивидуальный талант, «впитав» в себя противоречивые общественно-социальные факторы и преломив их через свою внутреннюю сущность, свой характер, свои морально-этические установки, становится **фактом** действующего литературного процесса, т. е. носителем стилевой общности. Впоследствии это индивидуально-конкретное стилевое начало складывается в стилевые потоки, а те в свою очередь формируют общее целое — литературно-художественную систему Западной Беларуси. Такова «схема» связи индивидуально-конкретного и более общего, всеобщего.

Автор еще больше, на более глубоком уровне развивает возможности биографического исследования. Он стремится представить личность каждого поэта в многообразии его индивидуальных общественных и литературных исканий. Он стремится определить истоки творческого вдохновения художника, выявить традиции, обозначить пути эволюционного развития, раскрыть природу творчества, его идейно-эстетическое отличие. Творческую биографию поэта ученый рассматривает в тесной взаимосвязи с духовными и социальными процессами Западной Беларуси. К тому же поэтическое наследие писателя, как правило, проецируется, связывается с реалиями общественно-социальной жизни. Таким образом, биографический и художественно-эстетический аспекты конвергируются и сублимируются с национально-историческим, социально-политическим, возникает особый художественный мир, в котором внутреннее «я» поэта сопряжено с восприятием и оценкой мира внешнего, социального, мира-универсума. Это и придает глубину научному дискурсу Н. Микулича.

Всякое движение литературы — это прежде всего движение индивидуальных стилей. Но вместе с тем они не могут развиваться автономно, вне связи с другими более общими стилевыми процессами. Индивидуальные стили, стилевые течения и стилевые направления Н. Микулич рассматривает в их единстве и взаимодействии, в их обусловленности социально-эстетическими традициями и особенностями литературного процесса, а также в связи с мировоззрением и художественным методом писателя.

В общем многоликом и многоголосом поэтическом потоке поэзии Западной Беларуси Н. Микулич выделяет несколько стилевых общностей, которые он именует течениями: лирико-повествовательное, романтическое и духовно-иррациональное.

В каждом из обозначенных стилевых течений автор стремится определить характерные для него закономерности, особенности эмоционально-образного построения, художественные приемы отображения мира и человека, особенности жанрового построения, поэтико-стилистическое оформление.

Самым давним по времени и разработанным в поэзии Западной Беларуси автор справедливо считает лирико-повествовательное стилевое течение (раздел «Магчымасці паэтычнага аповяду»). Оно было наиболее тесно связано с опытом и художественными наработками прошлого, отличалось особой эпичностью, повествовательностью. Автор подчеркивает, что это течение основывалось на принципе социально-исторической объективности и было обращено к правдивому показу окружающего мира, конкретному отображению явлений и событий. Здесь он выделяет элементы объективно-повествовательного, социально-эпического и субъективно-лирического, духовно-чувственного начал. Это были тексты, которые строились одновременно как отображение, переживание и говорение. Им была свойственна, как тонко подметил ученый, «*пільная ўвага да хранатопаў народнага жыцця і барацьбы, рух лірычнай падзейнасці, характэрная сюжэтная пачуццёвасць, дакладная прадметная выяўленчасць. У іх даволі выразна гучалі сацыяльна-публіцыстычныя матывы і вобразы*» (430).

Внутри этого течения автор резонно выделяет нашенивский и западнобелорусский периоды, отмечая при этом их преемственные связи в плане духовно-моральном и идейно-эстетическом. Вместе с тем он усматривает и те моменты, которые отличают эти две художественные общности. Твор-

чество писателей нашенивского периода, по его мнению, «*вызначалася аднастайнасцю тэм, матываў і вобразаў, прасталінейнасцю і каструбаватасцю зместу, апяваннем сацыяльнай і нацыянальнай нядолі беларуса, няволі роднага краю, характэрнай агульнаасабовасцю, паслабленнем ролі героя ў структуры верша*» (74). В то время как творчество западнобелорусских поэтов отмечалось «*ростам суб'ектыўнага фактару, індывідуальна-аўтарскага пачатку, актывізацыяй эмацыянальна-пачуццёвага пранікнення ў працэсы грамадскага жыцця, формамі творчага мадэлявання і інш.*» (74).

Нашенивский период автор представляет творчеством Гальяша Левчика («*тыповы пісьменьнік-нашанівец з найбольшым прыбліжэннем да сялянскіх пісьменнікаў*» (И. Дворчанин), Янки Былины. В контексте этого стилевого течения исследователь открывает ранее неизвестные нам имена Франтишка Гришкевича, Улад.-Иницкого, Станислава Станкевича. Творчество этих поэтов, отличительное по своим художественным решениям, существенно разнообразило лирико-повествовательное стилевое течение. Сегодня, подчеркивает автор монографии, идейно-эстетические поиски этих поэтов, как, впрочем, и других писателей, сторонников нашенивской нормы, воспринимается как «*мастацкі дакумент жыцця шырокага грамадска-сацыяльнага асяроддзя, адлюстраванне яго набалелых праблем, імкненняў і жаданняў*» (116).

В отличие от поэтов нашенивского периода, группа творцов лирико-повествовательного стилевого течения была более многочисленной. Их тексты, подчеркивает Н. Микулич, отличались достаточно широкой концепцией жизни общества, социально-нравственной насыщенностью, стремлением авторов выявить точки соприкосновения судьбы человека и судьбы народа. Художественные дискурсы этих поэтов были отмечены особенной четкостью поэтического рисунка, свободой выбора художественной формы, публицистическим напряжением, пластичностью ритмико-интонационного построения. Исследователь приводит здесь имена Алеся Смаленца, Михася Василька, Михася Машары, Миколы Засима, Нины Тарас, Анатоля Иверса и др. Алесь Смаленец — еще одно имя, открытое Н. Микуличем. Это был поэт-новатор, он утверждал формы небольшого, но емкого социально-психологического стихотворения. Ученый подчеркивает неординарность текстов А. Смаленца, выявляет его роль и значение в развитии западнобелорусской поэзии.

Не менее интересно подается и творчество других поэтов. К примеру, подчеркивается нетрадиционность манеры поэта-самородка Миколы Засима, который избрал свою тропинку, «*яго вуснамі прамаўляла само працоўнае асяроддзе, зняможаны доляю селянін-аратай*» (167).

Н. Микулич вносит много нового и в «прочтение» романтического стилевого течения (раздел «На крылах рамантычнага ўздыму»). Естественно, он исследует его уже с позиций сегодняшнего дня, с высоты XXI века. Ученый существенно дополняет профессора В. Колесника, который воспринимал западнобелорусскую поэзию преимущественно как романтическую, как «паэзію змагання». Именно так она оценивалась советским литературоведением. Романтическая поэзия, ее сущность сводились к уровню идеи борьбы против социального и национального угнетения. К тому же, не учитывалась или существенно упрощалась, сложная и противоречивая художественная палитра этого стилевого течения.

Автор монографии дает свое определение этому стилевому течению. Поэтика романтического стиля, по его мнению, «*уяўляла сабою не аднастайную цэласнасць, а дастаткова складанае і супярэчлівае адзінства, якое прадугледжвала перавагу нейкага аднаго комплексу рыс і адзнак. Гэта была як бы плынь у плыні, калі ў творчасці пэўнага кола аўтараў атрымлівалі актыўнае прадуцыраванне адны эстэтычныя асаблівасці і кампаненты рамантычнага дыскурсу і паслабляліся іншыя*» (64). Исследователь поясняет, что, говоря о романтическом стилевом течении, он имеет в виду не классический европейский романтизм, адаптированный к национальному историческому социуму,

а романтический принцип мироощущения автора и его героя, характер художественного обобщения, романтический тип содержательных и формообразующих элементов поэтического дискурса. Он глубоко выявляет то характерное, что определяло тексты западнобелорусских поэтов-романтиков — особое возвышенно-идеализированное содержание, рельефность художественного рисунка. В них присутствовало иносказание, символико-аллегорические компоненты, ирония, гипербола, гротеск и др. В отличие от поэтов лирико-повествовательного стилевого течения, поэты-романтики жили не столько современностью, сколько будущим. Они жили идеей преобразования западного края на принципах правды и справедливости, красоты и гармонии, добра и счастья. Здесь доминировало субъективное начало, импровизация переживаний лирического героя, его фантазии, мечты, представления.

Романтическое стилевое течение ученый разделяет на две структурные линии: национально-возрожденческую и революционную.

Родоначальником первой является известный партийный и общественный деятель, поэт, прозаик и драматург Леопольд Родевич. В этой же художественно-стилевой парадигме творили Владимир Жилка, Игнат Дворчанин (автор известной в Западной Беларуси «Хрэстаматыі новай беларускай літаратуры (ад 1905 года)», Петр Сакол, Лариса Гениюш. Здесь так же представлены и новые имена — Владислав Козловщик и Авген Бартуль. По мнению Н. Микулича, поэты этой стилевой линии «*адчувалі цесную сувязь з нацыянальным духоўным кодам, гістарычным мінулым роднага краю, шматлікімі гераічнымі падзеямі і легендарнымі асобамі, багатым і разнастайным вопытам сваіх дзядоў і прадзедаў*» (244).

Революционно-романтическую линию представляют Алесь Сологуб, Павлюк Шукайло, Пилип Пестрак, Валентин Тавлай (один из лучших западнобелорусских поэтов, творчество которого выросло на почве движения Грамады), Максим Танк, Сергей Хмара и т. д. Творчество поэтов революционной романтической линии автор тесно связывает с реалиями общественной жизни, политической борьбой. Он убежден, что эта стилевая линия развивалась «*на аснове вострай супярэчнасці, жорсткага супрацьборства паміж самадастатковай чалавечай асобай, смелай і высакароднай індывідуальнай воляй і светам сацыяльнай і нацыянальнай несправядлівасці і прыгнёту*» (265). Вместе с тем в текстах этих поэтов, замечает автор, значительно ослаблены духовно-патриотическое и национально-возрожденческое начала, ориентация на историческое прошлое. Они характеризовались «*падкрэсленай ідэйна-палітычнай заангажаванасцю, сцвярджэннем асноў грамадзянска-рэвалюцыйных эмоцый*», в них «*пераважалі прынцыпы класавай барацьбы і супрацьстаяння, сацыяльнай непрымірымасці*» (265). Творческие искания поэтов революционно-романтической линии были ориентированы на марксистско-ленинское мировоззрение, коллективистское «мы» у них превалировало над внутренним «я» человека. Все это существенно обедняло облик лирического героя.

Позитивно и то, что ученый не ограничивает четкой линией романтическое стилевое течение. Определенные черты этого стиля он усматривает и в произведениях Г. Левчика, М. Василька, А. Милютя, П. Гранита, К. Свояка, Н. Арсеньевой, Х. Ильяшевича, поэтические дискурсы которых доминантно соответствовали лирико-повествовательному и духовно-иррациональному течениям.

Духовно-иррациональное стилевое течение (раздел «У рэчышчы духоўна-ірацыянальных пошукаў») меньше всего было связано с социумом, реальной действительностью и развивалось, как доказательно показывает Н. Микулич, по принципам субъективно-индивидуального познания жизни. Это течение было связано с осмыслением духовно-философских, социально-нравственных и душевно-психологических аспектов взаимосвязи человека и мира. Оно представляло, как образно отметил автор, «*своеасаблівую сакральна-містычную прастору, якая вызначалася энергетычным зарадам рэлігійнасці, раскрыццём*

духоўнага зместу падсвядомага» (329). Н. Микулич выдвигает идею об оппозиционировании этого течения грубому эмпиризму реальной жизни. Поэты, творившие в рамках духовно-иррационального течения, отделяли литературу от задач политики и злободневности социума, считая, что сфера творчества развивается на основе безусловности и «самозаконности» и стоит над материальным и социальным. Их лирический герой не продуцировал значимых социальных или общественно-политических идей, не был связан с общественной средой и не стремился подчинить себе мир. Он был сосредоточен на своем внутреннем «я», которое в свою очередь не было связано с окружающим его миром, но было включено, как замечает автор, в пространство бесконечного космического целого.

Поэты этого течения свою главную задачу видели в утверждении высокого духовно-эстетического начала, в восславлении добра и красоты. «*Мастацкія пошукі прадстаўнікоў гэтай плыні*, — подчеркивает Н. Микулич, — *вызначаліся наяўнасцю характэрнай духоўна-інтэнцыянальнай эмоцыі, якая акрэслівала модус існавання лірычнага героя праз адметнае сінтэзаванне свету натуральных бачнасцей і адчуванняў як стыхіі абсалютнай усеагульнасці, матэрыяльнага ўніверсуму і творчай суб'ектыўнасці*» (331).

Эстетической доминантой духовно-иррационального стилевого течения является категория прекрасного (по-белорусски «красы»), которую автор представляет не только как форму эмоции, форму движения человеческого духа, но и «*як вярхоўны сэнс імкнення і развіцця асобы, як вышэйшую трансцэндэнтную мэту*» (348). И это было не менее актуально для своего времени, чем критика социума и призыв к революционной борьбе.

Зачинателем духовно-иррационального стилевого течения Н. Микулич называет Казимира Свояка, католического священника, творчество которого, по словам автора, было отмечено особенным мистическим, интуитивно-экстатическим восприятием мира и отличалось выраженным философско-аналитическим характером. Нравственный идеал поэта формировался на основе религиозно-философских постулатов. К. Свояк, по мысли ученого, утверждал веру в Бога и Богочеловека, Иисуса Христа — совершенного Бога и совершенного Человека. Тексты К. Свояка в тогдашней литературной среде воспринимались неоднозначно. Н. Микулич с позиций уже сегодняшнего дня пытается разобраться в полемике вокруг творческого наследия К. Свояка.

В рамках духовно-иррационального стилевого течения ученый рассматривает творчество Винцука Адважного, Натальи Арсеньевой, Хведара Ильяшевича, Анатоля Березки. Он впервые выносит на суд читателей творческое наследие Петра Севрука. Стихи поэта, как известно, не печатались и дошли в рукописном виде. Интересна интерпретация исследователем творчества П. Севрука, тексты которого были наполнены идеей внутренней свободы — свободы сознания, чувств, мышления. Н. Микулич обращает внимание на моменты отличия идейно-художественных императивов П. Севрука от идейно-художественных решений К. Свояка, В. Адважного и даже М. Василька. П. Севрук осуждал революционные методы борьбы, он верил, что добро является первоосновой жизни, оно неизбежно победит зло, ибо, как подчеркивает Н. Микулич, «*жыццё развіваецца ў адпаведнасці з высокай духоўнай сутнасцю, Провідам Божым і валодае вялікім унутраным патэнцыялам абнаўлення*» (425).

Резюмируя свои наблюдения, Н. Микулич приходит к заключению, что «*паэты духоўна-ірацыянальнай стылявой плыні стваралі сваю мадэль быцця, адметны містыка-таямнічы свет, асновай якога выступала адухоўленая вытанчаная асоба лірычнага героя, метафізіка па характары, мастацкага адчування і мыслення…*» (426).

Научное исследование Николая Микулича убеждает нас в том, что западнобелорусская поэзия 1920—1930-х годов, движимая народно-патриотической идеей, развивалась интенсивно, мощно — во взаимосвязи и взаимопроникновении разных тенденций и течений, демонстрируя миру «*розныя сты-*

лявыя схільнасці і падыходы, мадэлі і тыпы адлюстравання складаных жыццёвых працэсаў» (436). Исследователь стремится максимально широко — в контексте не только одного «эстетико-стилевого» течения, но и литературы в целом, — рассмотреть стихотворные тексты авторов, отметить особенности их содержательных и формообразующих свойств, выявить типологические характеристики, традиции и т. д. Каждая персоналия — это многогранная личность в широком спектре ее общественно-социальных связей. Каждая творческая личность — это отдельная страница в историческом развитии западнобелорусской поэзии.

Совершенно очевидно, что Н. Микулич проделал огромную работу по сбору неизвестных ранее художественных текстов, исторических документов, открыл имена новых поэтов. Он является автором книг и брошюр, тематически связанных с западнобелорусской поэзией: «Максім Танк і сучасная беларуская лірыка» (1994), «На зломе часу» (1995), «Пошук вядзе ў глыбіню» (1998), «Максім Танк: на скрязняках стагоддзя» (1999), «Паэзія рэчаіснасці: у свеце Максіма Танка» (2001), «Міхась Васілёк: паэзія давераснёўскага перыяду» (2005), «Паэзія Казіміра Сваяка» (2005), «Міхась Машара: паэзія заходнебеларускага перыяду» (2010) и др. Таким образом, можно сказать, что научная биография Н. Микулича, как и его предшественника В. Колесника, тесно связана с западнобелорусской поэзией. Но он пошел значительно дальше В. Колесника, он углубился в сферу эстетики, в литературный контекст, он написал **свою** историю поэзии Западной Беларуси 1920—1930-х годов, принципиально отличающуюся от всего ранее написанного на эту тему. И не только по причине своей масштабности, научной обоснованности, аналитической глубины. Новаторство монографии Н. Микулича еще и в том, что в основу своего исследования талантливый ученый положил принцип стилевого подхода в изучении поэзии, объясняя понятие стиля как одну из наиболее продуктивных форм художественного познания.

Ученый предлагает нам научно обоснованную, глубоко выверенную, конкретно-доказательную типологическую систему стилевого развития поэзии Западной Беларуси, обращая при этом свое внимание на многие сложные и противоречивые моменты художественных исканий поэтов этого края.

Монография Н. Микулича, безусловно, займет свое достойное место в современном отечественном литературоведении.

Валентина ЛОКУН



В глубину своего рода

Куда ни кинь… Нет, всюду не клин, а проявление стереотипов. Сильны они и в отношении шляхты. Стоит только произнести это слово, как многие скептически улыбнутся: «А, «Пінская шляхта»!», имея в виду хрестоматийную комедию Винцента Дунина-Марцинкевича. Однако любое художественное произведение, при всем прочем, это еще не всесторонняя оценка того или иного события, явления, а в данном случае социального сословия. Владимир Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» называет шляхту всего-навсего «мелким польским дворянством». Правда, «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» подходит более объективно, относя к шляхте привилегированное сословие не только Польши, а и Беларуси, Литвы, Украины в XIII — начале XX столетий. Отмечается также, что этот термин употреблялся и в Чехии, а во второй четверти — середине XVIII столетия даже в России для названия дворянского сословия.

Получается, что многие из нас из-за стереотипов, иногда сами того не желая, «обижают» шляхту, пытаясь всех представителей этого дворянского сословия причесать под одну гребенку. Однако я уверен: читатель, который познакомится с книгой Анатолия Стецкевича-Чебоганова «Я — сын Ваш», несомненно, изменит к ней свое предвзятое отношение. Подзаголовок исследования говорит сам за себя: «Летопись белорусской шляхты». Посвящена книга истории белорусских родов от древнейших времен до наших дней.

За изучение этой темы А. Стецкевич-Чебоганов взялся не случайно, ибо сам он принадлежит к роду Сацкевичей-Стецкевичей — одному из самых древних и известных на белорусской земле, о чем есть свидетельство и в уже названной «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі»: «Статкевічы, Сцяцкевічы, Сцяцковічы, Стацкевічы, Стацковічы, шляхецкі род герба «Касцеша» ў ВКЛ. Родапачынальнік — Сцецка Пятровіч. Гаспадарскі дваранін, войт магілёўскі і слуцкі (15 ст.). Меў сына Ждана, які валодаў Любанічамі, Чаркасавам і Расасною, унукаў Хаму, Яўмена і Андрэя, ротмістра і двараніна вял. князя ВКЛ Казіміра». Да и как энциклопедии не «знать» этого, если еще в 1630 году белорусский книгоиздатель Спиридон Соболь (известный исследователь древней книги Джон Симон Габриель Симонс считает, что именно он первым ввел в обиход название «Букварь») издал своего «Апостола» за средства Богдана Стеткевича, а в знак благодарности написал оду «На герб их милостей панов Стеткевичей», которую поместил на обратной стороне титульного листа книги:

Два сердца ся споили, меч их розрывает,
Моцы старожитных домов през то осведчает,
Которым варварскіи гуфы не зровнали.
Пойзри на гелм, обачиш як ся потыкали
Котвицы — теж веры статечной знаком,
Як кгды округ на ветры умоцнен троигаком,
А крест — церкви похвала,
крест — венным оброна,
И тот есть Стеткевичов клейнот и корона.
Прето ж их слава в небо, як стрела, взносити
И на кеки ся будет в людех голосити.

Анатолий Стецкевич-Чебоганов поясняет: «Написано это стихотворение на старобелорусском языке, а смысл его таков: герб говорит о древности рода, который не уничтожили вражьи силы, который тверд в вере, как корабль, против ветра усиленный якорем, а слава Стецкевичей, словно стрела, вознеслась

в небо, и будет она вечно жить в памяти людей…». Раздвоенная стрела, направленная вверх, помещена и на красном фоне герба этого рода, а в клейноде, над прилбицей, находится шляхетная корона с тремя страусиными перьями. Позже этот знак стали называть «Стрела спасения». О большой популярности герба «Костеша» свидетельствует и то, что в XIX веке он был помещен на одной из яхт российских императоров.

История возникновения этого герба такова. В битве, состоявшейся в 1072 году под Сновском, особенно прославился рыцарь Костеша. Он продолжал сражаться в гуще врагов и после того, как его меч был сломан, а на теле уже было множество кровоточащих ран. Не остановила Костешу даже застрявшая в его плече расщепленная надвое стрела. В таком виде отважный воин и предстал после битвы перед королем Болеславом I Храбрым. Снимая, в мятинах, порыжевший от крови шлем и показывая свое израненное тело, он заявил своему правителю: «Это и есть вся моя добыча!» После этого король позволил отважному воину поместить на своем гербе стрелу и меч в виде креста.

«Стрела спасения» — так называется серия из шести книг А. Стецкевича-Чебоганова «Я — сын Ваш». В первой из них, которая уже увидела свет, представлены описания и родословные росписи Сцецкевичей, Сацкевичей-Стецкевичей герба «Костеша», а также Карафа-Корбутов герба «Корчак», которые также являются предками и родственниками автора. В последующих книгах А. Стецкевич-Чебоганов исследует родословные Рудинских, Тычино, Таторов, Ждановичей-Гуриновичей и других — всех не один десяток.

В книгах дается краткое представление родов. В отдельных случаях поданы занимательные сюжеты из жизни некоторых их представителей. Ценность книги и в том, что приведены и родословные росписи. Можно легко узнать, от какого предка происходит тот или иной представитель рода. Следовательно, не трудно проследить как родственные связи, так и степень родства.

Так кто же он, А. Стецкевич-Чебоганов, подготовивший такое интересное исследование? В какой-то степени правдивым будет утверждение, что это, как поется в одной из еще недавно популярных песен, «простой советский человек». Родился в деревне Засмужье Любанского района. С золотой медалью окончил Любанскую среднюю школу, потом — Ленинградский институт точной механики и оптики по специальностям «Электронные вычислительные машины», «Системы управления баллистическими ракетами подводных лодок». Позже была Высшая школа управления при АПК СССР в Москве, еще позже — «Школа мировой экономики и английского языка» в г. Боунмоус в Англии. Работал А. Стецкевич-Чебоганов на оборонном предприятии ВНПО «Каскад», главным инженером научно-производственного объединения «Нива», начальником Главка Госагропрома БССР, председателем правления Белорусской агропромышленной биржи. Теперь — председатель наблюдательного совета группы компаний «Стецкевич». Известен как меценат, который оказывает помощь в восстановлении разрушенных храмов и монастырей. Именно он является одним из устроителей памятника Святой Софии — княгине Слуцкой в г. Слуцке.

Когда у Анатолия Васильевича спрашивают, почему он не жалеет ни времени, ни средств на благотворительные цели, обычно слышат в ответ: «Я думаю, это от моих предков». И не только от тех, кто стоял у истоков рода, а и от предков, живших ближе к нашим дням. Такое желание прийти на помощь, сделать доброе дело идет и от деда. Михаилу Сацкевичу-Стецкевичу и его родственникам до революции 1917 года принадлежало имение Засмужье, купленное у одного из крупнейших на территории Беларуси земледельцев Витгенштейна. Вот что рассказывает об этом А. Стецкевич-Чебоганов: «В Засмужье у князя было свыше четырех тысяч десятин, а это около четырех с половиной тысяч гектаров пахотной земли, лугов и лесов. Витгенштейн просил за имение 30 тысяч рублей серебром. По тем временам — огромные деньги. У Ивана Викентьевича (прадеда автора книги. — ***А. М.***) такой суммы не

было. И тогда он предложил близким родственникам — Карафа-Корбутам, Рудзинским, Тычино — купить имение совместно». Потом пришлось брать в свою компанию и шляхту, неутвержденную в дворянстве, да и некоторых так называемых крепких крестьян.

Я не принадлежу к тем, кто готов полностью перечеркнуть советское прошлое. Хотя бы из-за того, что жизнь-то соткана из разных полос, переплетенных между собой. Но как не понять негодования дяди А. Стецкевича-Чебоганова, который подростком партизанил, после семь лет отдал армии, затем вернулся в родные края, который негодовал из-за того, что очень несправедливо поступили с его родственниками: «Няхай хоць на вяроўцы цягнуць, а я ў гэты калгас не пайду! — уже не говорил, а кричал он. — Это была наша земля, а мы должны теперь работать на ней на власть, которая поставила к стенке моих родственников? Да я никогда не стану там работать».

О том, как родственникам А. Стецкевича-Чебоганова «малолі косці» (выражение Лукаша Калюги), видно из разделов «Мой дед — Михаил Иванович Сацкевич-Стецкевич», «Моя бабушка — Мария Александровна Карафа-Корбут», «Мой дядя — Иван Сацкевич-Стецкевич» и других. Все они, честнейшие, трудолюбивые люди — без вины виноватые. Что ни судьба — печальное свидетельство того, что происходило в то страшное время: «Как только на минуту представлю, что выпало на долю моей многострадальной бабушки, слезы застилают глаза, ком подступает к горлу. Хочется броситься через годы, защитить и согреть ее».

О Марии Александровне хоть отдельно книгу пиши. Хождение по мукам — иначе не скажешь. Раскулаченная в 1930 году и высланная с тремя детьми (младшему в то время исполнилось всего восемь месяцев) в Коми-Пермяцкий округ на поселение, она через год нелегально вернулась в Беларусь. Но не в Засмужье, а в одну из деревень под Слуцком, где жили ее сестры. Однако через некоторое время ее опять арестовали и отправили в то же поселение. Да не опустила руки, очередной раз отважилась на побег. Опять не одна, вместе с детьми. Теперь — была не была — решила остановиться в Засмужье. В 1937 году власти снова проявили политическую бдительность. Правда, отправили не на Север, а в Нижний Новгород. Окончательно на родину вернулась она только в начале 1941 года.

Колоритная фигура — Николай Карафа-Корбут. Он также так и «просится» стать главным персонажем какого-либо остросюжетного произведения. Судите сами… Николая Егоровича после раскулачивания выслали из родного Засмужья в Сибирь. Читаем: «И вот однажды у него созрел дерзкий план — наказать власть за то, что она у него отняла. На станции подолгу стоял вагон, в котором перевозили деньги. Николай смог незаметно пробраться в него. Взял два мешка с купюрами и безо всяких происшествий принес домой. Экспроприация состоялась! Теперь важно было не «засветиться»! Николай хорошо продумал дальнейшие действия: вместе с семьей начал менять места проживания. Объехал весь бывший Советский Союз. Где только не работал, даже в шахте! На одном месте больше двух лет не задерживался. Успел повоевать на трех войнах — финской, Отечественной и японской. И ни разу не оказался под подозрением».

Только две судьбы, а какие потрясающие жизненные истории! Да, как известно, лучший романист — сама жизнь. Немало удивительных судеб осветил А. Стецкевич-Чебоганов, работая над своими книгами. Им проделана огромная поисковая работа, которая по объему впору научному коллективу. Однако автор справился с ней один. Он много потрудился, изучая документы в архивах не только Беларуси, но и России, Польши, Литвы, Украины, записывая воспоминания своих родственников, просматривая подшивки газет, относящиеся к «смутному времени».

Знакомясь с книгой А. Стецкевича-Чебоганова, невольно вспоминаешь пословицу «по одежке встречают, а по уму провожают»: в данном случае на высоте не только содержание, восхищение вызывает и художественное оформление этого, без преувеличения,

фолианта. В нем представлен богатый иллюстрационный материал: многочисленные снимки, копии давних и более близких к нашему дню документов, различных выписок и так далее.

Рассматривая иллюстрации, ловишь себя на мысли, что в подборе этого материала заслуга не только самого А. Стецкевича-Чебоганова. Конечно, ему пришлось немало поработать в архивах, чтобы получить копии многих документов. Но несомненно и то, что на эту книгу «работали», сами того не зная, родственники Анатолия Васильевича, сумевшие на протяжении десятилетий сохранить многие и многие уникальные снимки, запечатлевшие облики близких людей.

Книга А. Стецкевича-Чебоганова (точнее книги, по мере выхода последующих пяти, думаем, появится новая возможность поговорить) — это, несомненно, гражданский поступок ее автора. Рассказывая о своем роде, он, на первый взгляд, прослеживает только судьбы близких ему людей. Однако если смотреть шире, то становится очевидным, что этот труд выходит за рамки чего-то частного, личного и приобретает общественную значимость.

Ведь история шляхетских родов, возобновленная А. Стецкевичем-Чебогановым, — это часть истории нашего Отечества, поданная через отдельные человеческие судьбы. Знакомство с ними — очередная возможность задуматься над тем, кто мы, откуда мы, увидеть, насколько тесно взаимосвязаны человеческие судьбы и как в этом переплетении видится длинная цепь, связующая прошлое, сегодняшнее и будущее.

Важен также и момент, на который обратил внимание в своем предисловии к книге Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет: «У Бога нет мертвых: у Него все живы! А значит, мы все — одна семья, одна земля, один народ, одна вера, один крестный жизненный путь по образу Христа Спасителя. И воскресение наше будет общим. Оно уже началось, если в сердце человека луч Божественной любви не заглушается стихиями мира сего, но становится негасимым пламенем».

Глубоко символично то, что книга «Я — сын Ваш» издана Белорусской Православной Церковью. Хочется еще раз обратиться к слову Владыки: «Мы ответственны не только за себя и за свое ближайшее потомство. Ответственность наша должна простираться и в глубину своего рода, дабы научаться у предков подвигу любви и веры и своими поступками не посрамить их честь; дабы нашим активным деланием исправлять имевшую иногда место бездеятельность наших прародителей, а порою — и их отступничество от праотеческой веры, от вековых обычаев и направлений».

Алесь МАРТИНОВИЧ



Григорий АНДРЕЕВЕЦ.
Капитан Франц. Повесть.
Гомель, Барк, 2012.

Об Афганской войне, на которой погибли тысячи советских парней, известно уже немало. Со временем «белых пятен» будет оставаться все меньше и меньше. Этому способствует и новая книга Григория Андреевца. Главный герой повести десантник Франц Клинцевич, уроженец деревни Крейванцы Ошмянского района, руководил в Афганистане одной из секретнейших разведывательных групп. Насколько необычное это подразделение, говорит уже то, что его бойцы хорошо знали язык дари. Через руки капитана Клинцевича прошло огромное количество секретной информации, которую внимательно изучали в спецслужбах и штабах Советской Армии. Лидер же «Исламской партии Афганистана» Гульбеддин Хекмтияр только за одни сведения о местонахождении бесстрашного командира советских разведчиков обещал огромную сумму денег. Кстати, Клинцевич стал прототипом безымянного капитана-разведчика в фильме Федора Бондарчука «Девятая рота», роль которого исполнил актер Алексей Серебряков. Книгой «Капитан Франц» гомельское издательство «Барк» начало выпуск серии «Военные разведчики». Что ж, начало удачное.

Алесь БАДАК.
Насякомыя. Заалагічныя эцюды.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Эта книга очередная в серии «Усім пра ўсё», над которой Алесь Бадак успешно работает уже не первый год. Ранее вышли «Расліны», «Жывёлы», «Птушкі». Как и в предыдущих сборниках, в новой книге занимательность сочетается с познавательностью. А. Бадак, как видно из его этюдов, очень хорошо изучил жизнь наиболее многочисленных жителей Земли, которыми и являются насекомые. Он приводит факты, позволяющие лишний раз убедиться, как прекрасен мир, окружающий нас, насколько он многообразен, полон тайн и загадок. Какого вопроса А. Бадак ни касается, информация, которую при этом получает читатель, не может не впечатлять. Кто из насекомых самый быстрый? Какие насекомые, как и птицы, улетают на юг? За что птицы не любят божью коровку? Правда ли, что осы строят бумажные домики? Вот только некоторые из вопросов, на которые можно получить обстоятельный ответ. Впечатляет и богатый иллюстрационный материал, среди которого есть фотоснимки и самого автора книги.

Николай ГАВРИЛОВ.
Разорвать тишину. Повесть.
Мн.: Издательство Дмитрия Харченко, 2011.

Николай Гаврилов не случайно так назвал свою новую повесть. За этим названием кроется глубокий смысл: разорвать тишину — значит, преодолеть барьер, за которым находится то, что не одно десятилетие прятали от народа за семью замками. Точнее, прятали в спецхранах. События в повести берут отсчет с весны 1933 года, когда власти Минска отправили на спецпоселение в сибирские болота представителей разных социальных слоев. Среди них оказался и тридцатипятилетний врач с женой и сыном. Что и говорить, книга не для слабонервных. Однако она не для тех, кто, встретившись с чем-либо нарушающим спокойствие, готов, как тот страус, чувствующий опасность, спрятать голову в песок. Она, прежде всего, для людей совестливых, которые чужую беду воспринимают как собственную, которые хотят знать истину — что было и как было. В том числе и тогда, когда ломались человеческие судьбы в жерновах сталинизма.

Янка КУПАЛА.
Шляхам жыцця.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2012.

Выход факсимильного издания третьей книги Янки Купалы «Шляхам жыцця» — хороший подарок почитателям творчества народного песняра

накануне 130-летия со дня его рождения. Как и факсимильный выпуск «Жалейкі», осуществленный в 1982 году, также «Мастацкай літаратурай», — это возможность взять в руки книгу, вышедшую некогда в петербургском издательстве «Загляне сонца і ў наша ваконца».

Уладзімір МАЗГО.
Лепшыя сябры. Вершы, казкі.
Мн.: Народная асвета, 2012.

Новая книга известного белорусского поэта Владимира Мозго «Лепшыя сябры» адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста, которые благодаря ей в самом деле найдут хороших друзей. Ими станут растения и животные, а также мальчишки и девчонки. Главные же герои книги, Вася и Василинка, помогут совершить увлекательное путешествие по родному краю. Не оставит детей равнодушными и сказка «Каплі для Чаплі».

Алесь САВІЦКІ.
«Сонца на ўсіх адно». Проза, публіцыстыка.
Мн.: Чатыры чвэрці, 2011.

Появление этой книги в серии «Асоба і час» очень понятно. Об этом говорят во вступлении и ее составители Наум Гальперович и Наталья Ванина: «Ёсць людзі, жыццё якіх убірае ў сябе цэлыя гістарычныя пласты, нават эпохі». А. Савицким так много прожито и пережито, так весомы его обретения, что сама по себе его жизнь — это интересная книга. В сборнике «Сонца адно на ўсіх» представлены только отдельные страницы ее, написанные и самим Алесем Онуфриевичем, и теми, кто знает хорошо как его самого, так и его творчество. В частности, в книге помещены статьи Ивана Шамякина «Ад берагоў Дзвіны», Геннадия Пашкова «Жыццёвае поле Алеся Савіцкага», Алеся Мартиновича «Каб не было непражытых дзён», Лилии Ламсадзе «Рака яго жыцця», беседы А. Савицкого с Людмилой Рублевской «Понять истоки мужества…» и Наумом Гальперовичем «З глыбіняў роднага краю», стихи Петра Приходько «Твае святы» и Бронислава Спринчана «Костры Савицкого Алеся», ответы на вопросы редакции газеты «Чырвоная змена» («З народам гутарку весці...»). А. Савицкий вспоминает о своей юности, делится мыслями о литературе. Тепло, задушевно написаны им воспоминания о Владимире Короткевиче «Ласкавае святло Літзавы». В книге помещено также несколько рассказов, отрывки из романа «Обаль». Еще лучше понять жизненный путь, пройденный писателем, помогают многочисленные снимки, охватывающие период с военных лет по сегодняшний день.

Николай ЧЕРГИНЕЦ.
Тайна Овального кабинета. Роман.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2012.

Ничего подобного в белорусской литературе еще не было. Уже хотя бы потому, что автор местом действия своего романа избрал Соединенные Штаты Америки. Более того, основные события в произведении происходят в Белом доме, а главное действующее лицо — один из президентов этой могущественной страны, которая все больше превращается в мирового жандарма, заставляя народы планеты жить по своим законам. При этом они, как известно, двойные: что позволено одним, а это те, кто готов плясать под имперскую дудку, то в отношении к другим рассматривается не иначе как общественное зло, всячески муссируется якобы присутствующее здесь нарушение прав человека. Однако не нужно забывать, что «Тайна Овального кабинета» — произведение художественное, поэтому, конечно, все персонажи романа, начиная от самого президента Джона Макоули и завершая рядовыми сотрудниками Белого дома, — люди вымышленные. Однако в отдельных ситуациях и событиях угадываются прототипы американцев, которые хорошо известны, пожалуй, каждому. Сильны в романе и те страницы, где раскрывается личная жизнь хозяина Белого дома, человека развратного, для которого нет ничего святого. Роман «Тайна Овального кабинета» пополнил серию «Черная молния», основанную в 2010 году.

Василь СЛУЦКИЙ

Документы Владислава Чаржинского в архиве Казанского медицинского университета

Белорусский литературовед, критик, лексикограф и педагог Владислав Чаржинский (1897—1974) родился в белорусской крестьянской семье на Белостотчине в деревне Старо-Каменная Сокольского уезда. Начальное образование получил в народном училище. Закончил Минскую гимназию и Белгосуниверситет. Работал учителем на Логойщине, а также преподавателем в Институте белорусской культуры и в Коммунистическом университете Белоруссии. С 1922 года начал выступать с критическими и литературоведческими статьями в белорусской печати. С 1925 года сотрудничал с журналом «Полымя».

Владислав Чаржинский под своей фамилией, а также под псевдонимами Вл. Дзержинский и Улидзе печатал серьезные статьи, в которых рассматривал как отдельные художественные произведения, так и литературный процесс в целом. Многие его материалы, посвященные творчеству Янки Купалы, Якуба Коласа, Змитрока Бядули, Михася Чарота, Тишки Гартного, Янки Журбы и других белорусских писателей, впечатляют и сегодня глубиной исследовательской мысли, аргументированностью, пластичностью стиля. Труды Владислава Чаржинского ценны сегодня еще и тем, что в противоречивое и жестокое время конца 1920-х годов в своих оценках он руководствовался эстетическими критериями, а не вульгарно-социологическими догмами.

28 июня 1930 года Владислав Чаржинский был арестован ДПУ БССР по делу «Союза освобождения Беларуси». По постановлению Коллегии АДПУ СССР от 10 апреля 1931 года его сослали в Казань сроком на пять лет. Через четыре года нашего земляка освободили от ссылки, но реабилитировали его только после смерти в 1988 году.

Из Татарстана Владислав Чаржинский на родину уже не вернулся. Как сказал белорусский критик Игорь Жук, «жить на границе бездны», «не попадая в нее», он научился в Казани, работая исключительно на преподавательских должностях в разных учебных заведениях столицы Татарии. Пропасть, что образовалась в результате «пятилетней ссылки» и, как оказалось, продлилась всю жизнь, он уже не переступил.

Отошел ли он полностью от литературной и критической деятельности — трудно сказать. Тем не менее белорусскими писателями и литературой он интересовался и тогда, когда жил в столице Татарстана. Сегодня в архивах и музеях Казани сохранились интересные сведения о нашем талантливом и забытом земляке-литературоведе. Большая часть документов хранится в личных делах В. В. Чаржинского в архиве Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Их там два: одно за период с 1933-го по 1946 год, другое — за 1950—1971 годы, а также карточка Ф.Т-2. Знакомство с документами хочется начать с личного листка по учету кадров и характеристики Владислава Чаржинского.

Личный листок по учету кадров

Фамилия — Чаржинский
Имя — Владислав
Отчество — Викентьевич
Пол — М

Год рождения — 1897
Место рождения — дер. Старокаменская Сокольского уезда Гродненской губ.
Национальность — белорус
Соц. происхождение — крестьяне
Основное занятие до Октябрьской революции — земледелие
Основная профессия — преподаватель
Соц. положение — служ.
Партийность — б/п
Состоял ли в других партиях — не состоял
Членом какого профсоюза состоит и с какого года — Медсантруд с 1934 г.
Образование — высшее
Подробное название высшего заведения — Белорусский государственный университет
Название факультета — этнолого-лингвистическое отд.
Дата поступления — 1921
Окончания — 1925
Какую узкую специальность получил в результате окончания учебного заведения — белорусский язык и литература
Ученая степень — нет
Был ли за границей — нет.

Характеристика преподавателя кафедры иностранных языков Казанского государственного медицинского института Чаржинского Владислава Викентьевича дает полное представление, что это был за преподаватель и человек в целом.

Характеристика
на преподавателя кафедры иностранных языков Казанского государственного медицинского института Чаржинского Владислава Викентьевича

Чаржинский В. В., работающий преподавателем Казанского государственного медицинского института с 1.09.1933 года и освобожденный от работы 1 декабря 1947 года как совместитель ввиду его основной работы в Казанском государственном стоматологическом институте, 1.09.1950 года был опять зачислен преподавателем Казанского государственного медицинского института, где и работает в настоящее время. Тов. В. В. Чаржинский, квалифицированный, опытный и дисциплинированный педагог, относится с любовью и усердием к своей работе. Принимает активное участие в методической работе кафедры, выступал на заседаниях кафедры с докладами по вопросам методики преподавания языков. В. В. Чаржинский систематически занимается повышением своего идейно-политического уровня, активно участвует в занятиях, организованных для самостоятельно изучающих историю СССР преподавателей кафедры. Постоянно работает над усовершенствованием своей производственной квалификации, принимает участие в работе кафедры над составлением пособия по немецкому языку для медиков. Среди товарищей по работе и студентов тов. Чаржинский В. В. пользуется заслуженным авторитетом.

Врид. директора ин-та — А. З. Юсупов. Секретарь партбюро КГМИ — Красильников. 5 марта 1952 г.

В архиве Казанского государственного медицинского университета хранится и автобиография Владислава Чаржинского, написанная им 27 апреля 1943 года.

Автобиография
преподавателя В. Чаржинского

Родился я в 1897 году в б. Гродненской губ., Сокольском уезде, дер. Старо-Каменная в семье крестьянина. У отца моего было 5 десятин земли, которую он обрабатывал сам лично при помощи своей семьи. Начальное образование я получил в начальном народном училище, по окончании которого поступил в Гродненскую казенную гимназию, где и обучался до 1914 года. Материальную помощь получал от старшего брата, находившегося на заработках в Америке. В 1915 году моя родина была оккупирована немецкими войсками. Я уехал в Ленинград, где и продолжал свое образование. В 1917 году я переехал в г. Минск и до 1920 года работал надомным учителем в Вилейском уезде. В 1921

году поступил в Белорусский государственный университет на этнолого-лингвистическое отделение, которое и окончил в 1925 году. Во время учебы в университете работал в Белорусском государственном издательстве и преподавал на рабфаке университета. С 1925 года работал в качестве научного сотрудника в Институте белорусской культуры, а затем в Белорусской Академии наук, в то же время преподавал в Белорусском коммунистическом университете. В 1930 году я был административно выслан из Минска в г. Казань, сроком на пять лет. В Казани с 1931 до 1935 годов я работал методистом в Институте повышения квалификации учителей и в педагогическом институте. С 1933 года по совместительству работал преподавателем в Казанском государственном медицинском институте (до 1936 г.), а затем до 1940 года штатным преподавателем. С 1940 года штатную должность преподавателя занимаю в Казанском государственном стоматологическом институте, а в Казанском государственном медицинском институте работаю по совместительству. В. Чаржинский, 27.04.1943 г.

Среди найденных казанских документов есть и «Перечень печатных трудов» Владислава Чаржинского, написанный им лично. Для чего и для кого этот «перечень» писался — трудно сказать, но и он сохранился с 1933 года в архиве Казанского государственного медицинского университета.

Перечень печатных трудов

1. Поэтика литературных жанров. Пособие для техникумов и вузов. Белгосиздательство, 1927 г.
2. Учебник по истории белорусской литературы. Белгосиздательство, 1926 г.
3. Учебник по народной словесности, 1925 г.
4. Кратко-библиографический словарь, 1929 г.
5. Ряд научно-популярных текстов, печатанных отдельными брошюрами в 1925—1930 годах.
6. Ряд статей в «Литературной энциклопедии».
7. Ряд статей в записках Белорусской Академии наук (1928—1930 гг.).
8. Ряд статей-очерков в журналах «Адраджэньне», «Полымя», «Узвышша» и других.
9. Редактирование издания соч. Ленина на бел. языке и мн. др.

В. Чаржинский, 20.10.1933 г.

В архиве университета есть и интересная выписка из приказа № 91 ректора Казанского государственного ордена Трудового Красного Знамени медицинского института имени С. В. Курашова от 19 мая 1967 года. В ней говорится, что «в связи с 70-летием и 45-летием педагогической деятельности, из которых 35 лет отдано подготовке медицинских кадров в стоматологическом и медицинском институте г. Казани, за безупречную творческую работу, чуткое и принципиальное отношение к студентам старшему преподавателю В. В. Чаржинскому объявить благодарность с занесением в личное дело. Основание: представление зав. кафедрой К. Л. Раскина. Ректор института профессор — Х. Хамитов. Секретарь — Богданова».

Кстати, в то время в Казанских медицинских учебных заведениях работало очень много уроженцев Беларуси, особенно много было евреев. Тот же Каннель Раскин был родом из-под Орши, Исаак Алуф — из Полоцка и так далее. Возможно, с их помощью Владислав Чаржинский в 1930-х годах и устроился к ним на работу. В архиве Казанского медуниверситета сохраняется много разных выписок из приказов, постановлений, распоряжений. Вот некоторые из них.

Выписка
из приказа № 145 директора Казанского гос. медицинского института
от 14 ноября 1950 г.

Тов. Чаржинского В. В. зачислить преподавателем кафедры иностранных языков на полставки преподавателя с 1 ноября с. г. с окладом 675 руб. в месяц, как имеющему стаж рабо-

ты больше 10 лет. Основание: Заявление т. Чаржинского с заключ. зав. каф. т. Фрейман и зав. отд. кадров т. Болгова. Врид. директора КГМИ — проф. Яснитский. Секретарь — Маслова.

Выписка
из протокола заседания кафедры иностранных языков КГМИ от 4 марта 1971 года

Слушали:

1. Отчет Чаржинского В. В. и заявление о том, что в связи с пенсионным возрастом он не будет претендовать на переизбрание.

Вагазова С. Л.: Чаржинскому В. В. рано уходить с кафедры, глубокие знания, умение не только учить студентов, но и передавать свой богатый опыт коллегам, ясный ум дают ему возможность продолжать работу.

2. Постановили: Принять к сведению заявление В. В. Чаржинского.

Председатель, зав. каф. ст.препод. — Раскин К. Л.
Секретарь — Халикова Г. Ф.

В июне 1971 года наш земляк написал на имя ректора заявление «освободить его от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию». Тем более, что ему уже было тогда 74 года. Ректор удовлетворил просьбу Чаржинского.

Выписка из приказа № 61-Л
ректора Казанского государственного ордена Трудового Красного Знамени медицинского института имени С. В. Курашова от 30 июня 1971 года

Ст. преподавателя кафедры иностранных языков Чаржинского Владислава Викентьевича с 4 июля с. г. освободить от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. За долголетнюю, активную педагогическую, научную и общественную деятельность объявляю благодарность. Основание: заявление Чаржинского с резол. нач. отдела кадров Жирко Ф. Д. П. п. ректор института профессор — Х. С. Хамитов. Секретарь — Богданова.

В Татарстане Владислав Чаржинский прожил еще три год. 2 апреля 1974 года его не стало. Похоронен он на Арском кладбище в Казани.

Сергей ЧИГРИН



Слово в системе средств глобального противоборства

В 20-х годах прошлого столетия поэт Николай Гумилев гиперболически обозначил общественную значимость языка: «*Словом останавливали солнце. // Словом разрушали города*».

Развал СССР, Варшавского блока, крутые по темпам и глубинам перемен «цветные» революции нашего времени указывают на возросшую роль языка в глобальном переустройстве мира. Перемены, как правило, спровоцированные извне, начинаются с дискредитации, подрыва интеллектуальных и духовных основ избранного государства, подменой ориентиров жизни с последующим захватом духовной сферы.

Как говорил писатель Валентин Распутин: «Язык вмещает в себя все: «характер народный, и опыт, и историю, и тяготы жизни, и духовное здоровье нации, ее нравственное состояние».

Естественно, что перемены в языке на этом «всем» отражаются немедленно.

Начну с того, что мне ближе.

Обществоведы вузов отмечают, что за последние 10—15 лет произошло снижение общественной и языковой культуры студенчества. Те же татуировки не свидетельствуют о культуре. Что касается языка, то в мое время, когда студентами были нынешние профессора и доценты, такого дурнословия не было: «лох», «клёво», «круто», «пруха», «шедевральный» и т. д. Откуда все это взялось? Думаю, не только из нынешнего «чтива» и телевидения. «Зри в корень», — гласил девиз Козьмы Пруткова, поэтому обратимся к истокам формирования человека как личности — к детству.

Вот что с грустью и болью об утраченном пишет В. Распутин: «Все меньше поэзии самого детства, всего того, что связано с устным, бытовавшим из поколения в поколение и бывшим частью жизни фольклором: с поверьями, сказками, семейными преданиями, вечерними рассказами.., воспитывающими торжественное, чуткое и благоговейное отношение к миру».

Когда-то в школах практиковалось внеклассное чтение. Учительница приносила сказки, рассказы Пушкина, Некрасова, Чехова, Короленко, Тургенева, и их по очереди читали вслух в классе. Кстати, громкое чтение развивало речь и образное мышление. А что происходит с литературой и языком в школе сегодня, пусть разбираются специалисты. По слухам, там не все ладно.

Нынешний ребенок, еще «на горшке восседая», смотрит «телек» и «видик». Мы, действительно, лишили его мира добра, который несли народные сказки, устный фольклор, классические стихи для детей. Помню книжечки-малютки, в которых печатались басни Крылова, размером со спичечный коробок, с картинками.

А сказки?

Когда мама читала нам некрасовское «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои», — мы переставали дышать.

Добрые стихи и сказки формируют особое душевное состояние, расцвечивают детское воображение. Не знаю, стал бы Пушкин поэтом, если бы в детстве вместо сказок Арины Родионовны слушал дикие песни современной эстрады, без особого смысла в словах. Сегодня на молодежь обрушивается лавина антикультуры.

Что же сейчас вбирают с телеэкранов наши дети и внуки? Они видят такое, о чем в мое время не говорили ни в семье, ни в школе. Сексуальная тематика стала жестоко доминировать в кинематографе, на телеэкранах, эстраде, в нынешней литературе. Ну и какого будущего нам в таком случае ждать? Как не вспомнить заветы русского философа И. А. Ильина, который писал, что будущая культура языка формируется в детстве сказками, нашей неповторимой поэзией, литературой, историей, народными песнями.

Приходится удивляться тому, как скоро к нам пришли дурнословие, жаргонизация и въедающиеся, как клещ, в язык сленги, новая география мата, включающая школу и дискотеки, проституция, похоронившая славянское целомудрие.

Значительный вред нравственному здоровью наносит подмена понятий, когда слова стремительно теряют первоначальные суть и смысл. Например, глагол «трахаться» часто звучит с телеэкранов, он прочно вошел в лексикон молодежи, низведя любовь к контакту животных и полуспортивному выполнению телесных упражнений, которые молодежь видит на экранах ежедневно. А ведь «трахнуться», по словарю Ожегова, — упасть с шумом или удариться сильно обо что-нибудь.

Опять цитирую В. Распутина, который отмечает: «Человек незаметно сдвинулся со многих нравственных оснований, и одно из них — подмена ценностей. Мы уже смущаемся говорить о патриотизме, о моральном облике человека. Теперь, если о ком-то хотят сказать хорошее, говорят: «он — не подлец». Нас действительно «сдвинули».

В условиях строительства Союзного государства России и Беларуси у нас общая духовная пища с соседями. Для славян русский язык главный источник духовных ценностей, без которых произойдет деформация всей жизни. Обойтись без Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Чехова невозможно.

А подмена ценностей, о которых говорит В. Распутин, произошла и происходит. Честь, совесть, пишет он, святые понятия «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», традиции и обычаи, язык и легенда, память и история — все это заметно перестает быть основанием жизни…»

Во-вторых, глобализаторам надо разрушить исторически сложившиеся связи народов, возникшие со времен Киевской Руси. А русский язык, как недавно подчеркнул писатель Ф. Искандер, «всегда был языком единения наших народов». Им уже удалось запретить русский язык в ряде бывших республик СССР. Добиваясь его запрета, они хотят уничтожить главную опору народов — славянское единство. Во многих европейских странах в последнее время создаются общества и принимаются законы по охране собственного языка от «оккупантов», а русский засевается «чужеземцами», которых М. Загоскин когда-то назвал «изувеченными пришельцами» — «пролонгация», «контингентированный», «диверсифицировать», «толерантность», «мониторить» и т. д.

Язык может разрушать не только города и страны, но нравственное и физическое здоровье человека. Известный советский психотерапевт А. Платонов писал, что в человеческом организме, пожалуй, нет систем или органов, на которые невозможно так или иначе речевое воздействие. Так или иначе… Начнем с «иначе». Особое воздействие на нашу жизнь оказывает мат. На культуру, взаимоотношения, атмосферу в семье, в трудовых коллективах, на транспорте, в местах отдыха. Мат — оружие массового поражения. Во времена, когда мне приходилось читать лекции в трудовых коллективах от общества «Знание», убедился, что есть представители некоторых профессий, в труде которых совсем не используется профтерминология, а только мат. Как-то в Полоцке на автобазе стал свидетелем того, как водитель автомобиля, притащившего сломавшуюся в пути машину своего коллеги, докладывал заведующему гаражом. Летел только мат, и после нескольких тирад завгар установил точный диагноз поломки, назвав железку, которую они будут искать в соседней автобазе.

Реальность обязывает говорить

о бедах, что несет административное хамство, «стирание в порошок» подчиненных, бесправие стоящих на ковре. «Вякни, и тебе не продлят контракт», — сказал мне знакомый работник ближнего завода. Как не вспомнить когда-то предполагаемое принятие закона о порядке обжалования неправомерных действий администрации. В Витебском государственном медицинском университете мне подтвердили, что А. Платонов прав. Словом можно лечить, но можно и убить человека. Да, грубое, резкое, неожиданное слово может вызвать целую гамму нежелательных процессов в организме человека, подвергшегося такой словесной атаке: головокружение, бледность или покраснение, подъем кровяного давления, учащение сердцебиения, сердечный приступ и даже обморок. Меня же печалит поэтапное расползание хамства. Привожу примеры. Девочка вернулась домой после длительного пребывания на лечении в стационаре. Вечером перед сном родители слышат, как она убаюкивает куклу: «Спи, мерзавка, это тебе не дома!»

Внучка пришла из детсада. Бабушка помогает снять курточку, а дед подсказывает, куда поставить обувь, и девочка вдруг заявляет: «А ты, дедуля, вообще не квакай!»

Но словом-то и лечить можно. «Если человеку от первого посещения доктора не стало лучше, значит это был не доктор», — говорил известный врач Владимир Бехтерев. Здесь огромное поле для полезного творчества специалистов.

Уже когда подготовил статью, в «Литературной газете» (№ 39 от 5—11 октября 2011 г.), прочитал рецензию на книгу В. А. Недзвецкого «Статьи о русской литературе XIX—XX вв.», в которой приводилась цитата, показавшаяся мне очень точной, по теме. Привожу ее: «Народ-языкотворец... и его язык — воистину близнецы-братья. Оскудевает духовно, нравственно, эмоционально и интеллектуально народ — дегуманизируется и оскопляется его язык; обездушивается, становится примитивнее язык — морально, психологически и умственно грубеет и беднеет народ, в конечном счете, вся национальная жизнь».

Георгий АНЧУГИН,
кандидат философских наук,
доцент.
г. Витебск.



Авторы номера

ТРАХИМЕНОК Сергей Александрович. Родился в 1950 г. в г. Карасук Новосибирской области. Окончил Свердловский юридический институт. Доктор юридических наук. Член союзов писателей России и Беларуси. Автор многих книг прозы, сценариев кино- и видеофильмов. Живет в Минске.

ФАТНЕВ Юрий Сергеевич. Родился в 1938 г. на Алтае (Россия). Поэт и прозаик. Автор романов, повестей, свыше десяти поэтических сборников, изданных в Алма-Ате, Москве, Минске, Гомеле, Туле, наиболее известными из которых являются: «Лирика», «День прозрения», «Птицы ночи», «Русская печаль», «Сны Земли». В серии «Библиотека Союза писателей Беларуси» вышел роман «У эха нет лица». Живет в Гомеле.

ФЕДАРЕНКО Андрей Михайлович. Родился в 1964 г. в д. Березовка Мозырского района. Окончил Мозырский политехникум, Минский институт культуры. Прозаик. Автор книг прозы «Гісторыя хваробы», «Смута», «Шчарбаты талер», «Афганская шкатулка» и др. Лауреат Литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.

ПОЛЕЕС Елизавета Давыдовна. Родилась в Могилеве. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэтесса. Автор нескольких сборников стихотворений, среди которых «Я земная и грешная», «Быль», «Не приучай меня к себе» и др. Живет в Минске.

ЕРЫШЕВА Ольга Петровна. Родилась в 1957 г. в Гурзуфе (Украина). Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Печаталась в журналах «Нёман» и «Немига». Автор нескольких книг для детей. Живет в Минске.

БЕЦКО Анжела Михайловна. Родилась в 1968 году в г. Барановичи Брестской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэтесса. Печаталась в журнале «Нёман». Живет в Минске.

СТЕПАН (Степаненко) Владимир Александрович. Родился в 1958 г. в г. п. Костюковка Гомельской области. Окончил Художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Прозаик, поэт, драматург, киносценарист. Автор книг прозы «Вежа», «Сам-насам» и др. Живет в Минске.

КОРОТКЕВИЧ Владимир Семенович. Родился в 1930 г. в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета им. Т. Г. Шевченко, Высшие литературные, Высшие сценарные курсы в Москве. Поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, переводчик. Автор множества сборников прозы и поэзии, романов, пьес, сценариев и др. Лауреат Литературной премии им. И. Мележа, Государственной премии БССР им. Якуба Коласа. Умер в 1984 г.